АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
VI

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1957

СОДЕРЖАНИЕ

Л. А. Булаховский (Киев). Грамматическая индукция в славянском склонении . . . 3
С. А. Миронов (Москва). Некоторые вопросы сравнительной морфологии немецких диалектов (Система склонения) . . . 20

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. И. Абаев (Москва). О подаче омонимов в словаре . . . 31
Б. Трнка и др. (Чехословакия). К дискуссии по вопросам структурализма 44
З. Штибер (Варшава). Слово в дискуссии о структурализме . . . 53

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Вяч. Вс. Иванов (Москва). Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова . 55
Е. Д. Поливанов. Фонетические конвергенции . . . 77

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

М. В. Панов (Москва). О преподавании «Истории отечественного языкознания» . . . 84

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

С. Е. Яхонтов (Ленинград). Проект китайского алфавита . . . 94
Л. П. Жуковская (Москва). Типы лексических различий в диалектах русского языка . . . 102
Н. З. Гаджиева (Москва). Критерии выделения придаточных предложений в тюркских языках . . . 112

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. В. Исаченко (Оломоуц). О книге П. Я. Черных «Очерк русской исторической лексикологии» . . . 119
Б. В. Томашевский (Ленинград). *B. O. Unbegaun.* Russian versification 127
О. С. Ахманова (Москва). *R. Jakobson and M. Halle.* Fundamentals of language 134
Г. В. Степанов (Ленинград). *Fernando Lázaro Carreter.* Diccionario de términos filológicos . . . 139
В. И. Лыткин (Рязань). *W. Steinitz.* Geschichte des wogulischen Vokalismus 142
«Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české». I. (Л. Н. Смирнов); «Сборник в чест на академик Александр Теодоров-Балан по случай деветдесет и петата му годишнина» (М. Г. Рожновская); *B. Rosenkranz.* Historische Laut- und Formenlehre des Altbulgarischen (Altkirchenslavischen), *H. Y. Lunt.* Old Church Slavonic Grammar (Г. П. Клепикова); *L. Sadnik und R. Aitzetmüller.* Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten (Р. М. Цейтлин); *H. Frisk.* Griechisches etymologisches Wörterbuch (О. Н. Трубачев); *E. Alarcos Llorach.* Fonología española (Р. М. Фрумкина); *P. Guiraud.* Index du vocabulaire du théâtre classique (И. А. Мельчук) . . . 144

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

К. Горалек (Прага). Чешские лингвистические работы по славистике за 1945—1955 гг. . . . 151
Н. З. Гаджиева (Москва). Координационное совещание по диалектологии тюркских языков . . . 159
М. Я. Лепика (Рига). Обсуждение рукописи первого тома «Грамматики современного латышского литературного языка» . . . 161
Хроникальные заметки . . . 165

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. П. Григорьев* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. И. Ефимов, В. В. Иванов* (и. о. зам. главного редактора), *Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова.*

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б 1-75-42.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1957

Л. А. БУЛАХОВСКИЙ

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ИНДУКЦИЯ В СЛАВЯНСКОМ СКЛОНЕНИИ [1]

Индукция аккузатива (винительного падежа)

Индукцию винительного падежа в славянском склонении едва ли правильно было бы рассматривать как факт категориального порядка. Если не иметь в виду ряда случаев (в общем довольно немногочисленных), нет серьезных оснований видеть в ней некоторую общую тенденцию, определяющуюся природой винительного падежа как морфологической (и вместе с тем определенной смысловой) категории. Сами значения винительного падежа, как и ряда других падежей, не поддаются объединению в какое-либо общее значение, которое можно было бы иметь в виду при учете влияния форм этого падежа. Индукция винительного падежа действует лишь при наличии определенных специальных условий, проявляясь от случая к случаю. Не ставя своей целью исчерпать все относящиеся сюда факты, остановимся на некоторых результатах индукции форм винительного падежа, рассмотрение которых позволяет, как нам кажется, в большей или меньшей мере обнаружить моменты, определившие жизнь круга сплетающихся в своем развитии форм.

Факты различных славянских языков (в меньшей мере — восточнославянских) совершенно ясно показывают, что в довольно большом количестве случаев имела место индукция винительного падежа единственного числа на именительный. Такая индукция несомненна, например, для склонения *ū*-основ; ср. русск. *свекровь* вместо «свекры», *любовь* вместо «любы»; для *er*-основ: устар.-книжн. *матерь* вместо «мати» и др. Ее результаты отчетливо выражены также в склонении бывших *en*-основ мужского рода (старославянский тип им. падежа ед. числа *камы*, вин. падежа *камень*). Ср. русск. *камень* (с аналогическим изменением основы — *камня* и т. д.), укр. *ка́мінь* (род. падеж *ка́меня*), белорус. *ка́мень* (род. падеж *ка́меня*), серб. *кȁмēн* (род. падеж *кȁмена*), *крȅмēн* (род. падеж *крȅмена*) и т. п., словенск. *kámen*, *krémen* (род. падеж *kremêna*), чеш. *kámen*, *křemen*, словацк. *kameň*, *kremeň*, польск. *kamień*, *krzemień*, кашубск. *kańeń* (наряду со старыми формами *kat*, *křet* и т. п. в западнословинцском наречии и новейшими *kat*, *křem* и т. п.), верхне-лужицк. *kamjen*, нижне-лужицк. *kańeń* и т. п., полабск. *krémên* (но *kotôi* «камень» сохранило старину). Ср. также: русск. *ячмéнь*, укр. *ячмíнь* (род. падеж *ячмéню*), белорус. *ячмéнь* (род. падеж *ячмéню*), серб. *јȅчмēн* (род. падеж *јȅчмена*), словенск. *jéčmen* (род. падеж *ječmẹ́na*), чеш. *ječmen*, полабск. *jęczmień* и т. п. в других западнославянских языках; ст.-слав. (русск. извода) *ячмы* (род. падеж *ячмене*).

Единое направление индукции в различных языках было вызвано, вероятно, общей для большинства славянских языков тенденцией к устранению в указанных парадигмах различий в звуковом виде основы им. падежа ед. числа и основы подавляющего большинства других форм.

[1] Продолжение. Начало см. ВЯ, 1956, № 4.

Весьма выразительна индукция вин. падежа ед. числа на им. падеж этого же числа у ряда слов (не у всех) женского рода *а-основ* с подвижным ударением в описанных М. Решетаром сербских штокавских говорах[1] — в говоре католиков Прчаня (Perzagno) — боккской диалектной группы и в говоре черногорского племени озриничи. Так, у озриничей им. падеж ед. числа звучит *brâda*; параллельно произносятся: *dûša*, *glâva*, *glâmńa* (*glavńa*), *grêda*, *grâna*, *rûka*, *srȉjeda*, *stȉjena*, *strâna*, *vȏjska*, *pêta*, *ôvca*, *stȉjela*. В Прчане только: *brâda*, *dûša*, *glâva*, *grêda*, *grâna*, *rûka*, *strâna*; *ôvca*[2]. Некоторые детали (среди них есть, кстати, очень интересные в акцентологическом отношении) могут быть предметом спора; однако общее направление индукции ясно. Конечное ударение в им. падеже ед. числа в Прчане сохраняют лишь слова, явно, по крайней мере в своем большинстве, искони принадлежавшие к типу oxytona; лишь частично в тех или других говорах они ассимилировались подвижному типу (прежде всего с ударением корневого слога в вин. падеже ед. числа). Примеры из относящегося к Прчаню списка Решетара: *zvijezdȁ* (ср. русск. *звездá*, *звездý*), *bijedȁ* (ср. русск. *бедá*, *бедý*), *dūgȁ* (ср. русск. *дугá*, *дугý*), *fālȁ* (*хвалá*, *хвалý*), *mūkȁ* (*мукá*, *мукý*) и т. п. Ясно, что в этом типе слов первоначально (пока такие слова частично не подверглись ассимилирующему влиянию подвижного типа) не существовало благоприятных условий для действия индукции, о которой идет речь.

Характерно, что индукция вин. падежа ед. числа у слов подвижного типа и у озриничей, и в Прчане касается только им. падежа ед. числа и не распространяется на другие формы, исторически отличавшиеся по месту и характеру ударения от формы вин. падежа ед. числа. Так, род. падеж ед. числа здесь звучит *brādȇ*, *glāvȇ*, *rūkȇ*; твор. падеж — *brādȏm*, *glāvȏm*, *rūkȏm*; род. падеж мн. числа — *brādâ*, *glāvâ*, *rūkâ*; дат. падеж — *brādȁma*, *glāvȁma*, *rūkȁma*. Сходство с вин. падежом ед. числа дат. падежа ед. числа и им.-вин. падежей мн. числа, очевидно, — факт более глубокой древности.

Любопытно, что соответствующее явление в его начатках отмечает и для сербского чакавского говора города Креса (Cherso) М. Тентор. Упоминая о том, что в данном говоре обычно сохранено старое место ударения, Тентор замечает[3]: «. . .но у младшего поколения можно, хотя и редко, встретить отклонения, и это чаще всего наблюдается в таких и подобных случаях: вместо *glavȁ* можно слышать также *glâva*, вместо *rukȁ* также *rûka*, вместо *vodȁ* также *vôda*[4]. Винительный падеж, таким образом, здесь начинает влиять на именительный. Вместо формы, соответствующей *борода* (русск.), говорят только *brâda*». Правда, Тентор допускает и другое понимание соответствующих фактов, видя в явлении, о котором идет речь, параллель к словенской «тенденции» перетягивать «восходящее» ударение с конечного слога на предшествующий. Но вряд ли здесь можно говорить о действии фонетического закона. В говоре Креса, в котором колебание *rukȁ*: *rûka* и т. п. (и именно в этой морфологической категории, а не в других) составляет живое явление речи, встречаются и такие факты отклонения от старого места ударения, как

[1] M. Rešetar, Die serbokroatische Betonung südwestlicher Mundarten. Wien, 1900.

[2] Там же, стр. 92—95.

[3] M. Tentor, Der čakavische Dialekt der Stadt Cres (Cherso), «Archiv für slavische Philologie», Bd. XXX, Heft 1—2, 1908, стр. 159.

[4] В говоре Креса звук *о* под ударением (не в конце слова и не в односложных словах) удлиняется (см. A. Belić, [рец. на указ. статью М. Тентора], «Rocznik sławistyczny», t. II, 1909, стр. 177). — *Л. Б.*

mètla вместо *metlà*, *jȉgra* вместо *jigrà*, *dȅska* вместо *deskà*. По-видимому, объяснение им следует искать в действии определенных моментов индуктивного характера.

Сюда же, по-видимому, относятся случаи количественных особенностей (сокращение фонетической долготы) форм именительного и других падежей ед. числа у имен существительных с суффиксом *-ьba*, по происхождению абстрактных.

В сербском языке вместо ожидаемых *дрýжба*, *слýжба* (из **drūžьba'*, **slūžьba'*) на самом деле имеем: *дрȕжба* (из **družьba'*), *слȕжба* (из **služьba'*); вместо фонетически правильных **bórba*, **dvórba* (с удлинением *o* в закрытом слоге перед *r*) выступают *бо́рба*, *дво́рба*; ср. и *жȕрба* вместо ожидаемого *жу́рба* [1]. Как видим, индукция вин. падежа здесь лишь частичная: старое ударение им. падежа и других окситонных падежей ед. числа сохранено и даже усвоено самим вин. падежом. Обратное влияние проявилось в сокращении долготы гласного основы старых окситонных падежей. Вне этого влияния остались лишь единичные слова: *бе́рба* «собирание (винограда, плодов)», *ка́рба* «брань, ругань» (на последнее противоположное влияние мог оказать глагол *ка́рати* с долготой корневого гласного; следует, однако, для точности указать, что в случае с *кȕњба* «мучение» при *ки́њати* этого не произошло). В русском языке, как и в других восточнославянских языках, индукция вин. падежа ед. числа проявилась у таких слов в месте ударения: *дрýжба*, *про́сьба*, *слýжба* (при фонетич. *дрýжбу*, *про́сьбу*, *слýжбу*).

Известную поддержку такое направление индукции могло получить от параллельных форм слов, у которых корневой гласный был по происхождению акутированным: *свадьба* — серб. *свáдба* (ср. *свáт*) и т. п. Впрочем тот факт, что слов последнего типа очень мало и среди них преобладают трехсложные (*усáдьба*, *женúтьба*), не позволяет придавать этому моменту большого значения.

Большинство образований на *-ба* сохранило, однако, в русском языке наконечное ударение (даже обобщив его и в вин. подеже ед. числа): *борьбá*, *мольбá*, *пальбá*, *судьбá*, *ходьбá*, *молотьбá*. Слово *тяжба* в самом начале XIX в. встречается еще с обоими ударениями: «Чтоб после тя́жбы вслед и свадьбе быть тотчас» и «По важной толь тяжбе́ ходить его отправил» (И. А. Крылов, «Лентяй», 1803—1805 гг.). В литературном языке первой половины XIX в. наблюдается колебание в ударении слова *резьба*; ср.: 1) «...И скромный памятник, в приюте сосн густых, С непышной надписью и ре́зьбою простою...» (Жуковский, Сельское кладбище, 1802); «...Она не суетной работой, Не ре́зьбою пленяла нас» (Пушкин, Друзьям, 1822) (такое ударение известно и теперь в профессиональном употреблении); 2) «Резьбо́ю мелкою стена Была искусно убрана...» (Лермонтов, Боярин Орша, 1835). Первая форма представляет собою сохранение фонетической старины (ср. глагол *ре́зать*, серб. *рѐзати*), вторая — отражение влияния большинства слов с ударением на *-ба*.

Особенно широко индукция вин. падежа ед. числа осуществилась в болгарском языке, главным образом в его восточном наречии. Так называемый общий падеж *ā*-основ в ряде говоров — по происхождению винительный, что вполне ясно обнаруживается в говорах, различающих рефлексы *a* и посового *o* — былой приметы вин. падежа ед. числа.

Л. Милетич отмечает, что в ряде говоров форма общего падежа оканчивается на *-ѣ́*, являющееся рефлексом др.-болг. *-ǫ* вин. падежа.

[1] Список соответствующих слов см.: A. Leskien, Grammatik der serbo-kroatischen Sprache, Teil I, Heidelberg, 1914, § 471.

В то же время в отдельных говорах общий падеж оканчивается на *-á*, что свидетельствует об обобщении в этих говорах формы им. падежа[1]. Обращает на себя внимание тот факт, что в говорах с победившей формой вин. падежа имеется ряд слов oxytona, выступающих с окончанием *-а*[2]. Такое окончание имеют только существительные одушевленные (главным образом названия родства и свойства): *žená*, *snъhá*, *mumá* (*мома*), *slugá* (при этом, однако, не все). Особенно употребительно оно (и не под ударением) в звательной форме: *vъr(v)i*, *popa̯d'á*; *marí májka*! и т. п., т. е. в категории, сохранившейся в основном у имен одушевленных.

Надо заметить, однако, что не всегда легко (а иногда и вообще вряд ли возможно) определить, вызваны ли те или иные результаты действием только индукции или здесь сыграли свою роль и какие-то иные факторы. Вот достаточно выразительный пример. В родопском говоре Ропкаты (Ropkata)[3] в основном у одушевленных имен женского рода (названий лиц) сохраняется старое окончание им. падежа ед. числа; ср.: *momáta̯*, *ženáta̯*, *snaháta̯*, *sestráta̯* (ср. также *vladíka* — слово мужского рода этого же склонения); у неодушевленных же возобладало окончание вин. падежа *ъ*: *nogъ̀ta* [*nogъ̀ta̯*?], *gorъ̀ta̯*, *rakъ̀sa̯* и т. п. (заметим кстати, что окончание артикля и у названий лиц — из вин. падежа). Любопытно при этом, что у последних сохраняется исконное ударение им. падежа (ср. русск. *нога́: но́гу*, *гора́ : го́ру*, *рука́ : ру́ку*). Однако при всей прозрачности этих отношений все же возникает серьезное сомнение. Дело в том, что все названия лиц женского рода, о которых идет здесь речь, — исконные oxytona (ср. хотя бы русск. *жена́*, *сноха́*, *сестра́*), а неодушевленные — слова с подвижным типом ударения. Не вызывает удивления поэтому отклонение от общего направления индукции, представленное в слове *zъ̀lvata̯* «золовка»: в этом слове ударение падало на корневой слог. При этом, конечно, не имеет значения тот факт, что *zъ̀lva* генетически принадлежит к *у-* (*ы-*)-основам и окончания *á*-основ приобрело лишь впоследствии. Однако ряд фактов — приведенное выше слово мужского рода *vladíka̯*, такие заимствования-oxytona, как *sofrъ̀ta̯*, *torbъ̀ta̯*, которые отразили влияние вин. падежа, — свидетельствует в пользу мнения о ведущей роли другого обстоятельства: принадлежности слова к разряду одушевленных или неодушевленных.

Очень выразительный пример «расщепленной» индукции представлен в болгарском литературном языке. Старое окончание на *-а* (*-я*) здесь сохраняется в им. падеже ед. числа у всех слов женского рода склонения на *-а* (*-я*), но ряд слов этого склонения получил ударение вин. падежа (накоренное). Это двусложные слова, представляющие собой общую семантическую группу: преимущественно это слова для обозначения того или иного отрезка времени, т. е. часто употреблявшиеся в вин. падеже времени. Ср.: *дъ́ба* (нар. поэт.) «время, обыкновенно ночное» (укр. *доба́* «время; сутки; эпоха», словенск. *dóba* — с открытым *о*, т. е. из **doba·*, впрочем *дъ̀ба* и в сербском языке), слово стоит особняком, как несклоняемое и среднего рода; *зи́ма*, *по́ра* «возраст»; *сря́да* «среда» (день недели).

Любопытный факт индукции вин. падежа на им. падеж ед. числа, подготовленной фонетическими условиями, наблюдается в некоторых польских говорах. В этих говорах (например, хелминско-добжинских) при утрате характерным для них в прошлом носовым *а* носового резонанса совпали в одном *а* окончания им. и вин. падежей *á*-основ. По

[1] См. L. J. M i l e t i č, Das Ostbulgarische, Wien, 1903, стр. 104—105.

[2] Однако предложные формы этих же слов могут иметь и конечное *ъ*.

[3] См. L. J. M i l e t i č, Die Rhodopemundarten der bulgarischen Sprache, Wien, 1912, стр. 50.

аналогии эти отношения были перенесены и на мягкие основы (*'á*): *viǯa ta koza* «вижу эту козу» — *viǯa ta vysokȁ* (*-o*) *v́ežȁ* (*-o*) «вижу эту высокую башню». В некоторых говорах, в которых носовой гласный вин. падежа ед. числа *ǫ* стал звучать как *u*, возобладала форма вин. падежа, принявшая по образцу говоров типа *'ǫ* > *'a* на себя и функцию им. падежа: *v'ežu̯* (*v'ežu*), *studńu̯* (*studńu*)[1].

Это же явление наблюдается и в кашубском языке. Ф. Лоренц отмечает ряд говоров, в которых формы вин. падежа *rolω*, *stëdńω* употребляются и в значении им. падежа[2]. В шварцау-стреллинском говоре это употребление представлено не всегда последовательно. Факты такого рода позволяют понять, как осуществляется грамматическая аналогия. При этом приходится учитывать и возможность взаимовлияния разных говоров.

Очень вероятно, что влиянием вин. падежа ед. числа в сербском чакавском говоре Нового, описанном А. И. Беличем[3], объясняется возможность двоякого ударения в трехсложных (и только таких) формах им. падежа ед. числа *ā*-основ: *gospodȁ* и *gȍspoda*, *gospojȁ* и *gȍspoja*, *lobodȁ* и *lȍboda* и т. п. Вин. падеж ед. числа у таких слов имеет только накоренное ударение: *gȍspodu*, *gȍspoju*, *lȍbodu* и т. п.[4]. Накоренное ударение им. падежа можно объяснить и индукцией звательной формы; ср. *gȍspodo* и т. п. Такая возможность действительно не исключена, но, очевидно, лишь в отношении имен одушевленных и собирательных, а не слов типа *lȍboda*, *planina*, *srȁmota*, *bȍsota*, для которых допущение индукции вин. падежа более вероятно. При том и другом предположении остается неясным, почему индукция коснулась в говоре только трехсложных слов.

Древнейшее славянское ударение вин. падежа ед. числа возобладало в болгарском языке, кажется, только в одном случае трехсложного слова. Оно, по-видимому, распространилось на всю парадигму слова *рáбота* «работа, дело, вещь».

Показания различных славянских языков (хотя и не всегда сходные) позволяют считать наиболее вероятными для древнейшей эпохи такие формы им. и вин. падежей ед. числа: **orbota˙* (по закону Фортунатова — де Соссюра): **or˙botǫ*. Исходное ударение **orbota˙* подтверждается, по-видимому, ударением в производном глаголе: ср. русское диалектное *работáть*, сербск. *рабòтати* (из *работа˙ти*), словенское диалектное *rabotáti*; исходное ударение **or˙botǫ*, кроме болгарского *рáбота*, отражено в словенском *rabǫ̑ta* (здесь имели место фонетический перенос нисходящей интонации на следующий слог и распространение ударения формы вин. падежа на остальные падежи)[5]. Русск. *рабóта* и серб. *рàбота* свое ударение получили, надо думать, от слова *рабóтник* (ст.-серб. *рàботнӣк*) с ударением, фонетически перешедшим на слог перед слабым ь. Непервоначальность ударения *рàбота* в сербском обнаруживается и количеством гласного *а* (краткость вместо ожидаемой перед подударным краткостным гласным долготы). Чеш. *robota* фонетически может восходить одинаково к **orbota˙* и *or˙bota*.

---

[1] См.: K. Nitsch, Djalekty języka polskiego, в кн. «Gramatyka języka polskiego», Kraków, 1923, стр. 469—470 (§ 19); А. М. Селищев, Славянское языкознание, т. I, М., 1941, стр. 353.

[2] F. Lorentz, Geschichte der pomoranischen (kaschubischen) Sprache, Berlin—Leipzig, 1925, стр. 151—152 (§ 174).

[3] А. Белич, Заметки по чакавским говорам, ИОРЯС, т. XIV, кн. 2, 1909.

[4] Там же, стр. 227.

[5] Диалектное *rábota* (вост.-штир., каринт.) не имеет сколько-нибудь достоверного объяснения; на различных догадках в отношении этой формы здесь останавливаться не стоит.

В системе славянского склонения особняком стоит представленная в восточноморавских говорах чешского языка и в словацком языке форма на *-u* родительного падежа *ā*-основ мужского рода: *starostu*, *sluhu*, *predsedu*, *slavistu*. Ясно, что на появление этой особенности никакого влияния не могли оказать былые формы род. падежа склонения *ъ*-основ (*synu*, *volu*), так как на чешской и словацкой почве они у имен одушевленных не сохранились. Рассматриваемая форма перенесена, по-видимому, из вин. падежа по аналогии со склонением *о*-основ муж. рода, где уже в позднее время форма род. падежа ед. числа стала у имен одушевленных употребляться также в функции вин. падежа (*brata*, *syna*, *vola* — род. и вин. падежи ед. числа): род. падеж — *x* = вин. падеж — *starostu*, *sluhu* и т. п.

Индукция винительного падежа единственного числа на дательный падеж не свидетельствуется отчетливо фактами славянских языков. Ее можно предполагать для двусложных *ā*-основ сербского языка: *зѐмљу* : *зѐмли* (им. падеж ед. числа *зѐмла*), *вȍду* : *вȍди* (им. падеж ед. числа *вòда*), *рȗку* : *рȗци* (им. падеж ед. числа *рȕка*), *дȗшу* : *дȗши* (*дȕша*); дубр. *ȍвцу* : *ȍвци* (*óвца*)[1], но, по-видимому, только как добавочный, сопроводительный момент. Приведенные формы дат. падежа допускают и иное объяснение. Так, М. Решетар полагал, что представленные в сербских штокавских говорах формы дат. падежа с ударением на корневом слоге более архаичны, чем соответствующие факты северночакавского наречия и словенского и русского языков[2]. Однако такое мнение вряд ли имеет серьезные основания. Окончание *-u* (*i*) (а не *-e* или *-je*) дательного и местного падежей ед. числа *ā*-основ, явно аналогического происхождения (оно проникло из *jā*-основ), открывало достаточно свободный путь для влияния со стороны *i*-основ: местн. падеж *зѐмљи*: дат. падеж — *x* (*зѐмљи*), местн. падеж *рȕци*: дат. падеж — *x* (*рȗци*) — отношения, построенные по типу *i*-основ: *кòсти*: *кȍсти*, *ствáри* : *ствâри* и т. п. При объяснении севернорусского диалектного ударения *к зи́ме*, *к сто́роне*[3] и даже *к Мо́скве*[4] влиянием ударения вин. падежа ед. числа *ā*-основ на дат. падеж следует иметь в виду, что эти случаи ограничены, по-видимому, положением после предлога *к*, что делает очень сомнительным такое допущение[5].

Однако все же можно думать, что здесь, как и в параллельном типе в сербском языке (в штокавском наречии), где факты определеннее, имело место косвенное воздействие вин. падежа. В сербском языке, во всяком

---

[1] Приводя эти формы, М. Решетар замечает, что, поскольку формы дат. падежа ед. числа практически встречаются редко, существует некоторая неуверенность, действительно ли точно здесь зафиксирована интонация (см. M. Rešetar, указ. соч., стр. 88 и 93)

[2] См. M. Rešetar, указ. соч., стр. 88.

[3] Ср., например, в тотемском говоре (см. О. Брок, Описание одного говора из юго-западной части Тотемского уезда, Сб. ОРЯС, т. LXXXIII, № 4, 1907, стр. 118).

[4] Литературные примеры очень немногочисленны; ср., например, у И. А. Крылова («Слон на воеводстве», 1808): «Не ты ль нам *к зи́ме* на тулупы Позволил легонький оброк собрать с овец?».

[5] Существует предположение, что диалектные русские ударения *к зи́ме*, *к стéне*, кстати сказать, характерные в одних и тех же говорах отнюдь не для всех слов этого типа, представляют собою архаизмы и что будто бы есть основания думать о различии в древнейшем славянском языке места ударения дат. и местн. падежей у этих основ. Показания сербского в этом отношении, как уже отмечено, очень ненадежны, так как здесь соответствующие факты скорее всего возникли в результате уподобления отношениям ь-основ. Это тем вероятнее, что, например, в чакавском говоре Нового, кроме единственного слова *noga* с дат. падежом *nögi*, дат. падеж всегда выступает в этом склонении с конечным ударением. Заметим, кстати, что это слово в говоре обнаруживает свою связь с ь-основами и в другом отношении — форма им.-вин. падежа мн. числа звучит здесь, в отличие от всех других слов, *nögi*, а не *nogē*.

случае, накоренное ударение в дат. падеже ед. числа получают только слова подвижного типа, тогда как oxytona остаются с конечным ударением и в дат. падеже: *жѐни* (из *жени*) и т. п., т. е. вне воздействия ъ-основ.

Редкую индукцию в и н и т е л ь н о г о п а д е ж а е д и н с т в е н н о г о ч и с л а н а т в о р и т е л ь н ы й, может быть, обнаруживают в склонении на *-а* некоторые южнорусские говоры, где встречаются формы типа *пáлкуй*, *берёзуй*, реже (например, в ельнинских говорах): *з мáткую*, *асúную*, *дарбгую* и т. п. Однако едва ли не все ученые, высказывавшиеся об этих формах, видят здесь отражение какой-то диалектной фонетической особенности, которую затрудняются определить. (А. А. Шахматов и за ним С. П. Обнорский [1] большое значение придают тому, что такие формы как будто особенно часты в случаях, где *-ую* следует за велярным согласным). Предполагаю здесь индукцию вин. падежа, возможно, поддержанную фонетически ассимиляцией безударного *-о-* последующему *-jy-*.

*

Индукция окончаний в и н и т е л ь н о г о п а д е ж а н а и м е н и т е л ь н ы й бесспорна у существительных мужского рода в о м н о ж е с т в е н н о м ч и с л е (русск. *столы́*, укр. *столи́*, белорус. *сталы́* и т. п.). Она охватила исключительно большое число слов в русском и ближайше родственных ему украинском и белорусском. Остатки старины (в названиях лиц — вроде украинского *друзі* «друзья», русск. *соседи*) крайне незначительны. Почти полностью осуществилась она в нижнелужицком, не захватив только названий лиц. Результаты этой индукции широко представлены в чешском языке у имен неодушевленных: *duby*, *potoky*, *stoly* вместо прежних (исконных) *dubi*, *potoci*, *stoli*; *meče*, *hrnce* вместо прежних *meči*, *hrnci* и т. п. Принципиально те же отношения характерны и для словацкого. В некоторых говорах индукция вин. падежа распространилась еще шире, охватив и названия животных: чеш. диал. *kapry*, *voly*, *raky* и т. п., морав.-словацк. *hady*, *raky*, *zajíce* и т. д. [2].

В кашубском языке исконные формы им. падежа мн. числа обыкновенно сохраняются в их рефлексах только у одушевленных (у названий лиц и животных), неодушевленные же отражают результаты индукции вин. падежа [3].

В литературном польском языке также несомненны результаты индукции вин. падежа на им. падеж мн. числа у неодушевленных; в большой мере ею захвачены и названия животных (здесь у некоторых слов возможны колебания вроде *wilki*: *wilcy*, *ptaki*: *ptaci*). Стойко этой индукции сопротивляются только названия лиц [4]. В некоторых польских говорах этот процесс пошел еще дальше. Например, в польском говоре Спичинской волости (gminy) в Люблинском воеводстве слова, принадлежавшие ранее *о*-основам, почти совершенно утратили старые окончания *-owie* и *-i* (перед которым осуществлялась в прошлом известная мена велярных согласных). В этом говоре возобладало окончание вин. падежа (с фонетическим пе-

[1] См.: А. Ш а х м а т о в, Звуковые особенности ельнинских и мосальских говоров, РФВ, т. XXXVI, № 3-4, 1896, стр. 78; С. П. О б н о р с к и й, Именное склонение в современном русском языке, вып. I, Л., 1927. стр. 284—288. Ср. и беглое замечание Р. И. А в а н е с о в а в его статье «Вопросы лингвистической географии русских говоров центральных областей» (ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 2, стр. 177).

[2] См. F. T r á v n í č e k, Historická mluvnice československá, Praha, 1935, § 277.

[3] Подробнее об этом см. F. L o r e n t z, указ. соч., стр. 147.

[4] Подробнее см.: J. Ł o ś, Gramatyka polska, część III, Lwów — Warszawa — Kraków, 1927, стр. 33—34 (§ 81) и сл.

реходом его после согласного *к* в *-i*), т. е. соответствующие слова в говоре звучат: *paśerby*, *pany*, *snopy* и т. п.; *Polaḱi*, *kovalcyḱi*, *xuoraḱi*, *bratńikі* [1].

Тот факт, что в большинстве славянских языков и наречий чрезвычайно широко представлены результаты индукции рассмотренного направления, осуществлявшиеся уже в позднюю эпоху независимого развития отдельных языков, должен, конечно, иметь какие-то достаточно определенные причины. По всей вероятности, таким мотивом было стремление выравнять (уподобразить) в парадигме конечный согласный основы. Если это так, то надо предположить, что начало соответствующему направлению индукции, скорее всего, было положено основами, оканчивающимися на велярный согласный, у которых им. падеж мн. числа обнаруживал давнее фонетическое изменение (вторая палатализация) *k*, *g*, *ch* в *c*, *z(dz)*, *s(š)* перед *i* (из **oi*). Как известно, принимаемый для данной категории мотив дает себя знать и по отношению к ряду других случаев, хотя проявляется он далеко не везде в одинаковой степени (ср. хотя бы полное сохранение рефлексов второй палатализации в местн. падеже ед. числа в чешском, украинском и др.). Образцом того, что им. падеж мн. числа принципиально может совпадать с вин. падежом, служило, очевидно, склонение *a*-(*ja*-)основ, а также и единственное число самих мужских склонений.

Романские языки дают очень ясные параллели славянской индукции, идущей в склонении имен существительных от форм вин. падежа; здесь индукция нередко охватывает и имена одушевленные [2]. Особенно прозрачна индукция форм вин. падежа в испанском, где общий падеж мн. числа звучит в точном соответствии латинскому окончанию вин. падежа в мужском склонении былых *o*-основ: *-os* (лат. *amicos*) — *amigos*; по аналогии и у других имен, позже перешедших в это склонение: *tiempos*, *cuerpos*.

Индукция локатива (местного, предложного падежа)

Как уже указывалось в первой части статьи [3], И. А. Бодуэн де Куртенэ в свое время переоценил употребительность локатива. В тех случаях, когда этот падеж формально не совпадает с дательным, он не играет большой индуктивной роли.

Известную способность его индуцировать другие формы склонения нельзя, однако, отрицать, по крайней мере по отношению к определенному кругу слов (особенно связанных с обозначением места и — несколько меньше — времени), где воздействие локатива на другие формы склонения выступает с достаточной ясностью.

Индукция местного падежа ед. числа на остальные формы парадигмы безусловно имела место в пределах форм ед. числа у *ь*-(*i*-)основ. Так объясняются в русском языке случаи конечного ударения форм, оканчивающихся на *-и*, у односложных слов типа *Русь*. Родительный и дательный падежи этого слова у писателей первой половины XIX в. обычно еще выступают с ударением на корне: «...Быть может, некогда и мне Во славу Ру́си пригодится Рука, привычная к войне» (Н. М. Языков, А. Н. Вульфу, 1825); «Все русское звучит в их глубине, Надежды все и слава

[1] См. B. Lindertówna, Gwara gminy Spiczyn w województwie Łubelskim, «Studia z filologii polskiej i słowiańskiej [Komit. slaw. i rusyc. Pol. Akad. nauk]», 1, Warszawa, 1955, стр. 214.

[2] См. об этом, например: Э. Бурсье, Основы романского языкознания [перевод с франц.], М., 1952, стр. 379 и др.; В. Ф. Шишмарев, Историческая морфология французского языка, М.—Л., 1952, стр. 33; М. В. Сергиевский, Введение в романское языкознание, М., 1952, стр. 194 (§ 162), и др.

[3] ВЯ, 1956, № 4, стр. 16.

Ру́си милой...» (Шевырев, Послание к А. С. Пушкину, 1830) и др.[1] То же наблюдается у слова *грудь*; ср. часто употребляемые предложные формы *в груди́*, *на груди́*. Вообще сила индукции местного падежа в основном определяется степенью употребительности соответствующего слова в этом падеже.

Только для одной категории форм ь-основ — трехсложных форм типа (теперь вышедшего из литературного употребления) *на площади́* (им.-вин. — *пло́щидь*), кажется, нет примеров влияния конечного ударения местного падежа. Эта группа слов обнаружила обратную тенденцию, в литературном языке полностью реализованную, — выравнять ударение местного падежа ед. числа по остальным падежам парадигмы ед. числа: *на пло́щади* и т. п.

Индукцию ударения местного падежа ед. числа на дат. падеж у ь-основ можно отметить также в словенском: *kósti* из *kosti* в обоих падежах (ср. русск. дат. падеж *ко́сти*, пред. падеж — *на кости́*; серб. *ко́сти*: *на ко̀сти*)[2].

Результатом совпадающего действия грамматической индукции в различных языках, не предполагающего непосредственного контакта этих языков, является, например, форма им.-вин. падежа ед. числа от слова *nebo* в болгарском и чешском языках: *небе*, *nebe*. Принадлежность слова к основам на *-es-* давала предпосылку к выравниванию им.-вин. падежа ед. числа по остальным формам парадигмы. Если этого не случилось у других слов тех же основ (*slovo*, *čudo* и т. д.); то здесь было свое основание: именно слово *nebo* по своему значению теснее, чем другие, связано с местн. падежом (*на небе*), что открывало путь для более интенсивного влияния последнего. Возможно, кстати, что и русск. *небо* (ср. *нёбо* с другим значением — «свод в полости рта» и диал. *нёбо*, *нёбушко* «небо») отражает не только старославянское влияние, но и в известной степени воздействие формы местн. падежа — *на не́бе* (хотя, возможно, было и ударение *на́ небе*).

Вероятно, индукцией местн. падежа ед. числа вызваны конечные ударения, распространенные в разговорном русском языке у односложных слов *мост*, *порт*, *пост*: *моста́*, *порта́*, *поста́*. Древность накоренного ударения для *мост* свидетельствуется сербским языком: *мо̑ст* — род. падеж *мо̑ста* при местном *на мо̀сту́* (из *на мосту́*); словенским: *môst*; чеш. и словацк.: *most*, а не *mȗst*, *môst*, как было бы при исконности конечного ударения. В современном литературном употреблении слово *порт*, кроме местн. падежа ед. числа (*в порту́*), имеет накоренное ударение. Что касается слова *пост* в значениях «место; должность; караул» и т. д., то нынешним *поста́* (род. падеж): *о по́сте*: *на посту́* раньше соответствовали: *по́ста* и *поста́*: *на посту́*.

Этими фактами, по-видимому, ограничивается в русском языке индукция местн. падежа в отношении слов мужского рода. Исключения единичны — ср. форму *раи́* (род. падеж ед. числа) у М. В. Ломоносова: «...Душа ее Зефира тише, И зрак прекраснее раи́» («На день восшествия на престол имп. Елисаветы»); вероятно, это диалектное ударение (осуждавшееся, как нелитературное, уже А. П. Сумароковым); ср. *в раю́*, серб. *у ра̀ју* (из **vъ raju*).

Явление того же порядка представляет русское *у́гол*, род. падеж *угла́*. Н. Ван-Вейк затруднялся вообще определить древнейшее славян-

[1] Другие примеры см.: Л. А. Булаховский, Русский литературный язык первой половины XIX века, М., 1954, стр. 161 и сл.

[2] Мнение Ф. Рамовша (см. F. Ramovš, Morfologija slovenskega jezika, Ljubljana [1952], стр. 63), будто словенское конечное (исходное) ударение дат. падежа в этом склонении — более старое, следует считать безусловно ошибочным.

ское ударение данного слова[1]. Между тем при учете типичной для этого слова индукции со стороны местн. падежа исконные отношения становятся ясными. Воздействие местн. падежа для древнейшего **ǫglъ* очень выразительно представлено в сербском, где наряду с *у̏гал* имеем *ну̏гао*, усвоившее свое *н* из предлога *въ* (*н*). Первоначальные отношения в склонении слова представляются в таком виде: **ǫ̂glъ*: род. падеж **ǫ̂gla*, местный: **vъ*(*n*) *ǫ̂glě* и, далее, по известной аналогии: **vъn ǭglu̍*. Интонация коренного подударного слога — циркумфлексовая. Это подтверждается диалектным русским (тотемским) *у̑гла* (род. падеж); укр. *ву̑гол*, род. падеж *ву̑гла*; словенск. (*v*)*ǫ̂gel*, (*v*)*ogâl*; серб. *у̏гал*, род. падеж *у̏гла* с частым сербским сокращением долготы в начальном *у* (под его влиянием и *ну̏гао* с местн. падежом *ну̑глу*). Чеш. *úhel*, долгота которого не может восходить к циркумфлексовой интонации, отразило, вероятно, подобно соответствующим русским формам, былую индукцию местн. падежа с долготой в положении перед конечным *и*[2].

Параллель влиянию местн. падежа ед. числа на другие у слов с пространственным значением представляет в русском языке XVIII в. временно́е *час*. Как ясно из серб. *ча̏с*, словенск. *čȁs*, интонация корневого гласного у этого слова по происхождению акутовая (с этим согласуется и обычная этимология **kės-*: др.-прусск. *kɪsman*, вин. падеж из **kės-*, алб. *kohɛ* из **kėsa*). Ударение местн. падежа ед. числа — *в . . . часу́* следует считать поэтому вторичным (аналогическим); к нему восходят, вероятно, распространенные в XVIII в. и в первой половине XIX в. (у поэтов старшего поколения) ударения: *часа́*, *часо́м* и т. п.: «. . . Во страхе смертного часа́, Вперяя взоры в небеса, Пиют восторг» (С. Шихматов, «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия», 1807); «Торг слажен; и с того ж часа́ Вступила в караул Лиса» (Крылов, Крестьянин и Лисица, 1811); «Как ведать? — Может быть, и есть в природе звуки, Благоухания, цвета и голоса, — Предвестники для нас последнего часа́. . .» (Тютчев, Mal'aria, 1830). Здесь, однако, следует учитывать возможность влияния форм мн. числа, имеющих в русском языке только наконечное ударение: *часы́*, *часо́в* и т. д. Что касается самих этих форм, то они, скорее всего, получили такое ударение в результате того же первоначального воздействия местного падежа ед. числа. Так, видимо, следует понимать и ударение форм «ограниченного» числа: *два* (*три*, *четыре*) *часа́*. Уже под влиянием последних — *полчаса́*.

Перенесение окончания местного падежа единственного числа в дательный в склонении былых *o*-(*je*-) основ встречается редко. Ф. Рамовш утверждает наличие такой индукции в восточных словенских говорах — в Белой Крайне, в Хорутании; отражена эта особенность и в книгах протестантских писателей [Трубарь (2-я половина XVI в.) пишет: *h bugi*, *h pakli*]. Окончание *-i*, поскольку оно не является возникшим фонетически из неударяемого *u* ⟩*ü*⟩ *i* (так в Словенских Горицах и в Замурье), по предположению Рамовша, возникло как результат «скрещения» (po križanju) дат. падежа с местным по аналогии с местоименным склонением, влиявшим на склонение прилагательных и через них на существительные. Для понимания пути индукции важно еще принять во внимание, что само *-i* местн. падежа (у Трубаря: *bugi*, *na sveiti*, *trebuhi*, *v životi*, *v zakoni*) фонетически не отражает старого *-ě* *o*-основ, а заимствовано, по мнению Рамовша, из *je*-основ[3]. Однако вряд

[1] См. N. van-Wijk, Zum baltischen und slavischen Akzentverschiebungsgesetz, «Jndogerm. Forsch.», Bd. XL, Heft 1—3, 1922, стр. 23.

[2] Что касается слова *у̑гол*, вопрос о котором Ван-Вейк поднимает там же, то оно, вероятно, в своей судьбе отразило влияние созвучного *у̏гол*.

[3] F. Ramovš, указ. соч., стр. 39 и 41.

ли здесь возможна полная уверенность в наличии индукции, принимаемой Рамовшем. Кажется, нет таких славянских говоров, в которых дат. падеж ед. числа мужского склонения получил бы из местного рефлекс *ě*.

Распространенная догадка, будто украинское окончание дат. падежа ед. числа мужского склонения *-ові* получило свое *-і* из местн. падежа, где последнее восходит к старому *ъ*, остается очень сомнительной.

Контаминацию окончаний *-ovi* и *-u* в виде *-ovu* для дат. и местн. падежей ед. числа мужского склонения находим в диалектах древнего словенского языка. Время существования этого окончания — XVI в., и только изредка оно попадается еще в XVIII в. у Рогеря и Басаря. Как и старое *-ovi*, оно встречается обычно только у слов с односложной основой, имеющей нисходящий гласный корня [1].

Как результат влияния местн. падежа ед. числа на дат. падеж, по-видимому, следует рассматривать и словенские формы среднего рода *o*-(*je*-) основ типа *mȇsu*. Фонетически в таком положении ожидался бы перенос исконной нисходящей долготы (ср. серб. *мѐсо*) на следующий слог, что, действительно, наблюдается в языке Трубаря, Далматина и др. (*mesû*). Представленное же в словенском ударение *mȇsu* закрепилось в дат. падеже как продукт индукции на последний со стороны местного: в местном падеже *mȇsu* должно возникнуть из положения **na mȇsu* и т. п., т. е., по всей вероятности, из **nâ mesu* и т. п.[2]. Что касается таких же основ мужского рода, то здесь отношения более спорны; *k brâtu*, *h kȍnju* могли получить свою нисходящую долготу иным образом: в форме **kъ brâtù* вследствие выпадения редуцированного гласного *-a-*, по всей вероятности, приобретало нисходящедолгую неподвижную интонацию (ср. *drâka* из **dьrâka*), а форма *h kȍnju* (ср. обычное *kónju* из *konjù*) и т. п. уже уподобилась этому типу.

В словенском же языке наблюдаем индукцию местного падежа единственного числа на творительный. Если дат. падеж здесь, как и в других славянских языках, может употребляться с предлогом и без предлога, то твор. падеж в словенском обязательно управляется предлогом и благодаря этому в большей степени, чем другие падежи, сближается со специфически предложным падежом — местным. Так, в склонении мужского рода при фонетическом *mesȍ* (т. е. с переносом нисходящей долготы на следующий слог; ср. серб. *мѐсо*) род. падеж ед. числа *mesâ*, твор. падеж. *mȇsom*, как и местн. и дат. падежи, не имеет переноса нисходящего ударения на следующий слог [3].

В сербском чакавском говоре Нового от имен существительных типа *kȏst*: род. падеж *kòsti* местн. падеж ед. числа имеет фонетическую (по закону Фортунатова — де Соссюра) форму *kostî*. А. И. Белич видит в ней исходный пункт индукции, вызвавшей новое место ударения в твор. падеже ед. числа — *kostún* [4] (из **ko'stьjǫ*; окончание появилось под влиянием склонения *ā*-основ — *ženȉ*: *ženún* с *n* < *m* из мужского склонения) [5]. Подобное объяснение возможно и для диалектных русских *осенью*, *ночью*; ср. *в осени*, *в ночи*. Однако нет уверенности в том, что конечное ударение в форме твор. падежа ед. числа ь-основ не является архаизмом, а

---

[1] F. Ramovš, указ. соч., стр. 39 и 41.

[2] При этом надо заметить, что данной индукции должна была предшествовать противоположная — влияние дат. падежа на местн. падеж (перенесение в последний окончания *-u*).

[3] См. «Slovenska slovnica», Ljubljana, 1947, стр. 164—165 (§ 178).

[4] А. Белич. Заметки по чакавским говорам, стр. 229.

[5] Для случаев вроде *kokošún* (к слову *kȍkȏš* «курица»), где непосредственное влияние местн. падежа мало вероятно, можно предположить влияние отношения, установившегося у ряда других слов, для которых принимаемая индукция правдоподобна.

ударение на корне в других языках и говорах — явлением индуктивного порядка (под влиянием остальных форм парадигмы).

Индукция местного падежа единственного числа на творительный определенно представлена и в украинском гуцульском говоре. Она отражена в склонении слова *нíхоть* «ноготь» (былые ь-основы мужского рода): местный падеж — *нíхтə* из «нíхти»; твор. падеж — *нíхтəм* из «нíхтим» [1]. Крайне сомнительно, чтобы в данном случае сыграли какую-то роль древнейшие формы род.-дат. падежа ед. числа.

Ф. Рамовш предполагает индукцию формы дательного-местного падежа на родительный падеж единственного числа для женского склонения *ā*-(*jā*)-основ в белокраинском наречии [2]. Форма род. падежа на *-i*, совпадающая с формой дат.-местн. падежа, могла возникнуть под воздействием факторов, характерных и для ь-основ (если не считать специального места ударения у ряда слов в местн. падеже). Как указывает Рамовш, колебание *ribe* (старая словенская форма): *ribi* в род. падеже ед. числа перенесено из подобного же колебания в дат.-местн. падеже *-i*:*-ę*(*-ę̌*), где последнее — из *-i* былых *jā-* основ [3].

Вероятно, совокупной индукцией местн. падежа и твор. падежа ед. числа объясняются отношения, наблюдающиеся в новлянском чакавском говоре у некоторых имен существительных женского рода на согласный. Наряду с накоренным ударением род. падежа у слов типа *kȏst* (*kȍsti*) в этом говоре существует и ударение на падежной примете, заимствованной в таких случаях из склонения на *a*(*ja*): *do noćé*, *s ȍté nemoćé*, *pećé* и т. п. [4]. Ясно, что наличие подобной формы род. падежа для слова *hćî* — *hćeré*, поскольку для слова с таким значением влияние местн. падежа крайне сомнительно, является фактом вторичного — аналогического распространения на парадигму *hćî*: род. падеж *hćȅri* отношений, возникших у некоторых слов этого склонения как результат прямой индукции соответствующих падежей. Здесь следует, однако, учесть еще и другую возможность распространения подударного *-é* в род. падеже ед. числа: начало этого процесса могло быть связано с достаточно частыми в новлянском говоре случаями колебания в оформлении слов по типу основ на согласный или *ȁ*-основ: *strân* и *strānȁ*, *strıl* и *strēlȁ* и т. п.

Индукция на именительный-винительный падеж единственного числа падежей, управляемых предлогами, когда-то оканчивавшимися на *-н* (в первую очередь вин. падежа и местн. падежа), осуществилась, по всей вероятности, у слов, усвоивших начальное *н* от соответствующих предлогов. Такими словами являются: русск. *нéдра* (*-ѣдра*), *нутрó* (ср. *утрóба*), серб. *нȅдра* (*њȅдра*), *нýтрāк* «плохо выхолощенный конь или кабан» (ср. *ȕтроба; нȕтраст* «плохо выхолощенный»); *нȕгао* (ср. *ȕгал*) «угол».

Заметим попутно, что есть основания подозревать специально индукцию вин. падежа на им. падеж и в отношении ударения русского слова *утрóба* и параллельных ему западнославянских — чешского и словацкого *útroba*, польск. *wątroba* (последние формы еще с рефлексами долготы перед былым подударным краткостным *o*). Сербское *ȕтроба*: словенск. *otróba* (из **otroba*˙) позволяют исходные (древнейшие славянские) отноше-

---

[1] Ср. Б. Кобилянський, Гуцульский говір і його відношення до говору Покуття, «Український діялектологічний збірник», кн. I, Київ, 1928, стр. 47.

[2] F. Ramovš, указ. соч., стр. 56, 61.

[3] См. там же, стр. 56—57.

[4] См. А. Белич, Заметки по чакавским говорам, стр. 229—231.

ния реконструировать в следующем виде: им. падеж *ǫtroba˙: вин. падеж *ǫ̂trobǫ. Полагаем, что в языках с обобщившимся ударением -o·ba последнее — из винительного, но с рецессией не на корневой, а на ближайший (срединный) слог.

Для объяснения целого ряда фактов чешского количества, относящихся в особенности к склонению ā- и o-основ, представляется необходимым предположить особую роль предлогов с гласными полного образования, т. е. типа *na*, *za* и т. п. Речь идет о наличии краткостей в корневых слогах с гласными, по происхождению акутированными долгими и при этом не подлежавшими сокращению по каким-либо специальным фонетическим причинам. Сочетания с предлогами указанного типа образовывали трехсложные группы со срединным подударным долгим акутированным гласным, который в этих условиях должен был фонетически подвергнуться сокращению. В дальнейшем, по-видимому, в ряде случаев соответствующие слова усваивали краткий гласный во всей парадигме. Так как среди предложных групп, роль которых принимается для подобных случаев, значительное место занимали сочетания локативного (или временно́го) значения, естественно причислить явление, о котором идет речь, к отражающим и индукцию локатива (как специфически предложного падежа)[1]. Примеры слов, для которых предполагается такая индукция: *na prahu*, *na kraji*, *na městě* (ср. *místo* «место»), *na jaźe* «весною».

*

В роли индуцирующей категории предложный (местный) падеж множественного числа отчетливо обнаруживается в сербском. Его воздействию подвергается родительный падеж мн. числа мужского рода основ на *o*, чему способствует совпадение обеих падежных форм в членных именах прилагательных и местоименных прилагательных (ср. *tíh* «тех» и т. п.). Примеры из чакавского наречия Нового: род.-местн. падеж мн. числа *vlásĭh* (*vlǟsíh*), *stárcĭh* [в род. падеже возможна как параллельная старая форма *stȁrāc* (и *starác*)], *susȅdīh* (в род. падеже возможна старая форма — *susēd*), *krȍvīh* (*krovīh*), *kȍscīh* (в род. падеже и старые формы — *kȍsāc*, *kosác*; только в местном возможна форма с ударением *koscíh*)[2].

Слабее проявляется индукция местн. падежа мн. числа на род. падеж в штокавском наречии (ср., впрочем, сказанное ниже о род. падеже мн. числа на -ā)[3]. В Черногории и в пограничных с нею местностях выступают (как заметил уже Караджич) формы род. падежа мн. числа с конечным -*x*: *пушаках*, *женах*, *јунаках*, *ријечих*, *љуђих*. Такие формы встречаются также в западной половине полуострова Саббиончелло (Sabbioncello) около Дубровника и на острове Курцола (Curzola). Отмеченные Караджичем формы представляют собою, вероятно, осложненные окончанием -*x* местн. падежа формы род. падежа на -ā(-ū). Как констатирует Решетар, распространение таких форм в говорах, которым они были свойственны

---

[1] Об этом см. Л. А. Булаховский, Акцентологический комментарий к чешскому языку, Киев: вып. 1 — 1953, стр. 17; вып. 2 и 3—1956, стр. 19, 23.

[2] В говоре Нового этой индукцией не затронуты имена существительные среднего и женского рода (кроме ь-основ: *kȍstīh*, *kostíh* и т. п.). Причина этого для ā-основ женского рода ясна: местн. падеж мн. числа ā-основ оканчивается на -*äh* и потому слабее ассоциируется с -*íh* у прилагательных и местоименных прилагательных. Почему за образцами мужского склонения не последовали в данном отношении и слова среднего рода трудно сказать.

[3] Подробно характеризует соответствующие факты М. Решетар. См. M. Rešetar, Der štokavische Dialekt, Wien, 1907, стб. 161—162 (§ 78).

ранее, идет на убыль. Поскольку, по наблюдениям Решетара, подобные формы характерны были в его время в большей мере для основ на *-i* (ь-основ), то нужно, конечно, согласиться с его мнением, что они возникли под влиянием местоимений и прилагательных, у которых, наряду с окончанием *-ujex* род. и местн. падежей мн. числа, в соответствующих говорах распространено и окончание с иной рефлексацией «ятя» — *-ūx* (*овūх*, *добрūх*). Таким образом, для индукции местн. падежа здесь нужно принять еще в качестве промежуточного звена воздействие местоимений и прилагательных, а для форм на *-ah* — вероятное посредство форм существительных на *-ih*.

Возможно, однако, что воздействие предложного (местного) падежа мн. числа на род. падеж не ограничивалось в штокавском наречии лишь приведенными фактами. Хотя в этом отношении многое спорно, есть серьезные основания думать, что загадочная со сравнительно-исторической точки зрения штокавская (литературная) форма род. падежа мн. числа на *-ā* во всех склонениях, где исторически ей соответствовали формы на -ъ(-ь), представляет собою по своему происхождению местный падеж мн. числа *ā*-основ с фонетически отпавшим *x* и с долготою, перенятою из былых ь-основ — *ствáрū* и т. п.

Индукция местного (предложного) падежа мн. числа на род. падеж вне сербского языка встречается редко. Соответствующие факты в самом начале XIX в. отмечены были, например, в украинском говоре села Убли: род. падеж мн. числа *nohách*, *dýn'och*, *t'ī́lach*, *ozérach*, *pṓl'ach*, *mṓr̂ach*, *klṓčach*, *krýl'čach*, *nṓcht'ach*, *cḗr'kvach*, *i̯ahn'át'ach* и т. п. При этом характерно то обстоятельство, что все эти и подобные случаи никогда не встречались в исключительном употреблении, а представляли только варианты других возможных форм. Приведенные факты, по-видимому, дают достаточные основания для того, чтобы представить себе путь развития данных форм. Сопоставление *sil*, *žun*, *korou̯* и *hôlṓu̯* с *nuh*, *nohách* указывает, что проникновение формы местн. падежа мн. числа в род. падеж началось скорее всего со слов *noha* или *ruka*, т. е. с тех, которые чаще всего употреблялись в двойственном числе и у которых искони не различались в этом числе родительный и местный падежи. Возможно, что в говорах ублийского типа формы *nohu*, *ruku* исчезли достаточно поздно, и былой синкретизм родительного и местного падежей этих форм оказал косвенное влияние на соответствующие формы мн. числа. Формы среднего рода в первую очередь последовали за образцом *nohach* — вероятно, потому, что старая форма род. падежа мн. числа была единственной заметно отличающейся от других формой и в связи с этим легче поддавалась благоприятной для выравнивания индукции (ср., однако, только *stremén*, *strémenii̯*).

Что касается *nṓcht'ach*, то, видимо, такая форма своим появлением обязана внешне сходному слову *lṓkôt'*, для которого совпадение род. падежа с местным, как и для слов на *-a*, могло быть подготовлено старыми отношениями двойственного числа.

Для формы *cḗr'kvach* можно предполагать особую влиятельность предложного (местного) падежа. В рассматриваемом говоре вне воздействия предложного падежа остались слова мужского склонения. Надо думать, что решающим моментом здесь было наличие у род. падежа очень выразительной приметы — окончания *-ôu̯*.

Индукция местн. падежа мн. числа на род. падеж у ь-основ в отдельных примерах отмечена для словенского языка у Трубаря и некоторых других. При этом, как указывает Рамовш, в соответствующих случаях вполне ясно определяется условие, при котором осуществлялась индук-

ция, — положение существительных за местоимениями и прилагательными (у них оба падежа морфологически не различались): *is tih boſhih sapuvidih, is tih zhloveſkih prepuvidih*; реже — в самостоятельном употреблении — *od miſhih* [1]. Кроме Трубаря, такие формы встречаются только у Далматина, Креля, Скаларя и позже почти не употребляются.

Влияние окончаний двух косвенных падежей — дательного и местного (предложного) множественного числа на именительный-винительный падеж этого же числа предполагается в словацком склонении имен среднего рода: *perá*: *perám, v perách*; *polia*: *poliam, v poliach*. Этим же влиянием можно объяснить и долготу *á* в форме им.-вин. падежа у существительных одушевленных (*dievčatá*: *dievčatám, v dievčatách*). Принадлежность этих последних к категории одушевленности не имеет в данном отношении большого принципиального значения. Указанное обобщение долготы в им.-вин. падеже мн. числа охватило в словацком языке все вообще типы существительных среднего рода (*semená*: *semenám, v semenách* и др.); на таком фоне тип *dievčatá, chlapčatá* мог и не обнаружить специального сопротивления в именительном-винительном индукции дательного и предложного падежей [2].

Подобные факты наблюдаются в чакавских говорах сербского языка и в посавских штокавских говорах. В говоре Нового *а* с восходящей долготой характеризует только *es-* и *en*-основы: *nebesá, brimená* и т. п. А. И. Белич полагал, что восходящая долгота конечного гласного *á* (вместо ожидаемого *à*) здесь не старая и получена из остальных падежей мн. числа (*brimenón, brimenîh*), которые сильно отличались от форм ед. числа [3]. Такое объяснение не лишено правдоподобности, но в целом факты сложнее: указания на восходящую долготу заударного *а* мн. числа у имен среднего рода имеются также, как замечено выше, в словенском языке, в котором корневой подударный гласный в соответствующих словах обнаруживает изменение восходящей (акутовой) долготы в неподвижную нисходящую (новоциркумфлексовую): *lêta, sîta, kolêna, korîta* и т. п. [4].

Возможно, что по крайней мере по отношению к отдельным словам индукция твор. и местн. падежей мн. числа осуществилась и в украинском языке. Так скорее всего объясняется *світá* (обычно *світú*) под влиянием *світáми* (ср. *піти у світú* и *піти світáми*) или наречного *у світáх* «не дома, в мире»; может быть, и *лісá* (при обычном *лісú*) — *по лісáх, у лісáх* и т. п.

Индукцию дательного, творительного и местного падежей мн. числа на им.-вин. падежи видят в чешских формах *luka* «луга» (им. падеж ед. числа *louka*), *hrana* «колокольный звон по умершему», *muka, dvířka* «дверцы», *hora* (*Hora*), *kasárna* «казарма, казармы» и т. п. [5]. Такое на-

---

[1] F. Ramovš, указ. соч., стр. 63.

[2] Весьма возможно, что явление того же рода имело место в словенском: *lêta, dêla* (из **lě̄tā, *dě̄lā* с долготой из **-ātъ̀, *-āchъ̀*). Но это предположение опирается на ряд в большей или меньшей мере спорных допущений акцентологического порядка; поэтому, не настаивая на нем, ограничиваемся одним упоминанием о такой возможности.

[3] См. А. Белич, Заметки по чакавским говорам, стр. 223.

[4] Мнение Т. Лера-Сплавинского о том, что в словенском акутовая интонация подударного слога изменяется в новоциркумфлексовую перед акутированным слогом и без специальной долготы, считаю ошибочным (см. T. Lehr-Spławiński, O prasłowiańskiej metatonji, Kraków, 1918).

[5] См.: J. Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého, díl III, I, Praha — Viděn, 1896, стр. 178; W. Vondrák, Vergleichende slavische Grammatik, Bd. II, Göttingen, 1928, стр. 33.

правление индукции подтверждается, в частности, тем, что в корне соответствующих слов вместо долготы появляется краткость. Вероятнее, что у слов типа *luka* (при *louky* — с дифференциацией значения) индукция шла в основном от форм местн. падежа *na loukách*, *na lukách*, откуда первоначально *luká*.

Заслуживает особенного внимания, что некоторые слова этой категории — pluralia tantum [ср., например, *hrana* (при *hrany*), *dvířka*, *kasárna* (при более употребительном *kasárny*); народн. *Hradčana* (при литературном *Hradčany*, род. падеж *Hradčan*)], — обстоятельство, особенно благоприятное для стирания приметы рода.

Для слова *muka* (мн. число и *muky*), вероятно, имело значение колебание в выборе формы ед. или мн. числа (при двусмысленности относительно числа и рода имени прилагательного-определения): *Boží muka* «распятие». Диалектное *hora* (*Hora*), кажется, употребляется преимущественно идиоматически; как собственное имя это слово является *plurale tantum*.

Индукцию, вероятно, в первую очередь дательного, во вторую — местного на творительный падеж множественного числа с большою вероятностью можно принять для женского склонения типа *žnica* в словацком языке. Другие типы склонения позволяют с уверенностью считать, что в окончании *-ami* словацкий язык никогда не имел фонетической долготы; ср. *ženami* и т. п. Поэтому словацкое *žniciami* (при сохранившем старину *žnicami*) нельзя понимать иначе, чем как результат индукции со стороны формы *žniciam* (при *žnicam* [1]) и, во вторую очередь, менее похожей формы местного *žniciach* [2].

Пример изолированного образования им. падежа ед. числа, обязанного своим появлением воздействию локатива, наблюдается в сербском чакавском говоре гор. Креса (Cherso): это слово *tlȍh*, род. падеж *tlohȁ*, со значением нем. «Boden» (ср. укр. *тло* «основание»). По объяснению М. Тентора, «*tlȍh* — вероятно, местный падеж. мн. числа (как в древнем языке местн. мн. *tloh*, *ustoh*), и так как очень часто употребляется *po tlȍh* («на земле», только адвербиально), то отсюда выделено *tloh* как им. падеж ед. числа» [3]. А. И. Белич отмечает в чакавском новлянском говоре *tlóh* как форму местн. падежа мн. числа и понимает ее как результат влияния дат. падежа — **tlom* (к им. падежу мн. числа *tlȁ*) [4]. Если это так — перед нами был бы очень редкий случай индукции мало употребительного у слов среднего рода падежа на очень употребительный, особенно у слова со значением «почва, земля, пол». Необходимо поэтому допустить иную догадку — например, о том, что форма *tlóh* возникла в этом говоре на основании ранее существовавшей формы ед. числа *tlo*.

Другое своеобразное явление по отношению к этому же слову отмечено было Дж. Даничичем [5]. У Матии Ерковича (1634 г.) встречается один раз местн. падеж ед. числа *тлеху*, для которого необходимо допустить им. падеж *тлех*; иначе говоря, местн. падеж мн. числа у этого слова стал, по-видимому, им. падежом ед. числа.

---

[1] Последняя *форма не ясна: в чешском и словацком языках* здесь ожидается только *-ám*. М. Калал (M. Kálal, Praktická srovnávacia mluvnica česko-slovenská, Bánska Bystrica, 1926, стр. L) приводит параллельную форму с краткостью (тоже исторически неясную) и для формы местн. падежа.

[2] Указания на соответствующие формы см. L. A. Mičátek, Differenciálny slovensko-ruský slovník, Turč. Sv. Martin, 1900, стр. 77 второй пагин.

[3] M. Tentor, указ. соч., стр. 170.

[4] А. Белич, Заметки по чакавским говорам, стр. 219.

[5] Ђ. Даничић, Историја облика српскога или хрватскога језика до свршетка XVII вијека, Београд, 1874, стр. 135.

В пределах относительно небольшого, но в общем типичного материала, привлеченного нами к рассмотрению двух выборочно взятых (со стороны аккузатива и локатива) направлений индукции в славянском склонении, можно, таким образом, установить достаточно определенную особенность соответствующих фактов. Индукция, как правило, действует дробно и зависит в большинстве случаев от ряда комплексирующих моментов, определяющих ее конечный результат. «Большие» линии действия индукции могут быть констатированы для тех или иных групп фактов, но они, как мы могли видеть, далеко не составляют правила и тем более закономерностей, охватывающих родственные языки и диалекты в целом или хотя бы относительно большими группами. «Нет правила без исключения»—это положение применительно к данной области языковых фактов часто получает для себя вполне реальное оправдание.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1957

С. А. МИРОНОВ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ НЕМЕЦКИХ ДИАЛЕКТОВ

(Система склонения)

Одной из насущных задач современной диалектологии является изучение в сравнительном плане общих закономерностей и основных тенденций развития грамматического строя диалектов того или иного языка. Каждый диалект, характеризуясь как целостная система рядом отличительных особенностей по своему звуковому и лексическому составу и по своему грамматическому строю, обнаруживает тем не менее много сходных черт с другими близко родственными диалектами и с возникшим на их базе литературным языком. Сходство это обусловлено как единством происхождения, так и общностью исторических путей и внутренних закономерностей их развития.

Характерно, что наибольшая общность и единство между диалектами одного языка проявляется именно в сфере грамматического строя как основы их языковой структуры. С другой стороны, максимальные различия между ними проявляются, как правило, в сферах их звукового и частично словарного состава. Как общие, так и отличительные черты морфологического строя диалектов раскрываются лишь при сравнительно-историческом их изучении, при сопоставлении и обобщении данных монографических описаний отдельных диалектов и при учете общих тенденций развития строя данного национального языка.

Те или иные частные особенности и различия между диалектами в сфере их морфологического строя свидетельствуют о разнообразии путей и способов реализации общих закономерностей, обусловленном спецификой звуковой и морфологической системы того или иного диалекта.

Задача построения сравнительной грамматики диалектов и выявления общих тенденций развития их морфологического строя представляется весьма актуальной и для немецкой диалектологии. В многочисленных монографиях, посвященных описанию различных немецких диалектов, морфологические особенности (которым уделяется, как правило, значительно меньшее внимание, чем фонетическим) даются обычно в формально-статическом плане, весьма схематично и изолированно, без должного обобщения и вскрытия внутренней динамики исторического развития грамматического строя. Авторы этих работ, содержащих богатый фактический материал описательного характера, не делают из него принципиальных выводов относительно общих тенденций развития строя немецких диалектов. С другой стороны, для представителей школы немецкой диалектографии характерно рассмотрение тех или иных грамматических особенностей диалектов изолированно, как отдельных изоглосс, в отрыве от системы диалекта в целом. Иначе говоря, каждый диалект трактуется не как целостная система, имеющая свои отличительные морфолого-синтаксические признаки, а как комплекс разрозненных грамматических явлений, имеющих определенные границы своего распространения [1].

[1] Ср. В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, М.—Л., 1956, стр. 141.

Сопоставляя в сравнительно-историческом плане немецкий литературный язык с диалектами, мы обнаруживаем в грамматическом строе последних более последовательное и решительное, чем в письменной норме языка, осуществление присущих им общих тенденций развития. Это обусловлено прежде всего особенностями развития диалектов как живых народных говоров, не скованных рамками письменной традиции, имеющей тенденцию к твердой фиксации и консервации грамматической структуры языка.

*

Система имени существительного в немецких диалектах, рассмотрению которой посвящена настоящая статья, развивается в том же направлении, что и система имени в литературном немецком языке, в силу общности и единства тенденций и внутренних закономерностей их исторического развития. Эти общие тенденции и закономерности развития сводятся в системе имени к следующим основным процессам:

1) к стиранию и унификации падежной флексии имени существительного в результате взаимодействия фонетической редукции безударных окончаний и процесса грамматической аналогии;

2) к использованию для выражения падежных отношений в именной группе дифференцированных падежных окончаний артикля, атрибутивного местоимения или прилагательного сильного склонения;

3) к широкому использованию для выражения синтаксических функций имени существительного предложных конструкций;

4) к четкому флективному оформлению множественного числа существительных с тенденцией к закреплению определенных типов его образования за грамматическим родом.

Характерное для большинства немецких диалектов более последовательное, чем в литературном языке, осуществление этих общих тенденций находит свое выражение в следующих специфических чертах:

1) в более полном и последовательном стирании и унификации падежной флексии имени существительного и в почти повсеместном отмирании категории генитива;

2) в более широком переносе выражения падежной дифференциации в целом ряде диалектов на артикли, атрибутивные местоимения и прилагательные (главным образом в чисто падежных, беспредложных конструкциях); однако и в сфере этого аналитического оформления падежей для ряда диалектов характерна тенденция к нивелировке падежных окончаний и к стиранию различий между номинативом и аккузативом или между аккузативом и дативом (главным образом в предложных конструкциях);

3) в более интенсивном развитии конкурирующих предложных конструкций и описательных оборотов (типа посессивной конструкции с притяжательным местоимением) как лексических средств, параллельно сосуществующих с падежами и частично вытесняющих падежную дифференциацию; при этом, в связи с тенденцией к падежной омонимии, большее значение приобретает также твердая фиксация порядка слов в предложении;

4) в более последовательном и широком использовании как внутренней, так и внешней флексии в качестве показателя множественного числа. Ведущей тенденцией продолжает оставаться стремление к четкому морфологическому противопоставлению множественного числа единственному и к обобщению его признаков по категории грамматического рода. Многообразие типов образования множественного числа дифференцируется по диалектам в соответствии со спецификой их фонетической и морфологической системы.

Эти тенденции, свойственные в той или иной степени всем немецким диалектам и свидетельствующие об общности внутренних закономерностей развития их морфологической системы, реализуются в разных диалектах по-разному, проявляясь в тех или иных частных структурных особенностях.

*

В области склонения имени существительного наиболее общей чертой для преобладающего большинства немецких диалектов является отмирание категории родительного падежа, который раньше других падежей подвергается вытеснению и замене описательными и предложными конструкциями. Это свидетельствует о неравномерности процесса распада старой падежной системы и об отмирании в первую очередь менее продуктивных и менее стойких в функциональном отношении падежей.

Судьба генитива в немецких говорах (как, правда, частично и в современном литературном немецком языке) представляет собой процесс раннего вытеснения его другими более стойкими падежами (особенно дативом) и главным образом описательными и предложными конструкциями [1]. При этом мы обнаруживаем различия в интенсивности указанного процесса как между отдельными диалектами, т. е. в территориальном отношении (пережиточное сохранение категории генитива в реликтовых районах юга немецкой языковой области), так и внутри этих диалектов в зависимости от сферы функционирования генитива (наибольшая его устойчивость наблюдается в узкой сфере посессивных отношений лица, а интенсивное вытеснение—в аблативной и партитивной функции и в приглагольном употреблении).

Характерная для абсолютного большинства диалектов общность заменяющих генитив конструкций (особенно предложной с *von*) и общность сфер их употребления сочетается с частными различиями в их оформлении в зависимости от специфики грамматического строя того или иного диалекта. Так, посессивная конструкция с притяжательным местоимением выступает в пяти дифференцированных формах: 1) посессивного генитива, подкрепленного притяжательным местоимением (тип: *'s Vaters sein Haus*), 2) посессивного датива (тип: *dem Vater sein Haus*), 3) посессивного аккузатива-датива (тип: *den Vater sein Haus;* но: *der Frau ihr Sohn*), 4) посессивного аккузатива (тип: *den Vader sīn Hūs, die Frau ihr Sohn*) и 5) посессивного «общего падежа» (тип: *de Vader sīn Hūs*). Общая тенденция реализуется в различных территориально дифференцированных формах, обусловленных спецификой фонетической системы и морфологического строя того или иного диалекта.

С отмиранием генитива в абсолютном большинстве немецких говоров и с заменой его различными описательными конструкциями система склонения большей части немецких диалектов охватывает категории двух или трех падежей в зависимости от того, сохраняется ли падежная дифференциация между дативом и аккузативом и между аккузативом и номинативом. Эти падежи оказываются более стойкими в функциональном отношении, чем генитив. Однако в большинстве немецких диалектов они подчиняются общей тенденции к распаду и унификации падежной флексии в связи с процессами фонетической редукции и аналогии, с переносом роли падежной дифференциации на артикли и с развитием системы предложных конструкций, заменяющих падежи.

[1] Более подробную разработку этого вопроса см. в моей диссертации (С. А. Миронов, Развитие анализа в системе склонения немецких диалектов. Канд. диссерт., Л., 1940). См. также замечания В. М. Жирмунского в его «Немецкой диалектологии» (стр. 399—402).

На флексий имени существительного в диалектах пережиточно сохраняются лишь окончания датива единственного и множественного числа *-e* и *-(e)n* и окончания косвенных падежей единственного числа слабого склонения мужского и среднего рода *-e* и *-e(n)*. Основным средством падежной дифференциации становятся артикли, а наряду с ними и другие местоименные показатели и сильные прилагательные, выступающие в атрибутивной функции.

В отношении развития категории датива в немецких диалектах можно наметить три территориально дифференцированные ведущие тенденции:

1) сохранение категории датива с преимущественным использованием флективных средств его выражения [с флексией *-e* в единственном числе, главным образом в односложных существительных мужского и среднего рода сильного склонения, и с флексией *-(e)n* во множественном числе всех родов] при наличии в ряде диалектов одновременной тенденции к стиранию падежных различий между дативом и аккузативом в артикле и других местоименных показателях;

2) сохранение категории датива с преимущественным использованием аналитических средств его выражения (артиклей и других показателей) при наличии более или менее последовательной тенденции к устранению его флексии в единственном и множественном числе в результате процессов фонетической редукции и выравнивания по аналогии;

3) утрата категории датива в результате его смешения и формального совпадения с аккузативом—как в артикле и других местоименных показателях, так и в имени существительном.

Первая тенденция характерна для ряда нижненемецких диалектов (в частности, южновестфальского и южноостфальского), для восточносредненемецких говоров (северных тюрингских и верхнесаксонских) и для некоторых южнобаварских диалектов, а в отношении флексии датива множественного числа также и для южномозельского, нижнегессенского, частично—для эльзасских и швейцарских говоров и особенно для восточнофранкского, юго-западного тюрингского и севернобаварских диалектов с их «потенцированными» формами датива [типа: *neglnä(n)* «Nägeln», *khelwernä(n)* «Kälbern», *tsaitnä(n)* «Zeiten» и т. п.].

Различие сфер распространения флексии единственного числа *-e* и флексии множественного *-e(n)* обусловлено неполным совпадением областей редукции конечных *-e* и *-n* в немецких диалектах. Характерно, однако, что в ряде диалектов, утрачивающих флексию датива в единственном числе, но сохраняющих ее во множественном, датив единственного числа все же выделяется при помощи различий в акцентуации, в долготе или качестве гласного корня или в качестве конечного согласного, вызванных противопоставлением двусложных и односложных форм слова. Ср., например: нижнегессенск. им.-вин. *wäk* «Weg», дат. *wäh*[1]; южнотюрингск. им.-вин. *duirf* «Dorf», дат. *dorf* и т. п. [2].

Здесь, при невозможности использования флексии как падежного признака, дифференцирующими средствами становятся вторичные чередования звуков, приобретающие грамматическое значение. Сохранению и даже некоторому развитию флексии датива в вышеупомянутых говорах способствовали, несомненно, фонетические предпосылки, именно: свойст-

[1] См. H. Reis, Die Mundarten des Großherzogtums Hessen, «Zeitschrift für deutsche Mundarten», Jg. 1909, Heft 4, стр. 304. (Примеры из немецких диалектов в данной статье приводятся частично из диалектологических текстов, прилагаемых к ряду специальных монографий, а в некоторых случаях заимствованы из работ немецких диалектологов.)

[2] См. K. Regel, Die Ruhlaer Mundart, Weimar, 1868, стр. 88.

венная этим говорам относительная стойкость конечных *-e* и *-n*. В этих разнородных, территориально разобщенных диалектах обнаруживаются общие закономерности, проявляющиеся в борьбе двух противоположных тенденций. С одной стороны, это намечающаяся тенденция к стиранию падежных различий между дативом и аккузативом, захватывающая флексию артикля мужского рода (*dem* > *den*) и множественного числа всех родов (*den* > *de*)[1]. С другой стороны, это тенденция сохранить формальное обозначение датива в силу его неутраченной функциональной значимости при помощи более устойчивой в данных диалектах флексии. Процесс этот может иметь различное происхождение. Он может носить вполне самостоятельный спонтанный характер (как, например, в севернобаварских диалектах) или же быть обусловленным смешанным характером диалекта (как, например, в восточно-средненемецких говорах), раскрываясь как противоречивое взаимодействие нижненемецкой специфики (смешение датива с аккузативом) с верхненемецкой (четкое разграничение обоих падежей).

Вторая тенденция свойственна преимущественно западно-средненемецким диалектам (частично среднефранкскому, рейнскофранкскому), а из южнонемецких диалектов (Oberdeutsch)—южнофранкскому, частично восточнофранкскому, швабскому и отчасти баварскому, эльзасским и швейцарским диалектам. Это диалекты, весьма интенсивно отбрасывающие флексию датива, а именно: конечное неударное *-e* и, в меньшей степени, *-n*, но сохраняющие более или менее четкие падежные различия в артикле или даже создающие на его базе новые формы падежной дифференциации (ср., например, аналитические показатели *em*, *eme*, *enre*, *an* или *in* в алеманских, а также в южнобаварских диалектах).

Характерно, что употребление этих новообразований типа предложных конструкций не ограничивается существительными мужского и среднего рода (при которых они первоначально возникли из стяженной падежной формы артикля), а распространяется как на существительные женского рода, так и на формы множественного числа. Ср., например, южно-австр. *i fotər* «dem Vater», *i der muetər* «der Mutter»[2], *i də läit* или *en də läitn* «den Leuten» и т. п., что свидетельствует о переосмыслении этого показателя как особого предлога, ибо он сам уже может сочетаться с формами артикля. Тенденция к грамматикализации и универсализации указанных форм как признаков датива именно в беспредложных конструкциях свидетельствует о четком сохранении в этих диалектах функции датива как падежа личного косвенного дополнения[3]. Показательно также, что тенденция эта свойственна не только алеманским, но частично и баварским говорам, где она проявляется как аналогичный, но самостоятельно возникший процесс. Как видно из приведенных примеров, здесь тоже намечается тенденция к стиранию падежных различий в артикле, причем, главным образом, во множественном числе, где превалирует стремление закрепить четкий и унифицированный признак множественности. Особенно интенсивно флексия датива множественного числа стирается в предложных конструкциях, где значение падежа быстрее утрачивается. Ср., например, швабск.: дат. *denə läit* «den Leuten», им.-вин. *die läit* «die Leute», но: *mit də hend* «mit den Händen», *uf də benk* «auf den Bänken» и т. п.

---

[1] О неполной реализации этой тенденции свидетельствует четко оформленное разграничение указанных падежей в артикле женского и среднего рода (*der* — *die*, *den* < *dem* — *das*).

[2] См. J. Schatz, Die Mundart von Imst, Strassburg, 1897, стр. 159.

[3] Ср. аналогичное обобщенное употребление предлога *aan* в голландских диалектах (например, брабантско-антверп. *ən U zyster* «Вашей сестре»), а также предлога *vir* в бурском языке (ср. *Jan slaan vir Piet* «Ян бьет Пита») для выражения личного, как прямого, так и косвенного объекта.

В большинстве говоров, ликвидирующих флективный показатель датива, устраняются также различные качественные и количественные изменения гласных и согласных корня, возникшие в двусложных формах датива или явившиеся следствием отпадения *-e* датива. Весьма показательно, однако, что в аналогичных двусложных формах множественного числа никакого выравнивания не происходит. Количественные или качественные различия используются здесь как признак множественного числа. Так, например, в диалекте Нюрнберга в словах типа *Tisch* датив единственного числа, имеющий краткое *i* (*tiš*), унифицируется в количественном отношении с формами номинатива-аккузатива единственного числа, имеющими долгое *ī* (*tīš*), тогда как во множественном числе краткость гласного сохраняется как единственный (при отсутствии флексии и умлаута) признак множественности[1]. Аналогичной унификации подвергаются также и качественно измененные в дативе согласные корня.

Третья тенденция — смешение датива с аккузативом — является старой нижненемецкой особенностью, характеризующей (за исключением говоров, сохраняющих флективный датив) целый ряд диалектов северной Германии, главным образом нижнефранкский, северносаксонский, северновестфальский, шлезвигский, мекленбургский и бранденбургский. Это же явление свойственно и нижнефранкским в своей основе нидерландским диалектам, последовательно утратившим различие между дативом и аккузативом. Флексия датива отпадает в связи с редукцией конечных *-e* и *-n* в большинстве этих диалектов. Ликвидируются также различия между дативом и аккузативом в артикле, не только мужского, но также женского и среднего рода. Побеждает обычно форма аккузатива. Ср., например, *uut de karken* «aus der Kirche», *uut dat huus* «aus dem Hause» (Бремен)[2]; *upt feld* «auf dem Felde» (Эмсланд)[3]; *bī-t fūr* «beim Feuer» (Мюнстер)[4]; *mid id pēad* «mit dem Pferde», *bī də frū* «bei der Frau» (Шлезвиг)[5]; *ut dit Holt* «aus dem Holze» (Мекленбург)[6]; *ant vgətər* «am Wasser» (Ноймарк)[7] и т. п. Аккузатив вытесняет датив в артикле также сперва в предложных конструкциях и прежде всего во множественном числе, где этому способствует целый ряд факторов (стремление к унифицированному признаку множественного числа, отсутствие здесь родовой дифференциации, более частое употребление предлогов).

Итак, основной морфолого-синтаксической спецификой большинства нижненемецких диалектов является функциональное и формальное неразличение датива и аккузатива, противостоящее более или менее четкой их дифференциации в верхненемецких диалектах. Однако и здесь, как мы видели, прокладывает себе путь аналогичная тенденция (правда, только в артикле мужского рода и в предложных оборотах). Она развивается в смешанных восточно-средненемецких говорах как один из признаков нижненемецкого диалектального субстрата и в ряде баварско-австрийских диалектов как вполне самостоятельный, фонетически поддержанный процесс, свидетельствующий о зарождающемся функциональном смешении обоих падежей в сочетании с ярко выраженными противоборствующими тенденциями.

---

[1] См. A. Gebhardt, Grammatik der nürnberger Mundart, Leipzig, 1907, стр. 249.
[2] См. W. Heymann, Das bremische Plattdeutsch, Bremen, 1909, стр. 154.
[3] См. H. Schönhoff, Emsländische Grammatik, Heidelberg, 1908, стр. 181.
[4] См. H. Grimme, Plattdeutsche Mundarten, Berlin — Leipzig, 1922, стр. 117.
[5] См. K. N. Bock, Niederdeutsch auf dänischem Substrat, Kopenhagen — Marburg, 1933, стр. 294—295.
[6] См. O. Weise, Zu Reuters Syntax, «Zeitschrift für deutsche Mundarten», Jg. 1910, Heft 4, Berlin, 1910, стр. 301.
[7] См. H. Teuchert, Laut- und Flexionslehre der neumärkischen Mundart, «Zeitschrift für deutsche Mundarten», Jg. 1908, Heft 1, стр. 53.

Интересно, что в некоторых диалектах, смешивающих оба падежа, обнаруживается тенденция к разграничению их форм в беспредложных и предложных конструкциях. Так, в диалектах Фогтланда и саксонских Рудных гор форма аккузатива сохраняется в беспредложных словосочетаниях (в функции прямого дополнения), тогда как в предложных конструкциях в женском и среднем роде побеждают формы датива [ср. в говоре саксонских Рудных гор: *dorch̊n Fenster* «durch das Fenster», *ûfn Dach* «auf das Dach», *ûfdr Post* «auf die Post», *indr Kirche* «in die Kirche»[1]].

Процессу стирания падежных различий способствует неударнсе положение артикля в сочетаниях с предлогами, ведущее к его стяжению и деформации в результате различных ассимиляторных процессов. Ср., например, застывший, полностью нейтрализованный рудимент артикля в предложных сочетаниях говора Шлезвига: *inə vinda* «im Winter», *inə ǭmd* «in den Ofen», *inə lufd* «in der Luft»[2]. Рудимент *e* [ə], присоединяемый к предлогу, полностью обессмыслен и лишен как падежных, так (в данном случае) и родовых признаков.

Случаи полного растворения артикля в предлоге встречаются и в других диалектах: Ср., например: восточношвейц. *in den bach* > *inn bach* > *in bach* > *i bach* «in den Bach»[3]; южнобав. *fu der mueter* > *fur muətər* «von der Mutter»; *auf den tisch* > *aufn̰ tisch*[4].

Смешение падежей артикля при предлоге происходит не однородным путем. С одной стороны, оно может быть результатом спонтанного процесса фонетической редукции, как, например, смешение датива с аккузативом в артикле мужского рода в гессенск. *ufm tisch* > *ufn tisch*. С другой стороны, это может происходить в результате процессов аналогизации, замены одной падежной формы артикля другой. Ср., например: шлезв. *in der lufd* > *in də lufd* > *inə lufd* «in der Luft»; северновестф. *upm feld* > *upn̰ feld* > *upt feld* «auf dem Felde». В среднем роде процесс вытеснения датива аккузативом протекал, по-видимому, наиболее сложно и был осуществлен наиболее поздно. Наблюдения показывают, что унификация падежей артикля и стирание падежных признаков происходит прежде всего при предлогах с локальным значением (*an*, *auf*, *in*, *über*, *unter* и т. п.), требующих двойного управления. Единый для всех диалектов процесс ослабления функций падежей в предложных конструкциях протекает в двух направлениях. С одной стороны, он ведет к интенсивному стиранию падежной дифференциации в живых предложных оборотах (преимущественно с двойным управлением), с другой—способствует частичному закреплению уже обессмысленной флексии в ряде застывших предложных конструкций с дативом (или аккузативом).

Показательна также судьба флексии *-en* датива-аккузатива существительных мужского рода слабого склонения в различных диалектах. Несмотря на довольно пеструю картину, обнаруживаемую как в нижненемецких, так и в верхненемецких говорах в отношении сохранения или ликвидации этой флексии, ведущей тенденцией во многих из них является все же стремление к противопоставлению форм единственного и множественного числа и к выравниванию падежных форм внутри единственного числа (или по номинативу, или по косвенным падежам). Конкретные пути реализации этой тенденции в разных диалектах зависят от фонетико-морфологических особенностей системы того или иного диалекта.

[1] E. Goepfert, Die Mundart des sächsischen Erzgebirges, Leipzig, 1878, стр. 72.
[2] См. K. N. Bock, указ. соч., стр. 294.
[3] См. J. Winteler, Die Kerenzer Mundart des Kantons Glarus in ihren Grundzügen dargestellt, Leipzig und Heidelberg, 1876, стр. 191.
[4] См. J. Schatz, указ. соч., стр. 120, 159.

*

С двумя указанными основными путями выравнивания падежных различий в единственном числе существительных слабого склонения явно перекликается характерная для ряда нижненемецких и верхненемецких диалектов унификация номинатива с аккузативом в артикле, в атрибутивных местоимениях и прилагательных мужского рода. Эта унификация проявляется также в двух вариантах:

1. Вытеснение формы номинатива аккузативом (*de* > *den*), свойственное ряду нижненемецких диалектов (в частности, нижнефранкскому, мекленбургскому, частично нижнесаксонскому), а также средненемецкому мозельско-франкскому говору. Ср., например, нижнефранкск. *dən dǫüwəl* «der Teufel»[1], мекленб. *hei is en riken man* «er ist ein reicher Mann»[2], мозельско-франкск. *den Aabel fällt nöt weit vom Baam* «der Apfel fällt nicht weit vom Baum»[3].

2. Замена формы аккузатива номинативом (*den* > *der*, так называемый «рейнский аккузатив»), характерная для ряда верхненемецких диалектов (главным образом алеманских и частично рейнско-франкских и рипуарских). Ср., например, швейц. *er springt ūm dər štäį ųmə* «er springt um den Fels herum»[4], *i ha der has k-si* «ich habe den Hasen gesehen»[5], рипуарск. (Аахен): *ap der berg* «auf den Berg»[6] и т. п.

Указанное явление представляет интерес опять-таки потому, что оно свойственно разным, территориально разобщенным диалектам, обнаруживающим общую тенденцию к выравниванию этого последнего формального различия между номинативом и аккузативом, тем более, что в среднем и в женском роде оба падежа уже совпадали. Различие между ними находит достаточно ясное формальное выражение в синтаксических средствах (порядок слов). Тенденция эта осуществляется разными путями, обусловленными спецификой фонетико-морфологической системы той или иной группы диалектов.

Так, в нижненемецком форма аккузатива *den* явилась более устойчивой (в силу большей стойкости конечного *-n*) и более четко дифференцирующей различия между мужским и женским родом, чем лишенная *-r* усеченная форма номинатива *de*, *die*, совпадающая формально с артиклем женского рода. Стремление к укреплению уже начинающей расшатываться родовой дифференциации в нижненемецких диалектах способствовало закреплению более четкой формы аккузатива. Совершенно аналогичную тенденцию мы наблюдаем во фламандско-брабантских диалектах южных провинций Нидерландов, также устраняющих падежные различия в артикле мужского рода путем обобщения формы *den* для обоих падежей в целях сохранения родовой дифференциации. С другой стороны, в голландских диалектах северных провинций, с их более последовательной редукцией падежных окончаний в артикле, выравнивание падежей происходит по форме номинатива *de*, совпадающей с формой артикля женского рода[7].

---

[1] См. E. Maurmann, Grammatik der Mundart von Mülheim a. d. Ruhr, Leipzig, 1898, стр. 85.

[2] См. O. Weise, указ. соч., стр. 294.

[3] См. J. G. Ballas, Beiträge zur Kenntnis der trierischen Volkssprache, Trier, 1903, стр. 48.

[4] См. E. Abegg, Die Mundart von Urseren, Frauenfeld, 1911, стр. 88.

[5] См. J. Winteler, указ. соч., стр. 168.

[6] См. R. Hildebrand, Ein wunderlicher rheinischer Accusativ, «Zeitschrift für deutsche Philologie», Bd. I, Halle, 1869, стр. 447.

[7] Ср. C. G. N. de Vooys, Geschiedenis van de Nederlandse taal, Antwerpen — Groningen, 1952, стр. 75.

Следствием этого является интенсивное стирание родовой дифференциации между парадигмами склонения мужского и женского рода в этих диалектах. Сходный процесс на немецкой почве наблюдается в ряде пограничных с Данией шлезвигских говорах, а также в некоторых восточно-нижненемецких диалектах, где также побеждает форма номинатива *də* (ср. *ig hef də man sēn*)[1].

По иному пути идут верхненемецкие диалекты, обнаруживающие «рейнский аккузатив». При наличии в них четкой тенденции к формальной дифференциации грамматического рода с помощью артикля выравнивание падежей происходит в этих диалектах по более четкой форме номинатива (*der*), резко отличающейся от номинатива женского рода (*die*, *de*), тогда как форма аккузатива мужского рода (*den*) в результате сильной редукции конечного *-n* в этих диалектах была, несомненно, менее четка и могла совпасть с неударной формой артикля женского рода (*dę*, *d*). Весьма характерно, что в предложных конструкциях, где функция падежа стирается, в ряде алеманских говоров сохраняется старая аккузативная форма артикля с редуцированным *-n* (ср. швейц. *ụm də gụrgəl*)[2].

Возникший на юге (в алеманских говорах) «рейнский аккузатив» характеризуется интенсивным распространением в северном направлении и достигает даже рипуарских говоров Кельна и Аахена; однако он все более уступает место обобщенной форме аккузатива, типичной для нижнефранкских диалектов.

*

Подводя итоги изложенному выше, можно установить т р и основных структурных типа в оформлении системы склонения немецких диалектов. В синхронном плане эти типы сосуществуют в современных диалектах, проявляясь в различной мере в разных говорах. Но в историческом плане они представляются в виде последовательных этапов в развитии системы склонения немецких диалектов, отражая присущие им общие тенденции развития, которые в зависимости от специфики фонетико-морфологической системы того или иного диалекта развиваются в различной степени и различными путями.

1. С о ч е т а н и е ф л е к т и в н о г о и а н а л и т и ч е с к о г о с п о с о б о в в о ф о р м л е н и и п а д е ж а (падежным окончанием имени существительного и флексией артикля одновременно).

Этот тип представлен как в литературном немецком языке, так и в ряде диалектов. В последних он уже в значительной степени изживается. Для такого типа характерно сохранение четырех- или трехпадежной системы склонения имени существительного.

В диалектах сохраняются при этом: а) остатки флективного генитива мужского и среднего рода сильного склонения (с флексией *-s*) в функции притяжательного падежа в сочетании с дополняющей его предложной конструкцией с *von* (в южноалеманских и частично нижненемецких диалектах); б) остатки окончаний косвенных падежей в единственном числе слабого склонения мужского и среднего рода в сочетании с дублирующей их флексией артикля (в ряде нижненемецких диалектов и частично в швабском, эльзасском, баварско-австрийском и восточно-средненемецких говорах); в) флексия датива единственного числа мужского и среднего рода или ее отражение в гласных и согласных корня или в акцентуации, а также флексия датива множественного числа всех родов в сочетании с флексией артикля, имеющей тенденцию к стиранию в ряде диалектов (частично нижненемецкие диалекты, восточно-средненемецкие, мозель-

[1] См. K. N. B o c k, указ. соч., стр. 81, 179.
[2] См. E. A b e g g, указ. соч., стр. 89.

ский, нижнегессенский, ряд швейцарских, эльзасских и баварско-австрийских диалектов). В литературном языке этот тип сохранился полностью лишь в дативе множественного числа (при наличии четких падежных признаков в артикле).

2. Сохранение только аналитического способа оформления падежей (т. е. выражение их только дифференцированным окончанием артикля при полной редукции падежной флексии существительного). Этот тип оформляется в процессе ликвидации дублирующих средств падежной дифференциации (в частности, флексии) и закрепления лишь одного падежного признака (аналитического). Данному типу свойственна трех- или двухпадежная система склонения.

Для этого типа характерно: а) полное отмирание остатков генитива и замена его посессивной конструкцией с притяжательным местоимением и предложной конструкцией с *von* (в большинстве как нижненемецких, так и верхненемецких диалектов); б) формальное различение трех падежей: номинатива, датива и аккузатива единственного числа в артикле мужского рода (как, например, в швабском диалекте) или двух падежей при совпадении номинатива и аккузатива (в большинстве алеманских, эльзасских и частично франкских диалектов, характеризующихся «рейнским аккузативом») или при совпадении датива с аккузативом (в ряде нижненемецких диалектов); в) формальное различение датива единственного числа в артикле женского и среднего рода и частично датива множественного числа при совпадении номинатива и аккузатива (в верхненемецких диалектах).

3. Полная ликвидация формального обозначения падежа даже в артикле, связанная с его отмиранием как грамматической категории. Этот тип присущ лишь ряду нижненемецких диалектов, унифицирующих не только формы датива и аккузатива, но и стирающих различие между номинативом и аккузативом (ср., например, шлезвигский диалект, обнаруживающий полную унификацию флексий артикля не только в мужском, но также в женском и среднем роде). Артикль сохраняет здесь, и то частично, лишь функцию показателя грамматического рода. Такую же картину обнаруживает большинство голландских диалектов, полностью утративших категорию падежа в связи с несклоняемостью как артикля, так и самого существительного и стирающих даже различия между мужским и женским родом.

Дальнейшим этапом развития является характерное для английского и бурского языков полное элиминирование родовой дифференциации, наступающее в связи с ликвидацией категории среднего рода. Артикль застывает здесь в унифицированной, общей для всех родов форме (ср. бурск. *die vader*, *die moeder*, *die boek*). Для выражения синтаксических функций имени существительного используются при этом лишь описательные обороты, предложные конструкции и фиксированный порядок слов в предложении. Вряд ли подлежит сомнению, что фактор диалектного взаимодействия и языкового смешения, характерный для представляющих этот тип немецких и голландских диалектов, а также бурского языка, при общности внутренних законов их развития сыграл стимулирующую и катализирующую роль в процессе распада флексии и способствовал упрощению всей их морфологической системы.

Однако этот же структурный тип характерен и для значительно большего числа немецких диалектов в сфере предложных конструкций (главным образом с чисто пространственным значением), где предлог становится единственным средством выражения синтаксических от-

ношений и где функция падежа в значительной мере ослабляется или даже утрачивается, на что указывает вышеупомянутое стирание падежных окончаний артикля, его редукция и даже слияние его с предлогом. Этот тип сосуществует подчас с наличием более или менее четкой падежной дифференциации в беспредложных конструкциях (ср. швабск. *denə läit* «den Leuten», но: *mit də läit* «mit den Leuten»; шлезв. *de man* «den Mann», но: *ane wōch* «auf dem Wagen» и т. п.). В шлезвигском диалекте образуется, следовательно, с одной стороны, унифицированная застывшая форма артикля, господствующая в беспредложных словосочетаниях или в предложных конструкциях с личным объектом, с другой—рудимент артикля, слитый с предлогом в предложных конструкциях локального характера. Здесь, даже при полной ликвидации категории падежа в диалекте, образуются две дифференцированные формы: беспредложная и предложная, что подтверждает наше положение о более раннем и последовательном стирании падежных признаков в предложных конструкциях и об особых путях развития артикля в сочетании с предлогами.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что выделение этих трех типов, отражающих последовательные ступени в развитии системы склонения различных немецких диалектов, раскрывает лишь общую картину происходящих в ней морфолого-синтаксических процессов. В связи с неравномерностью развития тех или иных сторон морфологической системы они могут сосуществовать и взаимно переплетаться в том или ином диалекте, создавая ряд переходных форм.

Итак, при наличии ряда общих закономерностей и тенденций развития системы склонения немецких диалектов, конкретная реализация этих закономерностей осуществляется специфическими путями, обусловленными особенностями их фонетико-морфологической структуры.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1957

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. И. АБАЕВ

О ПОДАЧЕ ОМОНИМОВ В СЛОВАРЕ

Советская лексикография имеет крупнейшие достижения в теории и практике. Словарная работа получила у нас такой размах и проводится на таком высоком уровне, как никогда. Наши выдающиеся лексикографы Л. В. Щерба, Д. Н. Ушаков и другие обосновали и практически показали, что серьезная лексикографическая работа несовместима с дилетантизмом и кустарщиной, что она должна с начала до конца строиться на строго научных основаниях.

Высокой оценки заслуживает деятельность Гос. изд-ва иностранных и национальных словарей. Это издательство стало не только крупнейшей в мире фабрикой словарей, но и творческой лабораторией, где ведется повседневная и неутомимая научная работа по совершенствованию, оттачиванию, шлифовке методов и принципов лексикографической работы. Огромна и, быть может, не получила еще достойной оценки работа Словарного издательства по составлению словарей национальных языков Советского Союза, из которых многие не имели до этого никакой или почти никакой лексикографической традиции и где, стало быть, приходилось строить и создавать буквально на пустом месте.

Разумеется, как во всяком большом деле, в нашей словарной работе не обходится без трудностей, ошибок и недочетов. Если в целом советская лексикография находится в состоянии неуклонного поступательного движения, где каждый новый этап знаменует определенный прогресс по сравнению с предшествующим, то это не значит, что абсолютно все новое, что мы находим в последних словарях и что отличает их от словарей более ранних, заслуживает безоговорочно положительной оценки.

К числу таких наводящих на размышления новшеств относится наметившееся в последнее время необычное понимание о м о н и м и и и вытекающая из такого понимания подача омонимов в словаре.

Каждый, кто следил за нашей новейшей лексикографией, мог заметить странное явление: в одних и тех же словарях от одного издания к другому количество омонимов катастрофически растет. Если так пойдет дальше, то через десяток лет наши словари будут сплошь состоять из одних омонимов.

Мы заинтересовались: откуда берутся в таком количестве новые омонимы? К счастью, дело оказалось не хитрое. Размножение омонимов идет в основном за счет полисемии; некоторые случаи полисемии, ничто же сумняшеся, объявляются омонимией. Почему? На каком основании? Кто и где доказал, что омонимия и полисемия—это одно и то же? Неизвестно.

Происшедшую во взглядах на омонимы эволюцию (если хотите, «революцию») легко заметить, если сравнить, например, «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (1935—1940 гг.) со «Словарем русского языка», составленным С. И. Ожеговым, а также первое издание «Словаря русского языка», составленного С. И. Ожеговым (1949 г.), с последующими изданиями того же словаря. От издания к изданию коли-

чество «омонимов» возрастает, в последних изданиях появилось множество «омонимов», которых не было в первом издании словаря. В издании 1953 года[1] как р а з н ы е слова даны, например: *белок* яйца и *белок* как органическое вещество; *вольный* «свободный» и *вольный* «имеющий возможность свободно делать что-н.»; *долг* «обязанность» и *долг* «взятое взаймы»; *лад* в быту и *лад* в музыке; *лист* дерева и *лист* бумаги; *лопатка* «орудие» и *лопатка* «кость»; *операция* хирургическая и *операция* военная; *оригинальный* «незаимствованный» и *оригинальный* «своеобразный»; *отрасль* как ветвь растения и *отрасль* как ветвь науки; *перо* птичье и *перо* металлическое; *печать* типографская и *печать* на документе; *плитка* «кухонная печь» и *плитка* электрическая; *политический* вообще и *политический* в составе термина «политическая экономия»; *пояс* «ремень» и *пояс* географический; *реализм* в литературе и *реализм* в жизни; *славный* «пользующийся славой» и *славный* «очень хороший»; *сосуд* «вместилище для жидкости» и *сосуд* кровеносный; *стрелка* на часах и *стрелка* железнодорожная; *удар* обычный и *удар* аноплексический; *фаза* «период в историческом развитии» и *фаза* «стадия в ходе развития чего-н.»; *чугун* «металл» и *чугун* «сосуд из этого металла»; *язык* как орган речи и *язык* как речь.

Вместо одной *молнии* появилось целых три (1. атмосферная, 2. телеграмма, 3. застежка), равно три *театра*, три *строя* и пр.

Разными глаголами признаны: *грести* граблями и *грести* веслом; *запрудить* (о воде) и *запрудить* (о толпе); *лить* (о воде) и *лить* (о металле); *отвлечь* «отклонить» и *отвлечь* «абстрагировать»; *палить* «жечь» и *палить* «стрелять»; *прожигать* «давать гореть» и *прожигать* жизнь; *разложить* по разным местам и *разложить* на части; *стать* «сделаться» и *стать* как вспомогательный глагол в значении «сделаться»; *считать* (о счете) и *считать* «полагать»; *тискать* «давить» и *тискать* «печатать»; *топить* печь и *топить* молоко и многие другие. Вместо одного появилось три глагола *перестроить*, три глагола *пристроить*, три глагола *трогать*, четыре глагола *травить* и т. п. Все эти подозрительные «омонимы» даются на тех же основаниях и под теми же знаками, как общеизвестные «классические» омонимы: *лук* (растение) и *лук* (оружие), *брак* (супружество) и *брак* (плохая продукция), *бор* (лес) и *бор* (сверло), *тур* (вальса) и *тур* (горный козел), *клуб* (дыма) и *клуб* (рабочий клуб), *коса* (орудие) и *коса* (женская) и т. п. Составитель поясняет, что все эти словарные новшества являются следствием «...более широкого, чем обычно в словарях, понимания омонимии»[2]. Что верно, то верно. Понимание широкое! Под омонимию широко подводятся явления, которые мы до сих пор называли п о л и с е м и е й.

Омонимное поветрие захватило не только русские словари. Перед нами 2-е издание «Англо-русского словаря», составленного В. Д. Аракиным, З. С. Выгодской, Н. Н. Ильиной. Словарь кишит «омонимами». Подавляющего большинства этих омонимов в первом издании не было. То, что в прежних словарях давалось как одно, максимум 2—3 слова, теперь превратилось в 5—9 слов: *up* I. ., *up* II. ., *up* III. ., *up* IV. ., *up* V. ., *down* I. ., *down* II. ., *down* III. ., *down* IV. ., *down* V. ., *down* VI. ., *down* VII. ., *drill* I. ., *drill* II. ., *drill* III. ., *drill* IV. ., *drill* V. ., *drill* VI. ., *drill* VII. . Можно себе представить, как будут ошарашены англичане, узнав, что у них не одно, а д е в я т ь слов *right!* В предисловии составители уверяют, что такая необычная картина соответствует «... научным положениям современной лексикологии...»[3].

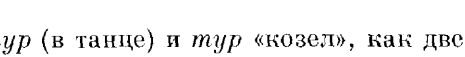
[1] См. «Словарь русского языка», сост. С. И. Ожегов, 3-е изд., М., 1953.

[2] Указ. словарь, стр. 3.

[3] См. «Англо-русский словарь», сост. В. Д. Аракин, З. С. Выгодская, Н. Н. Ильина, 2-е изд., М., 1954, стр. 3.

Что же привело наших лексикографов к такому «более широкому» пониманию омонимии? Что это за таинственные «научные положения современной лексикологии», под действием которых омонимы плодятся, как грибы после дождя? Может быть, в последние годы появились глубокие теоретические исследования, в которых доказано, что разные значения одного слова и одинаковое звучание разных слов — это одно и то же? Нет, таких исследований не видно. Да и трудно было бы доказать, что созвучие в названиях яичного *белка* и химического *белка*[1], птичьего *пера* и металлического *пера*, древесного *листа* и бумажного *листа* — явление такого же порядка, как созвучие в словах *тур* (в танце) и *тур* «козел».

Объективно в лексике существуют два в корне различных, ничего общего между собой не имеющих явления: омонимия и полисемия. Первая может быть изображена схематически двумя параллельными линиями, которые, как это и полагается параллельным линиям эвклидовой геометрии, никогда и нигде не сходятся; вторая же (полисемия) может быть изображена двумя линиями, вышедшими из одной точки:



Значения слов *тур* (в танце) и *тур* «козел», как две параллельные линии, никогда и нигде не сходились в одно понятие, тогда как *лист* древесный и *лист* бумажный вышли из одной точки, из одного понятия.

Между этими двумя явлениями (омонимии и полисемии) нет никаких мостов, никаких переходных видов. Смешение их было простительно тогда, когда историко-лексикологические и этимологические знания находились на такой младенческой ступени, что зачастую составители словарей просто не могли разобраться, где разные слова и где разные значения о д н о г о слова. Но не странно ли, что именно теперь, когда историческая лексикология поднялась на такой высокий уровень, составители наших словарей стали путать самые разнородные явления! Получается какой-то парадокс: чем точнее и совершеннее становятся наши знания по истории слов и, стало быть, чем лучше мы вооружены, чтобы разобраться в действительных и мнимых омонимах, тем больше произвола, путаницы и неразберихи в подаче омонимов в наших словарях. Никогда прежде не было таких благоприятных условий, чтобы разрешить вопрос об омонимах на подлинно научных основаниях. А между тем, судя по нашим словарям, никогда этот вопрос не был так запутан, как сейчас.

Когда кто-либо ошибочно, по созвучию, сближает этимологически два слова, которые в действительности генетически не связаны, мы говорим: здесь нет этимологической связи, это простая омонимия. Иначе говоря, созвучие по омонимии, как созвучие с л у ч а й н о е, мыслится как нечто противоположное созвучию, основанному на е д и н с т в е п р о и с х о ж д е н и я. Такое понимание омонимии совершенно правильно, так как только при этом понимании проводится четкая демаркационная линия между омонимией (одинаковое звучание разных слов) и полисемией (разные значения одного слова).

В старой лексикографии также можно найти примеры, когда сильно разошедшиеся значения одного слова подаются как омонимы. Но обычно это имеет место в тех случаях, когда начало дифференциации значений находится за пределами засвидетельствованной истории данного языка, когда на протяжении всей истории языка разошедшиеся значения мы-

[1] Примеры здесь и ниже берутся из указ. 3-го изд. «Словаря русского языка», сост. С. И. Ожеговым.

слились уже как разные слова. Автор одной из недавних работ об омонимии Э. Ёман считает правомерным отнесение к омонимам некоторых случаев расхождения значений первоначально о д н о г о слова. Но тут же добавляет: «...Durch Bedeutungsdifferenzierung entstandenen Homonyme gleichen Ursprungs werden nicht von allen als Homonyme anerkannt.». «Омонимы, возникшие в результате дифференциации значений, не всеми признаются за омонимы»[1]. Вопрос, однако, не в том, какие существуют или какие мыслимы взгляды на омонимию. Вопрос в том, какая трактовка проблемы омонимии о т в е ч а е т н а ш е м у л и н г в и с т и ч е с к о м у м и р о в о з з р е н и ю. В основе смешения омонимии с полисемией лежит представление о том, что всякое новое употребление слова есть новое слово и что, стало быть, — если довести эту концепцию до логического конца, — слово никогда не тождественно самому себе, оно неповторимо: нельзя дважды произнести одно и то же слово, как нельзя, по Гераклиту, войти дважды в одну и ту же реку. Языку, по этой концепции, свойственна сплошная, тотальная омонимичность, ибо всякая полисемия есть в то же время омонимия. История языка, преемственная связь значений внутри языкового коллектива полностью игнорируется.

Тот, кто стал на путь «расширения» омонимии за счет полисемии, никогда не может сказать, а главное — д о к а з а т ь, где нужно остановиться. Полисемия имеет столько видов, степеней, градаций, границы между ними так тонки и неуловимы, что произвол и субъективность становятся неизбежными. Насколько легко провести границу между омонимией (истинной) и полисемией, настолько трудно провести ее между разными степенями и аспектами полисемии. Поэтому пускаться в безбрежное море полисемии, чтобы вылавливать там сомнительные омонимы, это значит отказаться от какой бы то ни было устойчивой, стабильной, общеобязательной системы подачи омонимов в словаре.

Разумеется, разобраться в разных аспектах полисемии, разных степенях разрыва семантических связей — тоже дело важное и нужное. Но первое, что нужно сделать — это четко отграничить полисемию от омонимии, помня, что ни один случай полисемии не имеет ничего общего ни с одним случаем омонимии.

Что омонимия в новом «более широком» понимании становится царством произвола и путаницы, можно показать на ряде примеров. Возьмем случай с глаголом *палить*. Допустим, что мы примирились с тем, что *палить* «жечь» и *палить* «стрелять» — два разных слова, между которыми произошел «разрыв семантических связей». Но ведь аналогичные значения присущи и существительному *огонь*: 1) «пламя», 2) «стрельба» (с разным словообразованием: *огненный* и *огневой*)! Почему же здесь нет омонимов? По воле лексикографа два совершенно идентичных явления подаются то как омонимия, то как полисемия.

Кто докажет, что между *здоровый* в смысле «обладающий здоровьем» и *здоровый* в смысле «крепкий», «сильный» больше разрыв семантической связи, чем между *крепкий* (об орехе) и *крепкий* (о вине)? В пользу бóльшей «омонимичности» в последнем случае можно указать на то, что *здоровый* в обоих значениях может вступать в одинаковые словосочетания (*здоровый парень* и в смысле «обладающий здоровьем», и в смысле «сильный»), тогда как для *крепкий* это совершенно исключено.

Следовало бы вообще избегать слишком поспешных утверждений о «разрыве семантических связей». О человеке цветущего здоровья говорят: *здоров как бык*. Почему *как бык*? Ведь бык тоже может быть больным. И уж, конечно, здоровая муха здоровее больного быка. Если все

[1] E. Öhmann, Über Homonymie und Homonyme im Deutschen, «Annales Academiae scientiarum fennicae», Ser. B, t. XXXII, Helsinki, 1934, стр. 18.

же для сравнения берется бык, то только потому, что здесь в слове *здоровый* сочетаются, наплывают друг на друга оба значения: «не больной» и «сильный, мощный».

Вообще нет ничего обманчивее впечатления разорвавшихся семантических связей. Значения, которые на первый взгляд кажутся полностью обособившимися, могут в определенных случаях, в определенном контексте «вспомнить» о своем родстве и близости и неуловимо переходить одно в другое.

Худой «тощий» и *худой* «плохой» даются как разные слова, а *красный* во всех значениях—как одно. Но где больше чувствуется «разрыв семантических связей», в выражениях ли: *красное вино*, *Красная армия*, *красная девица*, *красная рыба* или в выражении *худая скотина*, где могут совмещаться оба значения: «истощенная», а потому «плохая»? Где объективные основания, в силу которых *вольный* разрывается на два слова, а *настоящий* «нынешний» и *настоящий* «подлинный» остаются одним словом?

Горячий, прямо из печки хлеб будет *свежим* хлебом. С другой стороны, мы говорим *свежий ветер*, *на дворе свежо* в смысле «холодно». В одном случае *свежесть* ассоциируется с «теплом», в другом — с «холодом». Это ли не полный «разрыв семантических связей»! А между тем здесь не признается омонимии.

Зато жертвой нового понимания омонимии стало слово *славный*. Оказывается, в русском языке не одно, а д в а слова этого звучания: одно означает «достойный славы», другое—«очень хороший, симпатичный». В связи с этим хотелось бы задать вопрос, какое из этих двух слов употреблено в известной песне *Славное море, священный Байкал*? По-видимому,— первое. Ведь речь идет о знаменитом, прославленном Байкальском озере. Переходим к смежным стихам: *Славный корабль — омулевая бочка...*; *Славный мой парус—кафтан дыроватый...* К бочке и дырявому кафтану меньше применим эпитет «достойный славы». Здесь, надо полагать, мы имеем дело уже с совершенно «другим» словом: *славный* «хороший», «симпатичный».

Но если в смежных стихах используются два разных слова одного звучания, то это называется к а л а м б у р о м. Почему же, однако, мы не чувствуем здесь никакого каламбура? Почему мы не чувствуем даже намека на какую-либо двусмысленность и нам не приходится ломать голову над тем, какое из двух «разных» слов употреблено в каждом случае? Это было бы невозможно, если бы между двумя значениями слова *славный* действительно разорвалась всякая связь, если бы они не «скользили» одно в другое. В действительности такая связь существует. Объединяющим оба значения является понятие «достойный хвалы», «хороший»[1].

Много недоумений вызывают новоявленные г л а г о л ь н ы е «омонимы» вроде упомянутых выше *грести*, *запрудить*, *лить*, *изменить*, *палить*, *прожигать*, *пристроить*, *перестроить* и др. Непонятно и тут, почему в одних случаях признается омонимия, а в других нет. Так, например, *изменить* в смысле «переменить» и *изменить* в смысле «нарушить верность» трактуются не как разошедшиеся значения одного слова, а как два разных слова. Правильно ли это? У Владимира Соловьева в одном стихотворении имеются такие строки:

Ты мне верность клялся сохранить.
Клятву ты позабыл, но изменой
Мог ли сердце мое изменить?

[1] На заседании редколлегии журнала «Вопросы языкознания» при обсуждении настоящей статьи возник спор, в каком значении употреблено слово *славный* в первом стихе (Славное море...). То, что такой спор возможен, лучше всяких рассуждений доказывает, что перед нами не два разных слова, а два близких значения одного слова.

«Изменить изменой...» Как будто игра слов. Но на чем она основана? На том ли, что между этими двумя словами полностью разорвалась семантическая связь, или, напротив, именно на том, что такая связь существует? В первом случае мы имели бы дело с каламбуром. Но тон всего стихотворения—мало сказать серьезный—торжественно-приподнятый—совершенно исключает даже мысль о каламбуре. Стало быть, поэт обыгрывает здесь б л и з о с т ь двух слов, а не их разрыв. *Измена* есть «изменение», изменение отношения.

Когда мы слушаем песенку герцога из оперы «Риголетто»—*Сердце красавицы склонно к измене и перемене*,—мы воспринимаем слова *измена* и *перемена* не как два семантически не связанных слова, а как исключительно близкие понятия, почти синонимы. И уж если говорить о разрыве семантических связей, то он гораздо больше чувствуется, например, между двумя значениями слова *поправиться*: 1) «исправить ошибку» и 2) «выздороветь». А между тем *поправиться* дано как одно слово, а не два.

Любопытно, что *верный* «правильный» и *верный* «преданный», где степень семантического «разрыва» примерно такая же, как у двух значений глагола *изменить*, трактуются не как два, а как одно слово.

С удивлением узнаем мы далее, что существуют два разных глагола *пестреть*, причем в выражении *пестрели цветы* мы имеем дело с *пестреть*[1], а в выражении *пестрели флаги* с *пестреть*[2]. В то же время *идти* «двигаться» и *идти* «быть к лицу» даются как одно слово.

Непонятно, почему при «широком» понимании омонимии не оказались разными словами *поднять* якорь и *поднять* восстание, *провести* дорогу и *провести* «обмануть», *служить* в армии и *служить* «стоять на задних лапах» и т. п.

В выражениях *перестроить план*, *перестроить ряды* и *перестроить рояль* мы имеем будто бы дело с тремя разными словами, а в выражениях *снять скатерть*, *снять фотографию* и *снять комнату*—с одним и тем же словом.

В выражениях *подвести фундамент*, *подвести товарища* и *подвести глаза* не признается омонимии. А вот в выражениях *вывести формулу* и *вывести узор* будто бы налицо два разных слова.

На некоторых типичных случаях можно показать беспомощность, непоследовательность и произвол, которые составляют отличительное свойство «нового» понимания омонимии.

Случай первый: с л о в о, п о м и м о о б и х о д н о г о з н а ч е н и я, и м е е т е щ е с п е ц и а л ь н о е, т е р м и н о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е в к а к о й - л и б о о б л а с т и н а у к и и л и п р а к т и к и. Как и следовало ожидать, специальное значение то выделяется в омоним, то нет, на основании каких то не поддающихся учету мотивов.

Считаются омонимами: *пестик* «маленький пест» и *пестик* «часть цветка»; *зонтик* «зонт» и *зонтик* «соцветие»; *клетка* в обиходном значении и *клетка* в биологии; *червяк* «червь» и *червяк* «винт с особой нарезкой», *челнок* «маленький челн» и *челнок* в ткацком станке и швейной машине.

Не считаются омонимами: *корень* растения, *корень* в математике и *корень* в лингвистике; *ручка* «маленькая рука» и *ручка* «письменная принадлежность»; *крошка* «малютка» и *крошка* «сыпучее вещество»; *ячейка* «углубление» и *ячейка* партийная.

Существует, оказывается, два слова *вид*, три слова *род*, но только одно слово *семейство*. При этом *род* как подразделение в систематике и *род* как грамматическая категория—это будто бы р а з н ы е слова, а *вид* как подразделение в систематике и *вид* как грамматическая категория—одно слово. Слово *вид* в обиходном значении и *вид* как подразделение в систематике рассматриваются как д в а слова, а *семейство* в обиходном

значении и *семейство* как подразделение в систематике считаются одним словом.

Кислый в обычном значении и *кислый* в химии оказываются омонимами, а *жесткий* «твердый» и *жесткий* «насыщенный известковыми солями» омонимами не считаются.

Цепь обычная и *цепь* в химии считаются одним словом, а *проводник* «провожатый» и *проводник* в физике—двумя разными словами.

Выделены в омонимы *бык* «устой моста», *кобыла* «гимнастический снаряд», хотя их связь с исходными словами *бык* и *кобыла* очевидна для каждого[1].

Случай второй: субстантивация прилагательных и причастий. Субстантивированные *рабочий*, *русский* подаются как омонимы, тогда как в отношении субстантивированных *ученый*, *рядовой*, *больной*, *раненый*, *ближний* этого не делается.

Случай третий: имя, будучи оформлено суффиксом отвлеченных слов, имеет, наряду с отвлеченным, также предметное значение.

Крепость как отвлеченное от *крепкий* и *крепость* «укрепленное место» даются как разные слова. Но *сладость* как отвлеченное от *сладкий* и *сладость* «лакомство» даются как одно слово, хотя в последнем случае преимущественное употребление во множественном числе (*сладости*) говорит о большем «разрыве связей».

Не считаются омонимами также *высота* отвлеченное от *высокий* и *высота* «гора», *низость* отвлеченное от *низкий* и *низость* «бесчестный поступок», *подлость* отвлеченное от *подлый* и *подлость* «подлый поступок» и др. Таким образом, и здесь не видно какого-либо единого принципа выделения омонимов.

Случай четвертый: слово имеет, помимо основного, переносно-образное значение. Перед нами та же непоследовательность. Попробуйте разобраться, почему *жила* «скупой, прижимистый человек» выделено в омоним, а *шкура* «продажный человек», «вымогатель и шкурник»—нет. *Фрукт* «неприятный человек», *шишка* «важный человек» оказываются омонимами, а *шляпа* «растяпа» дается в одном гнезде с основным значением «головной убор». *Шпилька* «язвительное замечание» выделяется как особое слово, хотя глагол *язвить* и в прямом, и в переносном значении рассматривается как одно слово.

Случай пятый: слово, помимо обычного, имеет жаргонно-экспрессивное употребление. Сюда относится, например, своеобразное экспрессивное употребление таких глаголов, как *дуть*, *жарить*, *катать*, *садить*, *чесать* и др. в смысле интенсивного действия: *дует на балалайке*, *жарит на гармонии*, *катай*! «делай что-либо во всю», *так и садит по дороге* «быстро бежит», *так и чешут из пулеметов* и т. п.

Во всех случаях экспрессивное значение представляется весьма сильно отошедшим от прямого. Вместе с тем несомненно, что глубокий анализ семантической истории этих глаголов и их употребления может вскрыть утраченную теперь, казалось бы, связь экспрессивного значения с основным и восстановить промежуточные семантические представления. Бесспорно одно: все приведенные случаи—явления одного порядка, и мы вправе ожидать, что они подаются в Словаре одинаково. Ничуть не бы-

[1] Мы имеем здесь распространенное явление, когда предметы материальной культуры получают название животных. Так, персидское *xar* «осел» означает также «подставка», «кобылка» (у скрипки), осетинское *хæрæг* «осел» —«потолочная балка», немецкое *Bock* «козел»—«козлы», «подмостки», «бык моста», «ледорез», «таран», «кобылка» «кронштейн» и многое другое.

вало. Экспрессивные значения глаголов *жарить*, *катать* и *садить* выделяются в омонимы, тогда как в отношении глаголов *дуть* и *чесать* этого не делается. Почему—неизвестно.

Такая непоследовательность замечается и в других случаях. *Свистнуть* «украсть», *подмазать* «дать взятку», *отколоть* «сказать или сделать что-нибудь неуместное или неожиданное» выделены в омонимы. Но *выкинуть* «проделать», *провести* «обмануть», *загнать* «продать», *загнуть* «сказать» (*загнуть словечко*) омонимами не считаются.

Можно было бы привести еще десятки примеров произвола и непоследовательности в трактовке омонимов. Но и приведенного материала достаточно, чтобы убедиться, что так называемое «более широкое» понимание омонимии ни в одном случае не способно свести концы с концами. Особенность этого понимания состоит в том, что оно полностью запутывает ясные взаимоотношения между омонимией и полисемией и превращает проблему омонимии в зыбучий песок, на котором нигде нельзя ступить твердой ногой. То, что еще сегодня не считалось омонимами, завтра может стать омонимами, и обратно. Лексикограф, в его отношении к омонимам, уподобляется вышеупомянутой красавице, сердце которой склонно к измене и перемене, как ветер мая.

С сожалением приходится отметить, что подготовляемый в настоящее время четырехтомный академический словарь русского языка, судя по вышедшей «Инструкции»[1], намерен увековечить эту неразбериху. В этой «Инструкции» в главе, посвященной омонимам (стр. 23—29), поразительным образом смешиваются и подводятся под одну рубрику самые разнородные вещи. Если верить «Инструкции», то созвучие слов *рабочий* (прилагательное) и *рабочий* (существительное)—явление такого же порядка, как созвучие *мол* (существительное) и *мол* (вводное слово) (стр. 24). Только в кривом зеркале так называемого «синхронного» подхода может так неузнаваемо искажаться объективное положение вещей. Слово *славный* и по этой инструкции превращается в два разных слова, причем эта мнимая омонимия считается идентичной с такими действительными омонимами, как *примерный* «отличный» и *примерный* «приблизительный», *наушник* «часть теплой шапки» и *наушник* «тот, кто наушничает».

«Новое» понимание омонимии привело фактически к полной дезориентировке при решении вопросов омонимии в лексикографической практике. Обычными стали диалоги такого, примерно, порядка:

Составитель словаря: «Мне к а ж е т с я, что здесь мы имеем омонимию».

Редактор: «А мне к а ж е т с я, что здесь нет омонимии».

Составитель: «Мне к а ж е т с я, что тут произошел разрыв семантических связей».

Редактор: «А мне к а ж е т с я, что тут еще нет полного разрыва семантических связей» и т. д.

Никаких других аргументов, кроме «кажется», ни та, ни другая сторона, разумеется, привести не может, так как таких аргументов и не существует. «Более широкое» понимание омонимии — это царство субъективности. Каждый лексикограф смело полагается на свою «интуицию». Если учесть, что практика русской лексикографии служит образцом, которому следуют лексикографы всех языков Советского Союза, то можно представить, какую сумятицу посеет в их головах «широкое» и все расширяющееся из года в год понимание омонимии.

С таким положением нельзя больше мириться. Нельзя мириться с тем, чтобы в словарях нам преподносили вместо объективных фактов язы-

[1] «Инструкция для составления „Словаря современного русского литературного языка (в трех томах)", [Ин-т языкознания АН СССР, Л.], 1953.

новой действительности субъективные соображения того или иного лексикографа о «разрыве семантических связей». Нельзя мириться с тем, чтобы омонимия в наших словарях стала той областью, где всяк молодец орудует на свой образец.

Чтобы этого не было, надо проблему омонимии поставить на твердую научную основу. Такой основой может быть только историческая лексикология. Схоластические рассуждения о «тождестве слова», о «границах слова» и пр. никогда не приведут ни к каким прочным результата и, стало быть, никогда не смогут стать теоретической основой для решения вопроса об омонимах. Еще меньше могут помочь делу субъективные впечатления о «разрыве семантических связей». Единственной надежной основой для теории омонимов была и остается история слов. Отрыв проблемы омонимии от исторической лексикологии неизбежно приводит к той путанице, свидетелями которой мы являемся.

На совещании по вопросам описательной грамматики, лексикографии и диалектологии, состоявшемся в Институте языкознания АН СССР весной 1953 г., справедливо ставился вопрос об элементах историзма в описательной грамматике. Можно и нужно говорить об элементах историзма в лексикографии. Если успехи исторической грамматики не могут не отражаться на разработке грамматики статической, то и успехи исторической лексикологии не могут не отразиться на построении «статических» словарей.

На словах никто не оспаривает, что историзм составляет основу основ советского языкознания. Но на деле всякая попытка внести историческую точку зрения в описательную грамматику или словарь встречает оппозицию со стороны некоторых наших языковедов. Стоя на страже чистоты «жанра», они считают, что историзму место только в исторической грамматике и историческом словаре. Описательная же грамматика и словарь — это совсем другой жанр, где элементы историзма совершенно неуместны.

По этому поводу нужно заметить, что применять историзм только к истории явлений — в этом нет никакой заслуги, как нет заслуги в том, чтобы солить соль. Историзм становится заслугой и преимуществом именно тогда, когда он применяется к статике явлений, точно так же, как о достоинствах соли мы узнаем лишь тогда, когда она примешивается к пресному. Если наш историзм не вооружает нас для того, чтобы по-новому и лучше подойти к описанию и систематизации статических фактов, то грош цена такому историзму.

Марксистский историзм тем и замечателен, что давая единственно правильное объяснение динамике общественного развития, он вместе с тем дает нам непогрешимое оружие для того, чтобы разобраться и правильно описать любое общество на любой статической ступени его развития. Думать, что историзм имеет отношение только к историческим исследованиям — это верх наивности. Историзм в истории — это простая тавтология. Историзм означает не познание истории, а познание статики через историю. Историзм есть метод именно описания фактов, метод, наиболее совершенный, наиболее познавательно ценный.

Почему так называемое «широкое» понимание омонимии является антиисторичным, а стало быть ненаучным? Потому, что оно смешивает в корне разнородные с исторической точки зрения явления: с одной стороны, случайное созвучие разных по происхождению слов, с другой — созвучие, основанное на генетической связи. Первое есть омонимия, второе — полисемия. Различать эти два явления при нынешнем уровне исторической лексикологии обычно не составляет труда. И если то и другое подводится под одно «широкое» понимание омонимии, то это не

невольный антиисторизм, не антиисторизм по неведению. Лексикограф как бы заявляет: «Я отлично знаю, что разные случаи моих „омонимов" представляют в историческом аспекте совсем разные вещи. Для меня достаточно, что в современном языке и те, и другие представляются мне разными словами».

Каждый неискушенный человек, пользующийся словарями, скажет, не задумываясь, что словарь, который наглядно показывает характерные для данного языка, исторически обусловленные связи между значениями, лучше словаря, который маскирует эти связи, растворяя их в общей массе омонимов. Выхолащивая из описательной грамматики и словаря всякий намек на историю, мы тем самым снижаем познавательную ценность, которую грамматика и лексика имеют как продукт общественного мышления и истории.

Полисемия—интереснейшее явление в плане проблемы языка и мышления. За полисемией всегда скрываются усилия человеческой мысли в поисках новых и новых средств познания, выражения, экспрессии. За омонимией же ничего не скрывается, кроме игры случая. Поэтому познавательный интерес полисемии огромен. Познавательный же интерес омонимии—ничтожен. Но наша новейшая лексикография вместо того, чтобы возможно рельефнее показать в словаре это различие, маскирует его, выделяя одинаковыми знаками и созвучные слова разного происхождения, и разошедшиеся значения одного слова.

У некоторых лексикологов вошло в обычай сетовать и сокрушаться по поводу крайней будто бы «сложности» проблемы омонимии[1].

Однако проблема омонимии совсем не так сложна, как нас хотят уверить. Больше того—она чрезвычайно проста, если только ее поставить на прочную основу исторической лексикологии. В историческом плане легко и точно различаются два явления: 1) созвучие разных слов, которые никогда, ни в какую историческую эпоху данного языка не были одним словом и развитие которых можно изобразить параллельными, нигде не сходящимися линиями; это и есть действительная омонимия; 2) созвучие слов, значения которых могут нам казаться сейчас более или менее сильно расходящимися, но которые (значения) явились результатом закономерного семантического развития одного слова — развития, которое можно изобразить линиями, сходящимися в одной точке; это—омонимия мнимая, которая в действительности является полисемией. Между омонимией и полисемией нет ничего общего, никаких точек соприкосновения. Полисемия никогда не может стать омонимией и обратно.

Стало быть, первая и важнейшая задача лексикографа при выделении омонимов провести четкую границу между омонимией и полисемией. Он должен не только сам разобраться в этом, но и в словаре представить дело так, чтобы каждый, пользующийся словарем, мог легко и наглядно видеть, где омонимия и где полисемия, т. е. где разные слова одного звучания и где более или менее далеко разошедшиеся значения одного слова.

Пишущий эти строки сам много занимался лексикологической и лексикографической работой и может сказать с полной ответственностью: искусственно созданный миф о «сложности» проблемы омонимии не имеет ничего об-

[1] См., например: «Большие затруднения вызывает вопрос об омонимах, почти не разработанный в теории русской лексикографии» (указ. инструкция, стр. 9); «Один из серьезных и сложных вопросов словарной практики это вопрос об омонимах» (С. И. Ожегов, О трех типах толковых словарей современного русского языка, ВЯ, 1952, № 2, стр. 100). А. И. Смирницкий пишет, что проблема взаимоотношения полисемии и омонимии «... является более сложной и теоретически трудной, чем это иногда представляется...» (А. И. Смирницкий, К вопросу о слове. (*Проблема «тождества слова»*), «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», т. IV, М., 1954, стр. 38—39).

него с действительностью. Если в отдельных случаях мы затрудняемся решить с каким из двух явлений мы имеем дело, с полисемией или омонимией, то это происходит не от сложности проблемы омонимии, а от недостаточности наших знаний по истории данных слов. Задача, стало быть, не в том, чтобы вести бесплодные споры вокруг вопросов «что такое слово», «где границы слова», «что такое омонимия» и пр., а в том, чтобы углублять и совершенствовать наши знания по истории слов.

*

Среди подлинных омонимов имеются две четко различающиеся группы: 1) омонимы корневые, 2) омонимы словообразовательные.

Корневыми омонимами мы называем слова, которые исторически не имеют между собой никакой связи. Их созвучие есть игра случая. Таковы омонимы: *бор* «лес» и *бор* «машина», *брак* в производстве и *брак* «супружество», *град* «город» и *град* «осадки», *клуб* дыма и *клуб* «организация», *ласка* «животное» и *ласка* «проявление нежности», *лук* «растение» и *лук* «оружие», *мина* «снаряд» и *мина* «выражение», *скат* «рыба» и *скат* «склон», *ток* для молотьбы и *ток* электрический, *шайка* «сосуд» и *шайка* «группа», *шашка* игральная и *шашка* «оружие» и др. Сюда относятся и глагольные омонимы: *жать* (жну) и *жать* (жму), *слепить* от *лепить* и *слепить* «ослеплять», *спеть* от *петь* и *спеть* «созревать», *топить* печь и *топить* в воде, *творить* «создавать» и *творить* «размешивать с водой» и др.

Словообразовательными омонимами являются слова, которые этимологически между собой связаны и образованы из одних и тех же элементов, но возникли и жили независимо одно из другого. Стало быть, их развитие, несмотря на этимологическую связь, шло по схеме п а р а л л е л ь н ы х л и н и й, не вышедших из одной точки, что и является обязательным признаком настоящей омонимии. Примерами словообразовательных омонимов могут быть: *бумажник* «портфельчик» и *бумажник* «работник бумажной промышленности», *лезгинка* женск. род к *лезгин* и *лезгинка* «танец», *романист* «пишущий романы» и *романист* «специалист по романской филологии», *наряд* «одежда» и *наряд* «документ», *налет* «тонкий слой» и *налет* «нападение», *повод* лошади и *повод* «предлог», *прокат* в металлургии и *прокат* «временное пользование», *раствор* «жидкая смесь» и *раствор* двери и т. п.

Глагольными омонимами этого типа являются, например: *выжить* «остаться в живых» и *выжить* «заставить уйти из жилья», *выносить* «нести наружу» и *выносить* «терпеть», *замолчать* «умолкнуть» и *замолчать* «обойти молчанием», *запустить* камнем и т. п. и *запустить* «не заботиться», *найти* («нашла коса на камень») и *найти* «отыскать», *нестись* «быстро двигаться» и *нестись* о курице, *грубить* «говорить грубости» и *грубить* «делать грубым», *перевести* с одного места на другое и *перевести* «истребить», *походить* (от *ходить*) и *походить* «быть похожим», *стянуть* «туго связать» и *стянуть* «украсть», *хватать* «брать» и *хватать* «быть достаточным» и др.

К этому (словообразовательному) типу относятся также лексико-грамматические омонимы, принадлежащие к разным частям речи: *печь* (глагол) и *печь* (существительное), *течь* (глагол) и *течь* (существительное), *мочь* (глагол) и *мочь* (существительное), *напасть* (глагол) и *напасть* (существительное), *стать* (глагол) и *стать* (существительное) и др.

Установление словообразовательных омонимов представляется делом более деликатным и тонким, чем установление омонимов корневых. Оно требует нередко весьма тщательных историко-лексикологических изы-

сканий.[1] Речь идет о том, чтобы установить твердо, что данные два образования, хотя они имеют общую этимологическую основу и общие словообразовательные элементы, возникли независимо одно от другого (очень часто в разных местах, в разное время и в разной среде) и никогда и нигде в истории данного языка не ставились во взаимную смысловую связь. Только убедившись в этом, мы можем говорить, что перед нами действительно омонимия, а не завуалированный случай полисемии. Было бы, например, поспешно объявить омонимами *поддеть* «поднять, зацепив концом чего-либо» и *поддеть* острым словом, так как второе значение могло развиться из первого.

Если перед нами расщепление значений когда-то е д и н о й лексемы в рамках документированной истории данного языка, то, как бы далеко ни разошлись значения и как бы велик ни казался «разрыв семантических связей», мы можем говорить только о полисемии, но никак не об омонимии. Омонимия возникает не тогда, когда возникает впечатление «разрыва семантических связей», а лишь в том случае, если этих связей никогда в истории данного языка не существовало. Нельзя хоть один случай или вид полисемии объявить омонимией без того, чтобы не создались предпосылки для путаницы и произвола в выделении омонимов. К чему это приводит на практике, мы видели на предыдущих страницах.

Известно, что наши старые словари, не свободные от многих недочетов, в отношении омонимов давали в общем правильную картину, поскольку они, сознательно или стихийно, проводили принцип размежевания омонимии и полисемии[2]. Этот принцип полностью себя оправдал и нисколько не устарел. Напротив, благодаря успехам исторической лексикологии мы можем его проводить теперь более строго и последовательно, чем раньше. Но тут является соблазн взять десяток или сотню случаев полисемии, объявить их омонимией и эту несложную операцию преподнести как «новаторство» в лексикологии. К этому собственно и сводится весь «переворот», совершенный сторонниками «широкого» понимания омонимии. Предлагая вернуться к традиционной трактовке омонимов, мы рискуем попасть в консерваторы. Но это нас нисколько не смущает. Мы убеждены, что лженоваторство хуже и вреднее всякого консерватизма.

Нам представляется, что нельзя относить к омонимии не только лексическую, но и лексико-синтаксическую полисемию, когда слово, в зависимости от синтаксического употребления, выступает в роли то одной, то другой части речи: существительного или прилагательного, прилагательного или наречия, наречия или предлога (послелога) и т. п. Между тем в нашей новейшей лексикографии выявилась тенденция рассматривать и эти случаи как омонимы. В «Словаре русского языка», составленном С. И. Ожеговым, здесь, как и в других случаях, нет полной последовательности[3]. Составители вышеупомянутого «Англо-русского словаря» пытались быть более последовательными. Для них *inside* «внутренняя сторона», *inside* «внутренний», *inside* «внутри» (наречие) и *inside* «внутри» (предлог) —

---

[1] «Для каждого образования вопрос, который возникает по поводу того, имеем ли мы дело с разветвлением значений или с различными новообразованиями от того же корня, — приходится решать отдельно» (Л. А. Б у л а х о в с к и й, Введение в языкознание, ч. II, М., 1953, стр. 56).

[2] Допускались, конечно, ошибки, когда к полисемии относились некоторые случаи фактической омонимии (главным образом, с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й омонимии). Но это были именно о ш и б к и, а не смешение омонимии с полисемией.

[3] Ср., с одной стороны, употребление слов *рабочий, русский* то в качестве существительного, то в качестве прилагательного—в этих случаях и *рабочий*, и *русский* считаются омонимами; с другой — такое же двоякое употребление слов *ученый, больной* и др., где омонимия не признается.

это не разные употребления о д н о г о слова, а четыре р а з н ы х с л о в а, омонимы[1].

Известно, что в таких языках, как тюркские, монгольские, угро-финские, многие кавказские, а также некоторые индоевропейские, наблюдается постоянное скольжение слов от одной части речи к другой без каких-либо изменений в форме: от существительного к прилагательному, от прилагательного к наречию, от наречия к предлогу или послелогу. Можно себе представить, как будут выглядеть словари этих языков, когда и до них дойдут веяния «современной лексикологии». Это будут непрерывные каскады мнимых «омонимов», среди которых с трудом можно будет распознать и выделить омонимы истинные.

В указанном английском словаре «новое понимание» омонимии создает довольно причудливую картину. Странно читать, что разными словами являются *clear* «ясный» и *clear* «ясно», *slow* «медленный» и *slow* «медленно», *sluggard* «лентяй» и *sluggard* «ленивый», что отношение между ними такое же омонимическое, как, скажем, между *mould* «форма» и *mould* «плесень» или *lap* «подол» и *lap* «жидкая пища»; *down* «вниз» и *down* «вниз по» признаются разными словами на тех же основаниях, что *down* «вниз» и *down* «пух». Свежего человека просто ошарашивает открытие, что общеизвестное *third* представляет в действительности три слова: *third* I (числительное) «третий», *third* II (существительное) «треть», *third* III (прилагательное) «третий». Истинным откровением было для нас, когда мы узнали, что в английском не одно, а два слова *darling*: *darling* I «любимец», *darling* II «любимый»[2], что семантический разрыв между этими словами больше, чем, скажем, между *zip* «треск разрываемой ткани» и *zip* «темперамент», которые даются как о д н о слово. Таковы курьезы «современной лексикологии»[3].

Подведем итог. В нашей новейшей лексикографии, без какого-либо серьезного научного обоснования, распространилось неправомерно расширенное понимание омонимии, в результате чего полностью запутались отношения между омонимией и полисемией. Это привело к тому, что выделение омонимов в словарях стало фактически субъективным делом каждого отдельного лексикографа. Для того чтобы изменить такое положение вещей, необходимо построить теорию омонимов на единственно объективном и, стало быть, единственно научном основании: на глубоком и тщательном и з у ч е н и и и с т о р и и с л о в.

---

[1] Теоретической базой здесь являются сомнительные домыслы о «безморфемном словопроизводстве». В действительности «безморфемное словопроизводство» — это и есть полисемия.

[2] Здесь, кстати, упускается из виду и то, что в самом русском языке *любимый* может быть не только прилагательным, но и существительным.

[3] Что «современная лексикология» в трактовке омонимии не сводит концов с концами, видно из следующего факта. Два словаря, которые мы внимательно изучили — русский С. И. Ожегова и английский В. Д. Аракина, З. С. Выгодской и Н. Н. Ильиной — оба в последних изданиях стали на путь безудержного размножения «омонимов». Казалось бы, полное единодушие. В действительности — полный разброд. В «Словаре русского языка» омонимы плодятся в основном за счет чисто лексической полисемии, в английском — за счет лексико-грамматической. Если в «Словаре русского языка» выделение омонимов пытаются как-то оправдать видимостью «разрыва семантических связей», то в английском даже об этом не приходится говорить. Как можно думать, что между *darling* «любимец» и *darling* «любимый» разорвалась семантическая связь! Как видно, сторонники «широкого» понимания омонимии не могут поладить не только с материалом, но и между собой. Считаем нужным тут же подчеркнуть, что наша критика направлена только против п о с л е д н и х изданий названных словарей и касается только трактовки омонимов. Во всех других отношениях мы не можем сказать об этих словарях ничего худого.

Б. ТРНКА и др.

К ДИСКУССИИ ПО ВОПРОСАМ СТРУКТУРАЛИЗМА [1]

Пражская лингвистическая школа считает, что предметом лингвистики является анализ языковой действительности, данной в высказываниях (как устных, так и письменных). Языковую действительность, как и любую другую комплексную действительность объективных фактов (например, физических, психологических и др.), можно познать и освоить, только вникнув в ее закономерности. Таким образом, законы, управляющие высказываниями в данном языке, как и законы естественных наук, следует считать законами абстрактными, но действующими и поддающимися контролю. По своему характеру они — в отличие от законов естествознания, действующих механически, — являются нормирующими (нормотетическими) и, следовательно, имеют силу только для определенной системы и в определенное время. Если эти законы закрепляются, например, в грамматике, они оказывают обратное нормирующее влияние на индивидуумов, усиливая обязательность и единство языковой нормы. Нормирующий характер языковых законов не исключает возможности, того, что некоторые из них действуют для ряда языков или даже для всех языков в исторически доступные для исследования эпохи (ср., например, закон минимального контраста смежных фонем в слове). Все языки мира имеют, помимо своих особенностей, и основные сходства; сходства эти следует подвергать научному анализу и сводить к научным законам.

Определяя структурализм как лингвистическое направление, считающее главным и самостоятельным предметом лингвистики отношения между отдельными «элементами» в системе языка, необходимо иметь в виду, что отношения и носители отношений («элементы») являются коррелятивными понятиями, обязательно сосуществующими. Решение проблемы взаимосвязи этих последних невозможно на основе одних лишь лингвистических данных и может быть осуществлено только путем использования данных других наук (например, логики). Несомненно, что отношения мы познаем путем исследования свойств их носителей и что каждый носитель определяется только своими свойствами, элиминация которых приводит нас не к какому-либо субстрату, а к уничтожению самого носителя. Структурализм является, на наш взгляд, направлением, рассматривающим языковую действительность как реализацию системы знаков, которые обязательны для определенного коллектива и упорядочены специфическими законами. Под знаком пражская школа понимает языковой коррелят внеязыковой действительности, без которой он не имеет ни смысла, ни права на существование.

Отметим, что под структурализмом часто понимаются самые различные

[1] Настоящая статья является совместной работой коллектива языковедов, объединенных в специальную группу по функциональной лингвистике в рамках Кружка по современной филологии (Kruh moderních filologů) при Чехословацкой Академии наук в Праге. В группу входят следующие ученые: проф. д-р Б. Трнка, проф. д-р И.Вахек, проф. д-р П. Трост, д-р С. Лир, д-р В. Полак, доц. О. Духачек, д-р И. Крамский, д-р И. Носек, д-р М. Ренский, д-р В. Горжейши, д-р З. Виттох, Л. Душкова. Редактирование статьи провел проф. д-р Б. Трнка. — *Ред.*

направления в лингвистике, возникшие в период между обеими мировыми войнами. Однако типичными можно считать лишь три направления структурализма: структурализм пражской лингвистической школы, структурализм Л. Ельмслева и структурализм американских школ, считающих себя последователями Л. Блумфилда. Общим для всех этих направлений является отход от младограмматических методов с характерными для них психологизмом и атомизированием языкового анализа. Общим для них следует признать и стремление рассматривать языкознание (которое младограмматики считают конгломератом психологии, физиологии, логики и социологии) как самостоятельную науку, опирающуюся на понятие «языкового знака». Впрочем принципы и методы работы указанных школ во многом значительно отличаются друг от друга, и поэтому нам кажется целесообразным применять для них особые названия, а именно: «функциональная лингвистика» для пражской лингвистической школы, «глоссематика» для направления Л. Ельмслева и «дескриптивная лингвистика» для направления Л. Блумфилда. В настоящей статье мы остановимся именно на этих трех школах. Другие структуралистические направления, в разной мере отличающиеся от этих трех основных, в статье рассмотрены не будут.

Направление Л. Ельмслева вводит в языкознание дедуктивный метод алгебраического исчисления (калькуляции) и провозглашает свою теорию не зависимой от языковой действительности. Оно не хочет быть суммой гипотез, правильность или неправильность которых нужно проверять фактами, а стремится «суверенным образом» определить свой предмет на основе предпосылок, число которых должно быть минимальным и которые должны быть возможно более общими, чтобы удовлетворять условиям применимости к возможно бо́льшему количеству конкретных языковых данных. Правильность языковой теории рассматриваемого направления зависит, следовательно, не только от правильности дедукции, но и от правильности общих предпосылок, из которых оно выводит свои положения. Однако эти предпосылки («текст» и «система»; «содержание» и «выражение»; «форма содержания» и «форма выражения»; понятие знака как обозначения «субстанции содержания» и «субстанции выражения» и т. д.), более или менее напоминающие принципы Ф. де Соссюра, не являются ни обязательными, ни вполне очевидными, и вся теория производит впечатление логически продуманного механизма, искусственно упорядоченной системы понятий.

Пражская школа не могла принять ничего из глоссематики Л. Ельмслева и особенно неприемлемым считает его понятие фонемы как простой «таксемы», тождество которой якобы заключается только в тождественности ее дистрибуции в словах данной языковой системы. Л. Ельмслев считает релевантные (или различительные) черты звуков, как и остальные нерелевантные их черты, «звуковой субстанцией» и, таким образом, создает искусственную преграду между звуком и «таксемой». Пражская же школа учитывает все свойства звука, обращая особое внимание на их релевантные черты, сумма которых обеспечивает тождество звука как фонемы. Например, англ. p^h и p в слове *paper* «бумага» является единой фонемой, определяемой суммой следующих релевантных черт: билабиальностью, взрывностью, ртовостью и глухостью, но не придыхательностью, так как эта последняя не является релевантной чертой в английском языке. Напротив, p^h в древнеиндийском языке является самостоятельной фонемой в отличие от p, так как придыхательность в этом языке—релевантная черта. Даже целые слова, например чешск. *ten-den*, могут отличаться друг от друга только одной релевантной чертой (т. е. звонкостью). Этот факт теория Л. Ельмслева не в состоянии объяснить.

В своих общих взглядах на фонологию теория дескриптивной лингвистики Л. Блумфилда отчасти соприкасается с пражской лингвистической школой. Но и здесь, вследствие своей бихевиористской основы, дескриптивная лингвистика отличается от структурализма пражской школы как в использовании определений и терминологии, так и в деталях фонемного анализа. Оба направления пользуются фонемой как единицей фонологического языкового плана, однако в то время как последователи Л. Блумфилда (Блок, Дж. Трейджер, З. Харрис) уделяют основное внимание дистрибутивным чертам фонемы, *пражская школа* считает фонему пучком релевантных (или различительных) черт, а не функционально неразложимой «таксемой» (термин Ельмслева), оторванной от этих черт.

Обе школы пришли теперь (хотя каждая из разных исходных пунктов и разными путями) к убеждению, что психологические критерии не могут быть использованы фонологией. Что касается семантических критериев, большинство представителей американской дескриптивной лингвистики не считает их решающими. Пражская же школа подчеркивает способность фонем различать слова и морфемы (ср. русск. *точка—дочка*, *курить—бурить—бурил*). Следовательно, при анализе языка в фонологическом плане необходимо учитывать границы слов и морфем, так как в противном случае фонологический анализ мог бы привести к ошибочным результатам (например, при фонологической оценке аффрикат или при определении нейтрализации фонологических противоположностей). С другой стороны, пражская школа подчеркивает, что фонемы как единицы фонологического плана языка не имеют значения (ср., например, английское слово *hand*, которое является не простой совокупностью фонем [h+æ+ +n+d)], а чем-то иным). Хотя фонемы и служат различению слов и морфем, но не всегда используют эту способность (ср. английские согласные [h] и [ŋ], которые, несомненно, являются фонемами, хотя по отношению друг к другу не различают слов) и не являются даже единственными дифференциальными признаками слов и морфем. Так, омонимы можно определить как два или несколько слов с одинаковой фонемной структурой.

По указанным причинам некоторые лингвисты пражской школы теперь считают более правильным определить фонему только на основе ее способности отличаться от остальных фонем суммой своих релевантных свойств. Английские звуки p^h и p отличаются друг от друга придыхательностью, но так как придыхательность в английском языке зависит от ударности следующего гласного или же от эмфазы (ср. *I hope!*), она не является релевантной чертой, и оба звука характеризуются одними и теми же релевантными свойствами, т. е. они являются двумя позиционными вариантами одной фонемы. Русские гласные *и* и *ы* являются позиционными вариантами одной фонемы, так как существование заднего *ы* механически обусловлено смежностью с предшествующим твердым согласным и, следовательно, определено *внешним образом*; вариант *ы* является вторичным, так как после мягких согласных и в изолированном положении стоит *и*. По мнению пражской школы, фонема является абстракцией, но абстракцией не менее необходимой, чем понятие «слова» в высказывании или «морфемы» в слове. Только такая абстракция (ею, впрочем, пользуются все говорящие на данном языке, хотя бы и несознательно) дает возможность свести большое количество моторно и акустически различных звуков к определенному числу фонем, а на письме пользоваться более или менее последовательно только небольшим инвентарем различительных знаков.

В деталях изложения основных принципов фонологии между последователями дескриптивной лингвистики Блумфилда и пражской школой существует немало разногласий. Разногласия наблюдаются также

и среди представителей каждой из этих школ, так как они—во всяком случае пражская школа,—в отличие от структурализма Ельмслева, не считают языковую теорию априорной наукой, а усматривают в ней сумму общих закономерностей, к познанию которых лингвисты приходят путем исследования конкретного языкового материала. Характерной чертой пражской школы, в отличие от де Соссюра и женевской школы, а в известной мере и от школы Блумфилда, является также и структурное понимание исторического развития языка. Уже с самого начала своего существования пражская школа выдвигала, в противоположность женевской школе, мысль о том, что язык представляет собой не только синхронную систему, в которой «tout se tient», но и систему, находящуюся в определенном временном движении. Это движение затрагивает все компоненты языковой системы (фонологию, лексику, синтаксис).

В истории языкознания структуралистское лингвистическое направление, несомненно представляя собой реакцию на «атомизирующие» методы и приемы младограмматической школы, стремится постигнуть языковую действительность более точно, чем это удалось сделать при помощи младограмматических методов. Некоторые идеи структуралистского характера появлялись уже в прошлом (например, в грамматике Панини, в трудах грамматиков эпохи Возрождения—в особенности итальянских—и в работах языковедов начала XIX в.). Однако ни одна из этих идей не могла стать основой законченной теории языкового анализа.

Оппозиция против младограмматизма, конечно, принимала в разных странах разные формы, так что структуралистское понимание языка имело в разных странах разные основания. Что касается пражской школы, то почва для ее возникновения была подготовлена, с одной стороны, научной деятельностью И. Зубатого (1855—1931)[1], выступившего против механистического понимания языка, а с другой стороны, стремлением В. Матезиуса (1882—1945) и его учеников (Б. Трнки, И. Вахка и др.) углублять методы синхронной и диахронной лингвистики. Во взглядах русских представителей пражской школы (Н. Трубецкого, Р. Якобсона, С. Карцевского) проявилось главным образом влияние Щербы, школы Шахматова и де Соссюра; кроме того, Трубецкой и Якобсон в своих работах учитывали результаты исследования неиндоевропейских языков, которые не поддаются анализу на основе традиционных методов, применяемых в сравнительной грамматике индоевропейских языков. Подобно этому опыт, полученный при анализе индейских языков, способствовал основанию структурализма американского типа.

Творческое развитие лингвистического структурализма может оказаться возможным лишь в том случае, если его представители будут стремиться, с одной стороны, постигнуть языковую действительность во всех ее существенных связях с внелингвистической действительностью, а с другой—уяснить все средства, которыми пользуется язык. Ввиду того, что структуралистские методы находятся пока только в стадии разработки (причем в разных областях языкового анализа они разработаны в неодинаковой мере), ни одной из школ не удалось до сих пор создать вполне удовлетворительное описание какого-либо языка как целого.

Основой морфологического исследования языка в понимании пражской школы являются понятия слова и морфемы. Слово представляет собой наименьшую единицу значения, реализованную фонемами (вернее, релевантными свойствами фонем) и способную перемещаться в пред-

[1] Некоторые ученики И. Зубатого (Б. Гавранек, И. М. Коржинек и др.) стали известными представителями Пражского лингвистического кружка.

ложении. Морфемы являются наименьшими единицами значения, на которые можно разделять слова (например, *рук-а, руч-н-ой, голос-ить*). Если оставить в стороне словообразование, задачи структурной морфологии по существу можно свести к двум моментам: с одной стороны, структурная морфология определяет морфологические оппозиции (например, оппозиции падежей, оппозиции числа и рода существительных, оппозиции глагольных форм времени и др.), их взаимоотношения в системе языка (например, образование так называемых пучков, характеризующих отдельные «части речи») и их нейтрализацию (например, нейтрализацию родительного и винительного падежей одушевленных существительных мужского рода в словацком языке; нейтрализацию числа существительных, не выступающих в качестве подлежащего, в дравидском языке; нейтрализацию родов во множественном числе в немецком языке; нейтрализацию числа в третьем лице глаголов в литовском языке и др.); с другой стороны, задачей структурной морфологии является определение средств, при помощи которых морфологические оппозиции данного языка выражаются в его фонологическом плане.

Пражская школа подчеркивает необходимость рассматривать морфологическую структуру данного языка с точки зрения его собственной морфологической действительности, а не с точки зрения традиционной латинской или любой другой грамматики. Если при изучении какого-либо языка исходить из морфологических норм другого языка или же из норм более ранних стадий развития изучаемого языка, то языковая действительность искажается или толкуется ошибочно. При морфологическом сравнении языков решающей является не норма какого-либо одного языка, а одинаковая оценка фактов каждого языка в отдельности. В понимании пражской школы, например, так называемые «части речи» (partes orationis) являются не априорными окаменевшими словесными формами, существование которых необходимо в каждом языке, а группами слов, выделяемыми в данном языке на основании участия их в морфологических оппозициях. Так, существительным в русском языке является каждое слово, способное участвовать: 1) в оппозиции падежей, 2) в оппозиции чисел, 3) в оппозиции родов, даже если морфологическая основа слова выражает свойство (например, *доброта*) или деятельность (например, *бдение*). Из того, что деление слов на «части речи» обусловливается различиями между совокупностями морфологических оппозиций, в которых в данном языке участвует «часть речи», следует, что количество частей речи в разных языках не одинаково и что даже при одинаковом количестве они могут находиться в разных взаимоотношениях. По мнению представителей пражской школы, деление слов на «части речи» по другим критериям (семантическим или фонологическим) при изучении морфологии языка не может привести к плодотворным результатам. Пражская школа расходится с грамматической традицией и в другом отношении, а именно: в понимании морфологической аналогии. Для сторонников младограмматической школы аналогия представляла фактор, нарушающий закономерности звуков; для пражской же школы аналогия является реализатором морфологических оппозиций. Определенная связь и взаимодействие морфологических оппозиций с фонологической системой языка не нарушает закономерностей указанной системы. Морфологическая аналогия, таким образом, не дает возможности возникновения и развития в языке новых фонем или новых комбинаций фонем в слове, так как последние возникают лишь на основе развития самой фонологической системы.

Различие между синтаксисом и морфологией представляется некоторым структуралистам (сторонникам женевской школы, Карцевскому,

Трубецкому, Брёндалю, Гардинеру) как различие между анализом «синтагматическим» и «парадигматическим». Другие выводят это различие из того факта, что единицей морфологии является слово или морфема, между тем как единицей синтаксиса является предложение. Именно в предложении, по мнению этих лингвистов, происходит деление на синтагматические отношения (основным из которых является отношение подлежащего к предикации) и видоизменение значений как морфологических оппозиций, так и слов. Пражская школа склоняется к последнему взгляду, более близкому грамматической традиции; однако она еще не выработала для синтаксического анализа языка особого метода, какой она создала для фонологического, а в известной степени и морфологического анализов.

Пражская школа в особенности подчеркивает тот факт, что нельзя противопоставлять синтаксис как науку об изменчивых, индивидуальных элементах (parole) морфологии как науке о постоянных, коллективных, или социальных, элементах (langue), так как в обеих областях грамматики (в синтаксисе и морфологии) действуют как нормирующая закономерность, так и индивидуальная актуализация нормирующих элементов. Пражская школа видит здесь две разные степени грамматической абстракции в анализе языкового материала (т. е. высказываний). В результате деления предложения на части не получаются элементы морфологического порядка (т. е. слова и морфемы), и, наоборот, сложение элементов морфологического плана не приводит к единице синтаксического плана—предложению, так как предложение (например, *отец лежит больной*) представляет собой нечто большее, чем простую совокупность изолированных слов, так же, как здание больше, чем сумма кирпичей, или начатая шахматная игра больше, чем совокупность функций фигур. Слова и формы слов, выражающие морфологические оппозиции, представляют лишь средства, которыми пользуется предложение как знаменательная единица высшего порядка. В этой связи основной задачей синтаксиса следует признать, с одной стороны, определение синтагматических отношений и морфологических средств их выражения[1] (последние в предложении подвергаются различным знаменательным видоизменениям), а с другой стороны, выявление комбинации этих отношений (сложное предложение и синтаксические отношения в сложном предложении).

Пражская школа, следовательно, точно отличает морфологию от синтаксиса как два раздела науки о двух различных языковых планах. В отличие от женевской школы, пражская школа, однако, не делит языковой анализ на «синтагматику» и «парадигматику», так как оба эти отношения проходят через все слои языка. Так, например, фонологический аспект охватывает не только состав фонем и их релевантных свойств, но и систему их комбинаций в слове и в морфеме. Подобно этому, при изучении морфологии мы рассматриваем как морфологические оппозиции и их фонологические реализации, так и комбинации этих оппозиций в предложении, не смешивая при этом элементы морфологического плана с элементами плана синтаксического. Пражская школа не признает выдвинутое американскими языковедами положение о так называемых «непосредственно составляющих» (immediate constituents) (которое следует считать завершением концепции синтагмы де Соссюра), так как оно приводит лишь к механическому анализу дистрибуции языковых единиц без учета различий морфологических и синтаксических единиц. Понятие синтагмы никогда не было исходным методи-

[1] Имеются в виду морфологические оппозиции.

ческим принципом пражской школы (конечно, если оставить в стороне труды некоторых ее русских представителей—Карцевского и Трубецкого)[1]. Основным пороком синтагматики пражская школа считает—помимо смешения разных языковых планов—стремление сводить взаимоотношения всех языковых элементов к отношению «определяющее/определяемое» и попытки вместить в эту схему также отношение «подлежащее/сказуемое».

Из сказанного следует, что пражская школа преодолевает резкую дихотомию «язык/речь» (langue/parole) де Соссюра. Языковые факты, толкуемые де Соссюром как речь (parole), пражская школа считает высказываниями, т. е. языковым материалом, в котором языковедам следует определять законы «интерсубъектного» характера.

Предположение взаимных связей между морфологией и синтаксисом, с одной стороны, и лексикой, с другой, оказывается для лингвистического исследования необходимым хотя бы по той причине, что элементы всех этих трех областей языка взаимодействуют в процессе общения. Законы, управляющие элементами указанных трех частных систем, должны иметь объективный характер и гармонировать друг с другом. Структурная связь лексики с морфологией обусловливается тем, что любая морфема (основа, суффикс, префикс) должна иметь значение, без которого она представляла бы лишь группу фонем. Связь лексики с синтаксисом, в свою очередь, определяется тем, что различные значения слов проявляются в предложении. С точки зрения пражской школы, лексикология имеет дело с более или менее исчерпывающей совокупностью фактического материала из фонологической, морфологической, синтаксической и стилистической областей языка. Материал этот обычно располагается в алфавитном порядке, чаще всего без контекста и сопровождается либо приблизительными определениями, либо приблизительными иноязычными эквивалентами. Решение проблемы применения структурных методов в области лексикологии является одной из будущих задач пражской школы.

С применением структурного принципа описание исторических языковых изменений, приводимое современной исторической грамматикой, превращается в описание исторического движения всего языка, всех его релевантных составных частей и взаимоотношений (в том числе и тех, которые на первый взгляд оказываются не затронутыми такими «изменениями»). Даже при реконструкции элементов языка следует учитывать всю систему языка в целом, т. е. следует синхронизировать рассматриваемые элементы языка с другими его элементами в той мере, в какой они доступны для диахронического исследования в отношении данного периода времени. Структурный принцип анализа, следовательно, приводит языковедов к более реальному пониманию языковых реконструкций и дает возможность правильнее оценить надежность результатов, полученных при исследованиях, основанных на других принципах. Конечные цели исторического и реконструктивного структурного исследования по существу не отличаются от задач синхронного структурного исследования: и в том, и в другом случае необходимо выявить определенные языковые закономерности. Диахронные законы отличаются в структурном языкознании от синхронных только тем, что они ограничены во времени относительной хронологией и приводятся в исторической последовательности. Например, закон нейтрализации звонкости щелевых f, $þ$, χ, и появление варианта z после неударяемых гласных в германском языке-основе (так называемый закон Вернера) может рассматриваться как диа-

[1] Отметим, что Карцевский принадлежал скорее к женевской, чем к пражской школе.

ронный в связи с определением причины его действия (перенос германского ударения на первый слог основы).

Нет сомнения в том, что ни одна из трех структуралистских концепций не учитывала в достаточной мере взаимные связи между языком и обществом. У копенгагенской школы этот недостаток обусловливается самим существом ее теории, созданной дедуктивным путем и независимо от языковой действительности. Известно, что проблема связи языка и общества нашла некоторое отражение в работах Э. Сепира. Однако американские дескриптивисты, которые часто ссылаются на него как на своего предшественника, оставили без внимания соответствующую проблематику — прежде всего вследствие узкого практицизма своих синхронических исследований.

Тенденция некоторых представителей пражской школы рассматривать язык как имманентную систему, проявлялась, в частности, в чрезмерном подчеркивании по существу правильного положения о терапевтическом характере многих языковых изменений. Однако эта тенденция в пражской школе с самого начала уравновешивалась функциональным пониманием языка как системы, удовлетворяющей выразительным потребностям членов данного языкового коллектива. Так как выразительные потребности в процессе развития данного коллектива растут и дифференцируются, то исследование этого роста и дифференциации неизбежно привело к осознанию взаимных связей между историей языка и историей языкового коллектива[1]. Как правильно заметил К. Горалек, основной ошибкой структурализма Пражского лингвистического кружка являлся как раз «недостаток структурализма», а именно неполный учет того факта, что структура языка тесно связана с окружающими ее структурами.

С другой стороны, следует отметить, что воздействие истории языкового коллектива касается не всех планов языка в одинаковой мере. История коллектива, несомненно, больше всего воздействует на лексический состав языка, в котором появляются все новые наименования для новых или же по-новому осознанных внелингвистических фактов, возникающих в языковом коллективе на протяжении его истории. Менее интенсивно проявляется влияние истории в грамматическом плане (синтаксис и морфология), хотя и здесь имеют место хорошо известные явления, как, например, заимствование английского местоимения *they* из скандинавского, смена местоимения *thou* современным *you* и т. п. Слабее всего влияние истории языкового коллектива отражается в звуковой области. Основной особенностью звуковой системы какого-либо языка является то, что эта система как бы предоставляет в распоряжение языкового коллектива определенный круг четко отличающихся друг от друга единиц (например, фонем). Эти единицы в свою очередь используются лексикой и грамматикой, непосредственно служащими данному языковому коллективу для удовлетворения его потребностей общения. Отмеченная особенность звуковой области языка оказывается по существу постоянной для всех языков и всех времен. Именно сравнительно слабой связью между звуковой областью языка и историей языкового коллектива можно объяснить тот факт, что, вопреки определенным тенденциям имманентизма у некоторых представителей Пражского лингвистического кружка, результаты большинства фонологических трудов, выполненных его членами, до сих пор остаются полезным вкладом в конкретное исследование звуковой области языка. Однако было бы ошибочным предполагать, что влияние истории языкового коллектива на звуковую структуру языка

[1] См. B. Havránek, Vývoj spisovného jazyka českého, «Československá vlastiveda», řada II, Praha, 1936.

вообще не проявляется. Встречаются интересные доказательства такого влияния, конечно, лишь косвенного; это касается главным образом адаптаций и изменений в фонологической системе, вызванных (или по крайней мере ускоренных и облегченных) освоением лексических заимствований, в которых отдельные звуки находятся в иных фонологических отношениях, чем в исконных словах данного языка. В английском языке, например, фонологизации противопоставления по глухости/звонкости щелевых (*f—v*, *s—z*), которое сначала носило нефонологический характер, способствовало освоение заимствованных слов из французского языка где звуки *f* и *v*, *s* и *z* являлись самостоятельными фонемами.

Из приведенного с полной очевидностью вытекает, что при исследовании связей истории языка с историей народа вполне возможно использование методов структурной лингвистики, но, конечно, лишь в той мере, в какой позволяет характер отдельных планов языка.

Для полного познания языковой действительности следует сочетать качественный анализ элементов языка с количественным (статистическим) анализом. Только учитывая — помимо качественной стороны элементов языка — также и их количественные отношения к другим элементам языка, мы можем их полностью познать. Так, например, определение средств образования множественного числа в английском языке окажется неполным, если оставить без внимания их продуктивность. По существу, количественный характер имеет и так называемая типология языков, так как она стремится обнаружить продуктивность определенных морфологических приемов и других явлений в рассматриваемых языках. Количественный анализ, однако, не должен стать самоцелью; он должен, наоборот, широко применяться при решении проблем качественного характера. Языкознание — как и остальные общественные науки — применяет количественный анализ для познания сложной и разнородной действительности, отражаемой в языке посредством связных высказываний; исследование здесь обнаруживает или подтверждает скрытые взаимные отношения и тенденции.

Количественное (статистическое) исследование (независимо от того, служит ли оно определению частоты или периодичности данных языковых явлений в связном языковом материале), следовательно, имеет также эвристическое значение не только для синхронного, но и для диахронного исследования. Количественное исследование может обнаружить противоречия между численными отношениями, ожидаемыми на основании существующих познаний, и между действительными численными отношениями, что заставляет предпринять новое исследование и пересмотреть результаты качественного исследования. Статистическое исследование, например, показывает, что глухие согласные в чешском языке встречаются гораздо чаще, чем соответствующие звонкие, не только в связных текстах, но и в фонологической структуре чешского словаря; однако чешский глухой согласный *ch*, как ни странно, встречается реже, чем соответствующий звонкий *h*. Это неожиданное исключение объясняется, во-первых, происхождением *ch*, а во-вторых, тем, что оппозиция *h/ch* возникла только после изменения *g*>*h* и что она более позднего происхождения, чем пары *t/d*, *p/b*, *s/z* и т. п. Точные цифры, применяемые количественным языкознанием, могут явиться полезным, а иногда и необходимым вспомогательным материалом как при анализе языковых фактов, так и при реконструкции развития языка. Что касается применения «математического языка» в лингвистическом исследовании, то, по нашему мнению, такой прием иногда оказывается нецелесообразным, так как создает трудности для читателей, преимущественно филологов.

З. ШТИБЕР

СЛОВО В ДИСКУССИИ О СТРУКТУРАЛИЗМЕ

1. Несомненно, что сущностью структурализма в широком смысле слова является понимание языка («langue» де Соссюра) как системы, все элементы которой находятся между собой в определенных отношениях. Такое понимание правильно и является крупным шагом вперед в науке о языке. Однако исследование отношений элементов данного языка может быть по меньшей мере двояким: или эти отношения изучаются с учетом характерных особенностей сравниваемых элементов, или же абстрагированно сопоставляются только отношения между элементами. Пражская школа изучала отношения элементов языка на основе сравнения их характерных особенностей, разумеется, только «различительных»: Трубецкой разработал целую теорию определения «оппозиции» фонем на основе сравнения их характерных особенностей. Ельмслев, в противоположность Трубецкому, изучает только отношения элементов, считая при этом принципиально ненужным изучение их характерных особенностей. Это приводит, например, к тому, что отдельные фонемы определяются только на основании их появления в тех или иных местах потока речи.

В результате Ельмслев приходит к выводам, совершенно невозможным с точки зрения языковеда, занимающегося исследованием конкретных реальных языков. Он, например, утверждает, что французский язык продолжал бы оставаться французским даже и в том случае, если бы все особенности его элементов были заменены другими, лишь бы отношения между этими элементами оставались прежними. Этот французский язык, очевидно, был бы непонятен для любого француза, что, однако, нисколько не смущает такого крайнего структуралиста, как Ельмслев.

2. Нужно признать, что источником фонологии в том смысле, как понимал ее Трубецкой, является просто здравый смысл. Ведь без практического овладения системой фонем данного языка говорить на этом языке нельзя. Теоретик языка лишь более сознательно представляет себе количество фонем, падежей, функции отдельных аффиксов и т. д. Историческая деятельность Константина, Гуса и других показывает, что создатели алфавитов и реформаторы орфографии мыслили фонологически. Автор трактата середины XV в. о польской орфографии Яков сын Паркоша представил почти точно фонологическую систему польского языка того времени. Он прекрасно отличает долгие от кратких, твердые от мягких и т. д. и в то же время ничего не пишет о качественных различиях между долгими и краткими гласными, несомненно уже существовавших в польском языке XV в.; качество звука в этих случаях не играло еще роли различительного признака, как это произошло позднее, в XVI в., после исчезновения долгот. Точно так же Паркош ни слова не говорит о различии между гласными *i* и *y*, так как для него оно не являлось различительным признаком, как и для большинства современных польских

и русских фонологов. По поводу того, что различие между *i* и *y* не является различительным признаком, совершенно определенно высказался польский поэт XVI в. Ян Кохановский. Точка зрения Кохановского была хорошо известна польским грамматистам XIX в., от них эту точку зрения усвоил Бодуэн де Куртенэ.

3. Положительную роль структурализма в его пражской разновидности для изучения конкретных языков и диалектов можно было бы показать на многих примерах. Представление о долготе и интонации существовало и в XIX в., но оно было недостаточно отчетливым. Именно этим объясняется ошибка Ф. Лоренца и других исследователей, которые говорили о долготах и интонациях в кашубских диалектах XX в. В современном кашубском языке нет ни долгот, ни интонаций, имеющих фонологическое значение; различия в длительности кашубских гласных и в высоте их тона целиком зависят от места ударения и не несут никакой самостоятельной функции. «Долготно-интонационную» легенду развеяло лишь сознательное применение фонологического метода.

4. Несомненно, «типичные» структуралисты не обращают внимания на связь языка с обществом. Вместе с тем между трактовкой языка как системы и учетом влияния общественных факторов на развитие этой системы нет никакого противоречия. Сейчас, пожалуй, никто не может оспаривать, что национальные и общественные отношения имеют влияние как на возникновение или исчезновение определенных языковых фактов, так и прежде всего на ту или иную степень распространения отдельных изменений. Мне кажется, всегда нужно стремиться найти внутреннюю причину данного изменения; лишь тогда, когда такую причину найти нельзя, необходимо искать причину внешнего порядка. Не следует также забывать о возможности взаимодействия между структурными факторами внутреннего порядка и факторами внешними.

Следовало бы, возможно, подчеркнуть, что конкретное изучение живых языков и их диалектов не даст возможности принять слишком крайние структуралистские выводы типа датской школы. Диалектолог, даже стремящийся установить систему и определить взаимоотношения элементов этой системы, всегда стоит перед необходимостью учета различных факторов общественного порядка.

Перевел с польского *И. А. Оссовецкий*

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Вяч. Вс. ИВАНОВ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Е. Д. ПОЛИВАНОВА

Замечательный советский лингвист проф. Е. Д. Поливанов принадлежал к числу тех языковедов, которые в 20—30-е годы стремились, используя наследие лучших русских и зарубежных ученых, выработать теоретические принципы советского языкознания и применить их к исследованию различных языков и к решению задач, выдвигаемых общественной практикой.

Лингвистические взгляды Поливанова складывались под влиянием И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы, у которых он студентом Петербургского университета учился в годы перед первой мировой войной. В ранних работах Поливанова отчетливо проявляется характерное для школы Бодуэна де Куртенэ увлечение психологическим истолкованием языковых явлений. Позднее Поливанов обращается к тем положениям Бодуэна, которые, как он полагал, могут оказаться полезными при создании социологического языкознания. Поливанов считал, что труды Бодуэна де Куртенэ и его школы предвосхищают основные идеи Ф. де Соссюра и имеют первостепенное значение для исследования языка как общественного явления (За маркс. яз., стр. 3—4[1]; Введ. стр. II; Круг, стр. 61).

Уже в первом теоретическом курсе, читанном Поливановым в 1915—1916 гг., содержатся высказывания, в которых учитывается прежде всего социальный характер фактов языка. Особенно надо отметить следующую формулировку основных принципов фонологии, где Поливанов независимо от Соссюра выдвинул понятие лингвистической «ценности»: «нужно иметь в виду, что во 1) не все физиологические и физические различия между звуками (т. е. различия по звукопроизводным работам и по акустическому составу звуков) имеют одну и ту же ценность для языка, как средства общения, и что во 2) в разных языках ценность какого-либо различия между двумя звуками может быть различной...» (Конспект, стр. 52)[2]. Понятие «социальной ценности» фонетического явления использовалось Поливановым и в исследованиях, посвященных конкретному фонологическому описанию отдельных языков (см., например, Характеристика, стр. 188). Но вместе с тем Поливанов вплоть до последних своих работ, дати-

---

[1] В тексте статьи в скобках даются ссылки на работы Е. Д. Поливанова. Приняты следующие сокращения, раскрываемые в «Списке научных работ Е. Д. Поливанова» в конце статьи (порядковый номер указывает на номер соответствующей работы в «Списке»): Акц. — № 70, Алл.— № 71, Алф. — № 67, Введ.— № 52, Вокал. — № 29, Груз. согл. — № 36, Двусложн. осн. — № 10, Долг. гл. — № 31, За маркс. яз. — № 76, Зв. жесты — № 13, И.-е — о.к. — № 7, Каз. орф. — № 35, Каракалп. — № 81, Касим. — № 25, Кит. грам. — № 74, Конв.— № 21, Конс.— № 78, Конспект — № 4, Кор.-алт. — № 49, Кор. гл. — № 6, Круг — № 68, Лат. — № 41, Латшрифт — № 26, Лекции — № 19, Материалы — № 84, Методика — № 85, Метр. кит. — № 30, Не-синг. гов. — № 58, О гольдах — № 75, О лит. языке — № 46, Особ. — № 53, Пособие — № 59, Проект — № 32, Процесс — № 17, Психофон. — № 9, Сопост. грам. — № 83, Ср. Очерк — № 1, Ташк. диал. — № 27, Тезисы — № 16, Термины — № 22, Транскр. — № 8, Ту-кюэ — № 48, Узб. грам. — № 43, Узб. диал. — № 82, Факторы — № 55. Фон. конв. — № 24, Характеристика — № 39, Шем. суд — № 20. Этногр. узб. — № 42, Яп. акц. — № 28, Яп. грам.— № 73, Яп. - мал. — № 11, Яп. язык — № 77, Bet. — № 86, Perception — № 80, Travail — № 37, Umlaut — № 23, Un mot — № 88.

[2] Самостоятельность этого высказывания, поразительно близкого к одной из основных мыслей «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, доказывается тем, что курс Поливанова был прочитан в 1915—1916 гг., тогда как книга Соссюра, впервые изданная в 1916 г., попала в Петроград несколькими годами спустя.

руемых 1937 г., пользовался психологической терминологией, упорно называя фонемы «звукопредставлениями», а фонологию—«психофонетикой». В этом отношении терминология фонологических работ Поливанова уступает способу изложения, принятому в исследованиях тех лингвистов, которые вслед за Н. Ф. Яковлевым [1] еще в 30-х годах отказались от психологической интерпретации теории фонем. Однако к «психофонетическим» исследованиям Поливанова приложима та характеристика, которую акад. Л. В. Щерба дал фонологическим трудам Бодуэна де Куртенэ: психологические формулировки совершенно не существенны для теоретического содержания этих работ [2].

Если в первых общелингвистических курсах Е. Д. Поливанова можно еще встретить перенятые им у его учителей утверждения о том, что только индивидуальный говор доступен точному описанию (Конспект, стр. 8; Лекции, стр. 14), то в годы после Октябрьской революции понимание Поливановым соотношения между индивидуальным и социальным в языке резко изменяется. Во многих работах этого времени он указывает, что лингвисты предшествующего поколения, давая определение языка, недостаточно подчеркивали его социальный характер (Сопост. грам., стр. 7); при этом даже когда в теории признавалось, что язык является социальным явлением, в лингвистической практике социальная сторона языка «оставлялась почти без внимания» (Особ., стр. 4). Наиболее существенной особенностью первого послереволюционного десятилетия в истории нашей лингвистики Поливанов считал «перенос центра тяжести на социологическую сторону в изучении языка» (Особ., стр. 5).

Согласно взглядам Е. Д. Поливанова, «целевая установка, т. е. то, для чего и ради чего язык существует,—это именно лишь коммуникация, необходимая для связанного кооперативными потребностями коллектива» (Факторы, стр. 20). «Таким образом, явления языка, т. е. речевого общения, становятся в один ряд с такими видами человеческой деятельности как письмо, сигнализация, радиотелеграфия и т. д.» (там же, стр. 20; об изучении жестов [3] см. также Введ., стр. 26, § 6). Эта мысль развивает положения Ф. де Соссюра, но, в отличие от Соссюра, Поливанов сопоставляет язык не столько с другими системами з н а к о в, сколько с системами, служащими для к о м м у н и к а ц и и (т. е. с кодами, согласно современной терминологии). Такая постановка вопроса представляет особый интерес в свете современной математической теории информации (или, как ее иногда называют, теории коммуникации) [4].

Необходимым условием для существования языка Е. Д. Поливанов считал наличие коллектива, который может быть обслужен только данным языком. Такая предпосылка является обязательной как по отношению к обычным языкам, так и применительно к искусственным международным языкам, например эсперанто или идо (За маркс. яз., стр. 55; Круг, стр. 57).

Из определения языка как системы, служащей для коммуникации, Поливанов исходит и при исследовании развития языка; поэтому он

[1] См.: Н. Я к о в л е в, Таблицы фонетики кабардинского языка («Труды подразряда исследования северокавказских языков при Ин-те востоковедения в Москве», вып. 1), М., 1923 (стеклогр. изд.); е г о ж е, Математическая формула построения алфавита, сб. «Культура и письменность Востока», кн. 1, М., 1928, стр. 46.

[2] См. Л. Щ е р б а, И. А. Бодуэн-де-Куртенэ. Некролог, ИОРЯС, т. III, кн. 1, 1930, стр. 317, 315.

[3] Анализ жестов в японском дан в ряде работ Поливанова (Психофон., стр. 63, примеч.; Зв. жесты).

[4] На эти мысли Поливанова, как и на некоторые другие стороны его лингвистической концепции (в частности, на теорию факторов эволюции языка), представляющие особый интерес с точки зрения теории информации, не обратил должного внимания Дж. П. Спринджер, хотя в его монографии, посвященной анализу тех работ советских лингвистов, которые явились вкладом в разработку проблем коммуникации, разбору взглядов Поливанова уделяется значительное место (см. G. P. S p r i n g e r, Early Soviet theories in communication, Cambridge, Mass., 1956, стр. 41, 46—48, 62—64).

приходит к выводу, что изменения в языке совершаются без нарушения возможностей взаимопонимания членов коллектива, принадлежащих к разным поколениям. В ходе языковой эволюции принципиальное преобразование фонетического и морфологического строя языка мыслимо лишь как сумма из многих небольших сдвигов, накопившихся за несколько веков или даже тысячелетий, на протяжении которых каждый отдельный этап или каждый отдельный случай преемственной передачи языка (от поколения к поколению) привносил только неощутительное или мало ощутительное изменение языковой системы» (За маркс. яз., стр. 41).

Е. Д. Поливанов отмечал, что при переходе политической и экономической гегемонии к новой социальной группе язык весьма часто оказывается «более консервативным, чем другие области наследуемой (новым господствующим классом) культуры...» (Яп. грам., стр. X). Новая социальная группа копирует язык ее предшественницы «и лишь во вторую очередь... вносит в эту картину стандартного языка частичные новшества—черты, отображающие специфические особенности этой новой группы» (За маркс. яз., стр. 64). Полемизируя с яфетидологами, Поливанов многократно подчеркивал, что общественные сдвиги отражаются «более или менее непосредственно» только в лексике и фразеологии (За маркс. яз., стр. 120), которые являются «наиболее быстро чувствительной областью языка» (там же, стр. 77). Поливанов решительно возражал против лженаучных попыток объяснить фонетические и грамматические явления непосредственным воздействием социально-экономических факторов. Но вместе с тем он придавал очень большое значение влиянию этих факторов на эволюцию языка (За маркс. яз., стр. 125). Согласно его точке зрения, от социально-экономических условий зависят не конкретные факты фонетики и морфологии, а 1) решение того, «б ы т ь и л и н е б ы т ь данной эволюции в языке данного коллектива» (там же, стр. 141), и 2) видоизменение о т п р а в н ы х п у н к т о в языковой эволюции (там же, стр. 143). Поливанов имеет здесь в виду такие процессы, как образование семей языков и языковое скрещение.

Многое в изложенной выше концепции связи эволюции языка с развитием общества в настоящее время может показаться очевидным, так как соответствующие мысли нашли за последние годы общее признание в советской лингвистике. Но следует помнить, что в 30-х годах Е. Д. Поливанову приходилось отстаивать эту концепцию, выступая против господствовавших тогда взглядов сторонников яфетидологии, которые в своей борьбе с Поливановым не останавливались даже перед политической клеветой[1].

Возражая против фантастического понимания связей между историей общества и историей языка в яфетидологии, Поливанов требовал, чтобы решение этой проблемы строилось на основе строгого изучения и обобщения реальных фактов (За маркс. яз., стр. 49; ср. замечания о трудах А. А. Шахматова—Круг, стр. 61). Соблюдению этого требования в работах самого Поливанова способствовало то, что его лингвистические занятия часто сочетались с этнографическим исследованием тех народов, языки которых он изучал (ср. Этногр. узб.; Ташк. диал.; Шем. суд; О гольдах)[2].

[1] В этом отношении особенно показательны: книга «Против буржуазной контрабанды в языкознании» («Сб. бригады Ин-та языка и мышления АН СССР», Л., 1932, стр. 3, 36, 105, 129); статья Н. Я. З о л о т о в а «Об одной реакционной теории и наших задачах» («Яфетический сборник», VII, Л., 1932) и рецензия Ст. Б. на книгу Е. Поливанова «За марксистское языкознание» (там же).

[2] Многочисленные этнографические наблюдения и записи ценных фольклорных и этнографических материалов содержатся также в монографии и статьях Поливанова, посвященных японской диалектологии.

Из содержащихся в трудах Поливанова конкретных наблюдений над развитием лексики, связанным с социальными явлениями, заслуживает внимания анализ новых фактов в словаре русского языка революционной эпохи, в частности классификация сложносокращенных слов, особенности которых Поливанов сопоставлял с результатами слоговой абсорбции в устной речи (За маркс. яз., стр. 70, 80—81, 136, 144; О лит. языке, стр. 230—235)[1].

Характеризуя связи языка и общества, Е. Д. Поливанов указывал, что от социальных факторов зависит изменение состава коллектива, говорящего на данном языке, а также различный удельный вес объединяемых в этом коллективе групп, говорящих на разных диалектах (За маркс. яз., стр. 124—125). Поэтому в его работах значительное внимание уделяется вопросам социальной диалектологии. Интерес к этим проблемам Поливанов мог усвоить от Бодуэна де Куртенэ, который изучал не только «горизонтальное» расслоение языка на территориальные говоры, но и «вертикальное» — на социальные говоры[2]. Характерно, что русское воровское арго, которым специально занимался Бодуэн, послужило темой специальной статьи и для Поливанова (За маркс. яз., стр. 152—160). Воровское арго Поливанов изучал в сопоставлении с другими «потайными языками»; их особенность он видел в том, что «в процессе создания коммуникационной системы вносится криптолалическое задание, т. е. задание сделать данный язык (или жаргон) „потайным языком" (криптолалией),— непонятным для определенных слоев общества (не входящих в данное профессиональное объединение, на которое рассчитан данный потайной язык)» (За маркс. яз., стр. 37). Криптолалические жаргоны являются, по его мнению, одной из разновидностей социально-групповых говоров, к которым Поливанов относил также классовые и профессиональные диалекты (За маркс. яз., стр. 58, ср. стр. 167, примеч. 1). Поливанов исследовал не только лексические особенности социальных диалектов (ср. интересные лексические комментарии к записям узбекских диалектов в ст. Не-синг. гов.), но и их фонетические признаки (За маркс. яз., стр. 117—151), используя при этом, между прочим, результаты работы фонетического семинара Л. В. Щербы (За маркс. яз., стр. 131, примеч. 1). С точки зрения социальной диалектологии Поливанов пробовал объяснить и такие морфологические явления, как употребление японского гонорифического (пиэтетического) префикса *о-* (Яп. грам., стр. XI; За маркс. яз., стр. 164, примеч. 1).

В ряде своих работ Поливанов включил в круг социально-диалектологических исследований и изучение стандартного языка (койнэ), считая, что этот язык используется преимущественно господствующим классом. Такая точка зрения, не являющаяся органической для общелингвистической концепции Поливанова, вступала в противоречие с основными положениями этой концепции (ср., например, противоречивую социальную характеристику японского языка: Яп. грам., стр. V—XII; Яп. язык, стр. 731—733). Схематичность и прямолинейность экономических и социологических объяснений особенностей развития языков и диалектов проявляется не только при рассмотрении Поливановым стандартного языка и литературного языка как языков классовых, но и при попытке связать с экономическими факторами процессы раздробления и объединения языков и диалектов. Однако и в тех работах Поливанова, которые посвящены этим проблемам, наряду со спорными или ошибочными выводами можно найти много ценных наблюдений. В частности, значительный интерес представляет анализ диалектных отношений в городах (Токио, Акита, Ташкент), где «... придется весьма часто на деле отождествлять понятия районного и социально-группового говора» (Яп. грам., стр. VII; ср. Введ., стр. 38—39, примеч. 2, а также Этногр. узб.).

Стремление дать исчерпывающий социологический анализ говора отразилось на методике диалектологических исследований Поливанова. В первый период его лингвистической деятельности, когда он в качестве одного из создателей японской диалектологии занимался изучением японских говоров[3], Поливанов пользовался методами диалектологического описания, сложившимися под влиянием А. И. Белича (Психофон., стр. XII) и Л. В. Щербы (ср. Особ., стр. 8). Следует, в частности, отметить, что уже в первых своих диалектологических исследованиях Поли-

[1] Позднее результаты этих наблюдений Поливанова (как и выводы других многочисленных работ советских и зарубежных ученых, посвященных этой теме) были использованы в обобщающей монографии А. Бэклунд: A. Baecklund, Die univerbierenden Verkürzungen der heutigen russischen Sprache. Inaug.-diss., Uppsala, 1940, особенно стр. 23—24.

[2] См. И. Бодуэн-де-Куртенэ, Предисловие к кн.: В. Ф. Трахтенберг, Блатная музыка, СПб., 1908, стр. XII.

[3] См. оценку диалектологических работ Поливанова по японскому языку в кн.: Н. И. Конрад, Синтаксис японского национального литературного языка, М., 1937, стр. 14.

ванов пользовался фонологическими методами и фонологической транскрипцией. В работах же 30-х годов, посвященных узбекской диалектологии, Поливанов пробовал выработать методы диалектологической статистики для описания «коллективного говора» (За маркс. яз., стр. 174—176). Он высказывал предположение, что в дальнейшем окажется возможным приложить к изучению диалектов «теорию функций (в связи, напр., с количественной характеристикой каждого из смешивающихся этнических элементов и количественными стандартами обследуемых в каждом диалекте индивидуумов)» (За маркс. яз., стр. 176). Мысль о подобном применении математических методов в диалектологии[1] представляется менее утопичной в настоящее время, после разработки математического аппарата «теории игр», который, вероятно, может быть использован в исследованиях этого типа.

Школе Бодуэна де Куртенэ Е. Д. Поливанов был обязан тем, что описание диалекта или языка в его работах обычно содержало указания на пути развития данной системы. По словам Поливанова, «так как ни один момент языковой истории не выпадает из общей линии безостановочной диалектической эволюции языковых фактов, мы должны встретить в любую эпоху языковой истории, а следовательно, и в современном нам языке ряды неразрешенных диалектических противоречий и уже в силу этого вынуждены рассматривать относящиеся сюда явления не чисто в статическом (описательном) аспекте, но именно как явления текучие и переходные—между некой исходной точкой (в прошлом) и синтетическим разрешением противоречивой характеристики данного явления (в будущем)» (Сопост. грам., стр. 17; ср. там же, стр. 170, примеч. 2 и Конс., стр. 150). В исследовательской практике Поливанова сочетание описательных и исторических исследований дало наиболее ценные результаты применительно к фонологическому анализу звуковой системы языка.

. Характеризуя историю фонологии, Н. С. Трубецкой по праву поставил имя Поливанова рядом с именами его учителей Бодуэна и Щербы[2]. Заслугой Поливанова явилось прежде всего то, что выработанные школой Бодуэна методы фонологического исследования он применил для описания звуковых систем многих языков различных семей: японского и его диалектов, китайского, дунганского[3], корейского[4], узбекского и его диалектов, каракалпакского и некоторых других тюркских языков и диалектов, таджикского[5], грузинского и других языков. Написанный Поливановым курс общей фонетики (Введ., стр. 61—220) учитывает особенности фонологических систем различных, самостоятельно изученных им языков мира. Тщательный анализ огромного фактического материала позволил Е. Д. Поливанову сделать ряд важных обобщений. Выдвинутое им в 1925 г. понятие «потенциального словоразличения» в формах типа *прут—пруд* (см. Характеристика) предвосхищает результаты позднейших исследований, посвященных нейтрализации фонологического противопоставления. Развивая

[1] Аналогичные мысли см. также в статье Г. Шухардта «Личность автора в лингвистическом исследовании» (см. Г. Шухардт, Избранные статьи по языкознанию, М., 1950, стр. 275).

[2] См. N. S. Trubetzkoy, Grundzüge der Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 7, 1939, стр. 8 (франц. перевод: N. S. Troubetzkoy, Principes de phonologie, Paris, 1949, стр. 5).

[3] Критическую оценку данного Поливановым фонологического описания дунганского языка см. в посмертной (незавершенной) работе Н. С. Трубецкого: N. S. Trubetzkoy, Aus meiner phonologischen Kartothek, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 8, 1939; ср. выдержку из письма Трубецкого об этой работе Поливанова (там же, стр. 343—345).

[4] Проверку выводов работы Поливанова о корейских гласных см. в последнем исследовании Л. Р. Зиндера «Гласные корейского языка» («Сов. востоковедение», 1956, № 3); ср. также: A. Skaličková, The Korean vowels, «Archiv Orientální», vol. XXIII, № 1—2, 1955.

[5] О результатах работы Поливанова в области изучения фонем таджикского языка см. В. С. Соколова, Фонетика таджикского языка, М.—Л., 1949, стр. 8.

идеи Л. В. Щербы[1], Поливанов установил соотношение между факультативными и комбинаторными вариантами фонемы (Конспект, стр. 55; Лекции, стр. 61; Введ., стр. 218—220), позднее принятое многими фонологами. Поливанов был первым, кто установил фонологическую роль слога[2], охарактеризовав ее на материале китайского, японского, узбекского и русского языков.

Особую ценность представляют исследования Е. Д. Поливанова по фонологии ударения. Уже в первых своих работах о японском музыкальном ударении Поливанов пользуется фонологическими методами, которые он, следуя примеру Л. В. Щербы, успешно сочетал с экспериментально-фонетическими (см. о необходимости фонологического осмысления экспериментально-фонетических данных — Психофон., стр. IX, примеч. 2). Его исследования морфологических функций ударения (Двухсложн. осн.) продолжали традицию работ Бодуэна де Куртенэ, намечавших то понимание роли ударения, к которому позднее самостоятельно пришел Е. Р. Курилович[3]. Изучая музыкальное ударение в японских диалектах, Поливанов последовательно применял метод сравнения «quasi-омонимов», различающихся только акцентуацией (Психофон., стр. X). Вместе с тем он не преувеличивал значения этого метода (позднее получившего в зарубежной лингвистике название метода коммутации) и указывал, что quasi-омонимов может не хватить для всех имеющихся в диалекте типов музыкального ударения (Психофон., стр. XI). Методы фонологического описания системы музыкального ударения, выработанные Поливановым на материале японского языка, были позднее применены им к эстонскому (Введ., стр. 199—202) и другим языкам. На основании анализа явлений акцентуации в языках разных типов Поливанов смог сделать общие выводы о фонологических функциях ударения в языках мира (Введ., стр. 114—120; Акц.; Вет.).

Наибольшее влияние на последующие работы не только советских, но и зарубежных фонологов оказали исследования Поливанова в области истории фонологических систем. Поливанов разработал теорию дивергенций (расщепления одной фонемы на две) и конвергенций (совпадений двух фонем в одной) (Конв.; Фон. конв.; Факторы), которая получила широкую известность после использования ее проф. Р. О. Якобсоном в его труде, заложившем собою основы исторической фонологии[4]. Особенно важным является установленный Поливановым закон взаимозависимости конвергенций и дивергенций, ссылки на который можно встретить во многих фонологических работах[5]. Но в специальной литературе до настоящего времени не обращали внимание на то, что в трудах Поливанова по исторической фонологии изложен и ряд других плодотворных идей. В частности, им был описан тот процесс, который А. Мартине недавно образно назвал «цепной реакцией»[6]. Анализируя развитие системы гласных фонем северо-восточных японских говоров, Поливанов показал, что изменение *i* в «апикальное» *ɨ* сделало возможным развитие *e > i* (которому не угрожало уже смешение с прежним * *i*); этот же переход связан в свою очередь с третьим сдвигом: *ai > ɛ > e*. Таким образом, эти «три главных явления в северо-восточном вокализме... взаимно друг друга обусловливают» (Вокал., стр. 106, 107). Другой случай аналогичного развития фонологической системы Поливанов рассматривает на примере казахского языка, где параллельно изменению *ч > ш* осуществилось развитие *ш > с* «в связи с нежелательностью для словоразличения совпадения двух звуков (старых *ч* и *ш*) в одном» (Каз. орф. стр. 36).

Поскольку фонологические явления Поливанов рассматривал в их взаимосвязи с другими фактами системы языка, для объяснения аномальных явлений он использовал статистические данные, характеризующие различительную роль фонем («функциональную нагрузку», согласно современной терминологии). В частности, непонятное с общефонетической точки зрения развитие *p' > k''* в нагасакских говорах находит объяс-

[1] См. Л. В. Щ е р б а, Восточнолужицкое наречие, т. I, Пг., 1915, стр. 74.

[2] См. об этом R. J a k o b s o n and M. H a l l e, Fundamentals of language, 's-Gravenhage, 1956, стр. 20, примеч. 1.

[3] См. об этом в рецензии В. В. И в а н о в а на кн.: J. K u r y ł o w i c z, L'accentuation des langues indo-européennes (ВЯ, 1954, № 4, стр. 125).

[4] См. R. J a k o b s o n, Prinzipien der historischen Phonologie, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 4, 1931, особенно стр. 250, 253, 261—262 [франц. перевод — R. J a k o b s o n, Principes de phonologie historique (в кн.: N. S. T r o u b e t z k o y, Principes de phonologie), стр. 319, 321, 330].

[5] См., например: R. J a k o b s o n, Prinzipien der historischen Phonologie, стр. 261—264 (R. J a k o b s o n, Principes de phonologie historique, стр. 330); M. K o ř í n e k, Úvod do jazykospytu, Bratislava, 1948, стр. 89; см. также одну из последних работ о принципах исторической фонологии: J. W. M a r c h a n d, Internal reconstruction of phonemic split, «Language», vol. 32, № 2 (part. 1), 1956, стр. 248 (ср. ссылку на историко-фонологические концепции Поливанова — там же, стр. 247, примеч. 10).

[6] См.: A. M a r t i n e t, Function, structure, and sound change, «Word», vol. 8, № 1, 1952, стр. 6; A. M a r t i n e t, Économie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique, Berne, 1955, стр. 19, 51.

ение в том, что для этих говоров фонема *kw'* оказывается более нормальной в статистическом отношении по сравнению с *p'* кратким (Факторы, стр. 30, примеч 1; ср. Яп. грам., стр. 153, примеч. 4; Конс., стр. 164).

Наиболее ярким доказательством действенности разработанных Поливановым методов исторического анализа звуковой системы является предложенная им реконструкция грузинского консонантизма. Поливанов характеризует грузинские смычные как «т р о й с т в е н н ы е, т. е. противополагающиеся друг другу в виде трех категорий, отличных по гортанной работе» (Груз. согл., стр. 113), спиранты — как парные, остальные согласные фонемы (сонанты и *h*) — как не парные[1]. Изолированно стоящий «глубоко задненёбный гамзированный» глухой смычный (т. е. фарингальный абруптив) q[2] Поливанов признал представителем древней шестой тройки смычных, два других члена которой спирантизовались (Груз. согл., стр. 116). По мнению Поливанова, ранее всего, согласно общефонетической закономерности, спирантизовался звонкий член шестой тройки, превратившийся в ɣ. После этого происходит спирантизация придыхательного $q^c > \chi$. Последний член шестой тройки «q сохраняет до сих пор (cum grano salis) смычный характер» [3] (Груз. согл., стр. 116). Эта картина развития грузинского консонантизма, восстановленная Поливановым посредством метода внутренней реконструкции, подтвердилась во всех деталях исследованиями Г. С. Ахвледиани (пришедшего к тем же выводам независимо от Поливанова), Г. В. Ромена, С. М. Жгенти и А. Чайргишвили[4]. Подтверждение позднейшими исследованиями правильности метода внутренней реконструкции может быть сопоставлено с успехом теории «сонантических коэффициентов» Ф. де Соссюра (т. е. ларингальных) в индоевропейском языкознании.

Строгость методов, характеризовавшая фонологические работы Поливанова, была присуща и его грамматическим исследованиям. Из грамматических вопросов, которыми занимался Поливанов, наибольшую известность приобрели его высказывания о морфемах и их разновидностях[5].

Морфемы, в понимании которых Поливанов следовал традиции школы Бодуэна де Куртенэ[6] (см. определение морфемы: Введ., стр. 6; Кит. грам., стр. 3—4, примеч. 1; Яп. грам., стр. XV), он разделял на лексические и формальные, считая возможным дать статистическое обоснование этому разграничению: «...среди элементов слова явно выделяется 2 различных класса п о ч а с т о т е и х ф у н к ц и й (т. е. у ч а с т и я) с р е д и м а с с ы р а з л и ч н ы х с л о в; а условия, относящие тот или другой элемент к одному из этих классов, состоят, понятно, в з н а ч е н и я х их, т. е. сводятся, в конечном счете, к вне-языковым данным» (Введ., стр. 21). По мнению Поливанова, наиболее выгодной морфологической классификацией слов является «...классификация лексических (коренных) морфем по совокупности сочетаемых с ними формальных морфем и в связи с этим, по общему характеру значений данных лексических морфем...» (Яп. грам., стр. XVII). На основании этого принципа Поливанов проводит формальную классификацию частей речи в японском

[1] Эта классификация в основном совпадает с результатами позднейших фонологических описаний грузинского консонантизма; ср., например, N. S. T r u b e t z k o y, Grundzüge der Phonologie, стр. 146 (N. S. T r o u b e t z k o y, Principes de phonologie, стр. 173).

[2] Знак q у Поливанова соответствует принятому Г. С. Ахвледиани знаку $\dot{q}$, соответственно $q^c = q$, $ɣ - \dot{ɣ}$, $\chi = \dot{\chi}$.

[3] Правильность оговорки, поставленной Поливановым в скобки, доказывается новейшими экспериментальными исследованиями, свидетельствующими о спирантоидном характере $\dot{q}$ (-q Поливанова).

[4] См. об этом: Г. С. А х в л е д и а н и, Две системы гармонических смычных в грузинском языке, сб. «Памяти академика Л. В. Щербы», Л., 1951.

[5] См. замечания А. Росса о влиянии на него положений Поливанова: A. S.C.R o s s, Prolegomena to a definition of the morpheme, «Actes du Quatrième Congrès international de linguistes tenu à Copenhague du 27 août au 1-er septembre 1936», Copenhague, 1938, стр. 130.

[6] См. об этом: А. А. Д р а г у н о в, Примечания, в кн.: В а н Л я о-и, Основы китайской грамматики, перевод с китайского, М., 1954, стр. 221.

языке (Яп. грам., стр. XIX—XXXXV), тщательно учитывая при этом взаимосвязи между различными частями речи («мостики», по его терминологии); поэтому значительное внимание уделяется анализу словообразования. При исследовании формообразования, понимаемого Поливановым в соответствии с идеями Л. В. Щербы (ср. анализ узбекского формообразования в Узб. грам.), Поливанов отмечает и те явления «формообразования внутреннего порядка», которые являются промежуточными между словообразованием и словоизменением (Сопост. грам., стр. 115).

В ряде работ Поливанова рассматривается вопрос о соотношении между словом и морфемой. Основным признаком слова Поливанов считал потенциальную способность его к изоляции[1] (Введ., стр. 7); вместе с тем он изучал и те фонетические признаки, которые в каждом отдельном языке отграничивают слово как синтаксическую единицу от морфемы—элементарной морфологической величины (Введ., стр. 7—11). Практическое применение критериев выделения слова позволило Поливанову обосновать тезис о двухморфемности нормального слова в современном китайском языке (Кит. грам.), в настоящее время нашедший широкое признание среди китаеведов. Изучая историческое развитие соотношения между словом и морфемой, Поливанов сделал ценные выводы об особенностях процесса грамматикализации в языках разных типов (Процесс; ср. об обратном явлении—Конс., стр. 175, примеч. 2). Кроме того, Поливанову принадлежит заслуга открытия некоторых явлений грамматикализации в китайском языке[2].

Анализ грамматических явлений Е. Д. Поливанов связывал с изучением фонетической системы языка. В частности, структура «инкорпораций» китайского языка объяснялась в его работах не только семантическими и грамматическими факторами, но и фонетическими «требованиями формально-количественной нормы (двусложного слова)» (Кит. грам., стр. 240). Эти наблюдения представляют несомненную ценность, хотя перенесение того же метода на исследование некоторых факторов японского языка вызывало серьезные возражения[3].

В учении об «инкорпорациях» китайского языка Поливанов попытался дать одновременно и очерк морфологических явлений, «и общие контуры китайского синтаксиса» (Кит. грам., стр. 239)[4]. Отчасти такое изложение китайской грамматики у Поливанова связано с тем, что классификацию частей речи он строит на морфологическом основании, что требует расширенного понимания морфологии[5]. Поливанов утверждал, что совместное рассмотрение морфологических и синтаксических явлений китайского языка диктуется особенностями строя китайского языка, где отсутствуют границы между словом и словосочетанием, характерные для других языков (Кит. грам., стр. 9, 22 и 239); поэтому в китайском языке (в отличие от европейских) он считал нецелесообразным разграничивать морфологию и синтаксис.

[1] На связь этого положения Поливанова с идеями Л. В. Щербы указывает А. А. Драгунов в своих «Примечаниях...», стр. 223; о предложенных Поливановым критериях различения слова и словосочетания см. там же, стр. 224.

[2] А. А. Драгунов в «Исследованиях по грамматике современного китайского языка», I (М.—Л., 1952, стр. 38, примеч. 1) указывает, например, что превращение связки *сы//шы* в своего рода суффикс впервые было отмечено в «Грамматике дунганского языка» Е. Поливанова и Ю. Яншинина. Ср. также замечания по исторической морфологии китайского языка в статье Я. Хмелевского (J. Chmielewski, Zagadnienie tzw. czyści mowy w języku chińskim (II), «Rozprawy Komisji językowej Łódzk. t-wa naukowego», Wydział I, t. I, Łódź, 1954, стр. 141, примеч. 4), перекликающиеся с гипотезами Поливанова о происхождении суффикса множественного числа (Кит. грам., стр. 215).

[3] См. критические замечания по поводу предложенного Поливановым объяснения японской формы *кодомо* «дити, дети» в чрезвычайно ценной работе А. А. Холодовича «Категория множества в японском в свете общей теории множества в языке» («Уч. зап. ЛГУ», Серия филол. наук, вып. 10, Л., 1946, стр. 27—28).

[4] Возражения против полного растворения синтаксиса в морфологии в этой работе Поливанова см. в кн.: А. А. Драгунов, Исследования по грамматике современного китайского языка. I, стр. 5.

[5] Ср. аналогичное расширение границ морфологии у тех современных китайских лингвистов, которые строят классификацию частей речи на морфологическом принципе.

Говоря о различии между синтаксисом, морфологией и лексикой, Поливанов обосновывает необходимость обособления фразеологии как специальной лингвистической дисциплины: «...по количественному признаку тех величин, которыми оперирует в качестве единиц данная дисциплина, лексика является соизмеримой лишь с морфологией (так как единицей-максимум и в лексике, и в морфологии служит слово, а единицей-минимум — морфема: корень, суффикс, префикс), но не с синтаксисом (оперирующим в качестве единицы-максимум с словосочетанием или фразой, а в качестве единицы-минимум — со словом). И вот возникает потребность в особом отделе, который в данном отношении был бы соизмерим с синтаксисом, но в то же время имел бы в виду не общие типы, а индивидуальные значения данных конкретных словосочетаний, подобно тому как лексика имеет дело с индивидуальными (лексическими) значениями конкретных слов» (За маркс. яз., стр. 119, примеч. 1; ср. стр. 144, примеч. 2 и Введ., стр. 60—61)[1]. Таким отделом языкознания, согласно Поливанову, должна быть фразеология, которая, по его мнению, «займет обособленную и устойчивую позицию (подобно фонетике, морфологии и т. п.) в лингвистической литературе будущего — когда в последовательной постановке разнообразных проблем наша наука лишена будет случайных пробелов» (Введ., стр. 61). Эти мысли Поливанова представляют особый интерес в свете позднейших работ советских лингвистов в области фразеологии.

В области лексикологии следует отметить работы Поливанова по проблеме заимствований (ср. ниже). В его трудах разбросан ряд наблюдений над закономерностями семантических изменений в различных языках (см., например, о связи значений «гора—лес» в японских диалектах, тюркских и славянских языках: Введ., стр. 32, примеч. 1). Проблемами лексикографии Поливанов занимался в связи с работой над словарями языков народов СССР; интересные мысли высказывал он о проекте грамматического словаря (см. предисловие к Сопост. грам.).

Е. Д. Поливанов неоднократно писал о том, что одной из отличительных черт советского языкознания является активное участие в практической деятельности, вызываемой потребностями реальной жизни (Особ., стр. 6—7, За маркс. яз., стр. 6, 26). В программу общелингвистического курса он включал изложение «прикладной лингвистики» (Введ. II, III, V). Вклад самого Поливанова в эту практическую работу заключался в составлении описательных грамматик, словарей, учебников и букварей[2] ряда языков народов СССР, а также в кипучей деятельности, связанной с реформой письменностей народов СССР, и в подготовке молодых ученых (прежде всего в национальных республиках).

Еще в годы перед Октябрьской революцией Поливанов помогает своему ученику — молодому якутскому лингвисту С. А. Новгородову разработать проект якутского алфавита (издание первого якутского букваря, написанного на этом алфавите, осуществилось в конце 1917 г.; см. об этом: За маркс. яз., стр. 98). Сразу же после реформы русского правописания Поливанов выступает в защиту этой реформы (см. Узб. диал., стр. 34, примеч. 1). В 1922 г. на II съезде узбекских работников просвещения Е. Д. Поливанов делает доклад о латинском алфавите для узбекского языка (см. Тезисы). В 1923 г. он выпускает брошюру, где доказывается необходимость согласованных действий при реформе графики различных тюркских языков (Латшрифт). В 1924 г. Поливанов снова выступает по вопросам реформы узбекской письменности (Проект), вслед за этим печатает статью о казахской графике (Каз. орф.). В 1926 г. ко II тюркологическому съезду Поливанов пишет брошюру, в которой специально рассматриваются вопросы узбекской, азербайджанской и якутской письменности, причем подчеркивается

[1] Ср. близкое к этим мыслям Поливанова четырехчленное деление «означаемой» системы языка на «синтаксические, фразеологические, морфологические и лексические» правила у Н. С. Трубецкого: N. S. Trubetzkoy, Grundzüge der Phonologie, стр. 6 (N. S. Troubetzkoy, Principes de phonologie, стр. 2).

[2] См., например, Л. И. Пальмин и Е. Д. Поливанов, «Мак». Русский букварь для нерусских детей Туркестана, Ташкент, 1925.

необходимость соблюдения фонематического принципа при реформе алфавита (см. Лат., особенно стр. 13 и 18, а также Узб. грам., ч. II, стр. 54—92). 5—6 июня 1927 г. Е. Д. Поливанов вместе с Н. Ф. Яковлевым и Л. И. Жирковым принимает деятельное участие в заседаниях Комиссии по унификации алфавита Пленума Всесоюзного центрального комитета по проведению нового тюркского алфавита[1]. В 1928 г. Поливанов избран в состав Научного совета Всесоюзного центрального комитета нового тюркского алфавита[2].

Результаты своих работ, связанных с деятельностью этого научного совета и комиссии, Поливанов подытожил в ряде статей, опубликованных в 1928 г. в сборниках «Культура и письменность Востока» и в периодической печати[3]. Одновременно с этим он пишет статьи обзорного характера, где дает общий очерк реформы графики народов СССР (позднее эти статьи вошли в сборник За маркс. яз., стр. 82—89, 95—116). Стремление активно участвовать в деле дальнейшего развития письменности и литературных языков народов СССР не оставляло Поливанова и позднее, во время его пребывания в Средней Азии (см. Узб. диал., особенно стр. 34—43). Неслучайно последние его работы опубликованы в 1937 г. в сборнике, посвященном проблемам дунганского правописания.

Достоинством работ Поливанова по графике и орфографии является то, что он (как и Н. Ф. Яковлев, а также Л. И. Жирков) в своей деятельности по преобразованию письма руководствовался фонологическими принципами. Поливанов тщательно изучал теорию и историю письма. Исторические занятия у него оказывались теснейшим образом связанными с самыми злободневными вопросами. Решая проблему обозначения долгих гласных в новых тюркских алфавитах, Поливанов в то же время исследовал передачу долгих гласных в древнетюркской письменности. Он специально занимался историей знаков енисейско-орхонской письменности и выдвинул оригинальную гипотезу об идеографическом происхождении некоторых из них. Поливанов был хорошо знаком с древними системами письма не только Дальнего Востока, но и Передней Азии (см. сопоставление истории шумерской и китайской графических систем, Алф.).

Стремление использовать теоретическую и прикладную лингвистику в практических целях проявляется у Поливанова не только в работах, посвященных вопросам письма, но и в статьях, где ставится вопрос о массовой культуре форм речи (За маркс. яз., стр. 171). Его высказывания о формах речи имеют много общего с идеями Л. П. Якубинского. Как и Л. П. Якубинский, Е. Д. Поливанов разделил интерес к вопросам речевого стиля, присущий группе молодых талантливых филологов, которые занимались проблемами поэтического языка. Не только в годы Октябрьской революции, когда он непосредственно примыкал к «Обществу по изучению поэтического языка»[4] и печатался в его изданиях[5], но и в последующий период своей деятельности Поливанов уделял

[1] См. стенограммы этих заседаний, напечатанные в качестве приложения в сб. «Культура и письменность Востока», кн. I (М., 1928, стр. 120, 121, 125, 129, 130, 133). См. также стенограммы выступлений Поливанова, напечатанные в «Стенографическом отчете первого пленума Всесоюзного центрального комитета нового тюркского алфавита, заседавшего в Баку от 3-го до 7-го июня 1927 года», М., 1927, стр. 78—83, 143—146.

[2] См. «Хронику» в сб. «Культура и письменность Востока» (кн. IV, Баку, 1929, стр. 162).

[3] См., например, проф. Е. П о л и в а н о в, Невозможно молчать, газ. «Правда Востока» 22 X 28, стр. 3. См. также стенограммы выступлений Поливанова: «Стенографический отчет второго пленума Всесоюзного центрального комитета нового тюркского алфавита, заседавшего в гор. Ташкенте от 7-го по 12-е января 1928 года», Баку, 1929, стр. 46—47, 96—99, 178—182; «Стенографический отчет Третьего пленума Всесоюзного центрального комитета нового тюркского алфавита, заседавшего в Казани от 18-го по 23-е декабря 1928 г.», Казань, 1928, стр. 132—134, 158—159.

[4] О Е. Д. Поливанове и Л. П. Якубинском см.: Л. Ю. Б р и к, Из воспоминаний, альманах «С Маяковским», М., 1934, стр. 79.

[5] Об участии Поливанова в работе «Опояза» см. V. E r l i c h, Russian formalism, 's-Gravenhage, 1955, стр. 47, 49, 51, 54 и 75 (примеч. 43).

значительное внимание проблемам связи языка и стихосложения. Ему принадлежат интересные наблюдения о связи аллитерационного стиха в древнегерманской, финской, эстонской, монгольской и якутской поэзии с начальным ударением, благодаря которому начало слова стоит в фонетическом фокусе (Акц., стб. 85; Алл., стб. 96—97)[1]. Специальная статья Поливанова посвящена исследованию китайского стихосложения, метрический характер которого обусловлен особенностями китайской акцентуации (Метр. кит.). В одной из первых своих работ по узбекскому языку он дает также анализ формы узбекского стиха, связывая одну из его особенностей с древним двухполюсным ударением (Ташк. диал., стр. 90). В план своей незавершенной книги по общей лингвистике Поливанов включил особый раздел «Языкознание и поэтика (фонетическая теория мерной речи)» (Введ., стр. III). Он предполагал начать работу над трудом «Corpus poeticarum» («Свод поэтик»), где собирался сопоставить особенности строя отдельных языков мира с особенностями поэтики соответствующих литератур[2].

Описание языка Е. Д. Поливанов никогда не считал самоцелью. Согласно его взглядам, целью лингвистики является объяснение причин языковых явлений (Введ., стр. 1). Эти причины могут быть раскрыты только при изучении истории языка. Поэтому историческому исследованию языка он придает особое значение.

Как указывал Поливанов, с историческим языкознанием неразрывно связано сравнительное языкознание (Введ., стр. 31). Он упорно и мужественно защищал сравнительно-историческое языкознание от обвинений яфетидологов. Считая правильными выводы статьи Н. Я. Марра о родстве грузинского языка с семитскими (Яп. акц., стр. 106, примеч. 1), Поливанов указывал, что и в этой работе (о которой он говорил как о единственной приемлемой для него из сравнительных исследований Марра) содержится только гипотеза, доказательство которой самим Н. Я. Марром не дано (Кор.-алт., стр. 196, примеч. 1). Те же яфетидологические работы Марра, в которых отрицался сравнительно-исторический метод, Поливанов считал лишенными научной ценности (За маркс. яз., стр. 6—7)[3]. Со свойственным ему стремлением к математической точности Поливанов использовал теорию вероятностей для доказательства истинности сравнительно-исторического метода и полной абсурдности яфетидологических этимологий (За маркс. яз., стр. 177—182). Подчеркивая значение реконструкции праязыкового состояния для сравнительно-исторических исследований (За маркс. яз., стр. 11—14, Введ., стр. 43—47), Поливанов указывал, что реконструируемые праязыки не имеют ничего общего с первобытным «приматным языком». «И единственный случай гипотетического праязыка, к которому приложимо и понятие приматного языка,— это праязык, постулируемый яфетической теорией: *саль-бэр-ён-рош*» (Факторы, стр. 26, прим. 1).

В отличие от яфетидологов Поливанов считал, что все достижения сравнительно-исторического языкознания должны быть использованы в советской лингвистике. Вместе с тем он признавал, что такая глава сравнительной грамматики, как «Индоевропейские древности», «нуждается в пересмотре с точки зрения социологической. Однако „правка" эта должна будет прийтись именно на не-языковые объяснения языковых фактов...» (За маркс. яз., стр. 28, примеч. 2).

[1] На эти наблюдения Е. Д. Поливанова ссылается Б. А. П е с т о в с к и й в своей статье «О поэтической технике калмыцких песен» («Бюлл. 1-го Средне-Азиатского гос. ун-та», Ташкент, 1924, № 4, стр. 85, примеч. 2). Идеи, близкие к указанным наблюдениям Поливанова, формулируются и в других современных исследованиях; см., например, R. J a k o b s o n, The kernel of comparative Slavic literature, «Harvard Slavic studies», vol. I, Cambridge, Mass., 1953, стр. 4. Ср. новейшее исследование по истории монгольского стиха: P. P o u c h a, Zur Entwicklung des Mongolischen Verses. (Vom Altaischen zum Khalkha-Mongolischen), «Charisteria orientalia (praecipue ad Persiam pertinentia)», Praha, 1956.

[2] Сообщением об этом замысле Е. Д. Поливанова автор настоящей статьи обязан любезности В. Б. Шкловского. Пользуюсь случаем принести благодарность Н. И. Конраду, В. Б. Шкловскому, В. А. Каверину, К. М. и М. К. Поливановым за сообщенные ими факты, относящиеся к жизни и деятельности Е. Д. Поливанова.

[3] См. также краткое изложение прочитанного Поливановым 4 февраля 1929 г. доклада «Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория», помещенное в отделе «Хроника» в журн. «Р. яз. в сов. шк.», М., 1930, № 4, стр. 202—203.

Поливанов был хорошо знаком со сравнительно-исторической грамматикой индоевропейских языков и с историей отдельных групп индоевропейской семьи, о чем свидетельствуют его специальные статьи (например, о суффиксе *-*dhi*) и замечания, содержащиеся в его работах общего характера. Некоторые выводы Поливанова, основанные на применении фонологических методов к исследованию истории индоевропейских языков, сохраняют значение до настоящего времени[1].

Методы сравнительно-исторического языкознания, усвоенные им благодаря изучению индоевропеистики, Поливанов применил к исследованию языков других семей. Уже первая его работа, посвященная сравнительному изучению японского и рюкюского языков, по-новому осветила ряд вопросов истории звуковых систем этих языков, показав несостоятельность выдвигавшихся ранее концепций (Ср. Очерк). Как впоследствии признал рюкюский ученый Ифа, Поливанову удалось в этой работе предвосхитить выводы, к которым Ифа пришел лишь в 30-х годах[2].

Дальнейшее изучение истории японского и рюкюского языков Поливанов проводил посредством сравнения данных японских диалектов (в основном он использовал самостоятельно собранный им материал). Особенно много сделал он для реконструкции доисторической общеяпонской системы фонем и акцентологической системы. Обратив внимание на ряд нелингвистических фактов, позволяющих предположить возможность родства японского (и рюкюского) языков с малайско-полинезийскими, он стал проверять это предположение на лингвистическом материале (За маркс. яз., стр. 33). При этом он исходил из выводов, полученных путем внутренней реконструкции на основе «одного лишь японского» (За маркс. яз., стр. 33). В пользу предположения о родстве японского и малайско-полинезийского языков оказалось возможным привести некоторые морфологические (Яп.-мал., стр. 2284; Яп. грам., стр. XXXI—XXXII), акцентологические, фонетические и лексикологические соответствия[3] (Яп. акц., стр. 104—107; Travail; Введ., стр. 36, примеч. 1; Конс., стр. 155, 157, примеч. 1, стр. 162). Эти мысли Поливанова встретили сочувственное отношение со стороны Нобухиро Мацумото, развившего их в специальной монографии[4]; широкого признания, однако, они не получили.

Е. Д. Поливанов сам признавал, что гипотеза о родстве с малайско-полинезийскими языками не объясняет большого числа фактов японского языка. Исследование истории японского языка привело Поливанова к выводам о наличии ряда слов, общих у японского с корейским (Яп. грам., стр. XIII, примеч. 2; Конс., стр. 154)[5]. При изучении проблемы родственных связей корейского языка Поливанов также восстанавливает прежде всего древнейшую структуру этого языка методом внутренней реконструкции (см. выше о японском). Это обстоятельство следует особенно подчеркнуть потому, что он был одним из первых лингвистов, применивших метод внутренней реконструкции для анализа неиндоевропейских языков (см. выше о его открытии в области исторической фонетики грузинского языка). Исследуя систему гласных корейского языка, Поливанов в 1916 г. отмечает наличие в этом языке следов сингармонизма (Кор. гл., стр. 348). Это наблюдение и некоторые лексические соответствия дают ему основания сформулировать уже в 1923 г. гипотезу о родстве корейского языка с алтайскими (Umlaut, стр. 121, примеч. 2; обоснование этой гипотезы см. Яп. акц., стр. 106, примеч. 1)[6]. При установлении фонетических соответствий между корейским и алтайскими языками Поливанов опирается на «этимологические данные, извлекаемые из самого корейского языка» и корейской письменности (Введ., стр. 51—52; ср. также Термины, стр. 117). В 1927 г. Поливанов в окончательном виде формулирует и подкрепляет рядом доказательств (преимущественно лексических) теорию об алтайском происхождении корейского языка (Кор.-алт.). В мировой науке эта теория получила признание благодаря работам Г. Рамстедта, который независимо от Поливанова пришел к тем же выводам и доказал их правильность посредством анализа очень большого конкретного мате-

[1] См. об этом: В. В. Иванов, указ. рец., стр. 130; его же, Новая литература о диалектном членении общеиндоевропейского языка, ВЯ, 1956, № 2, стр. 111, примеч. 4.

[2] См. об этом Н. А. Сыромятникова, Система фонем японского языка, «Уч. зап. Ин-та востоковедения», т. IV — Лингвистический сборник, М., 1952, стр. 327—328.

[3] Следует заметить, что и в малайско-полинезийских языках (а не только в японском, как думал Поливанов) редупликация может быть приметой слов с особым эмоциональным (стилистическим) заданием (например, в языке индонезийской народной поэзии).

[4] Nobuhiro Matsumoto, Le japonais et les langues austroasiatiques. Étude de vocabulaire comparé, «Austro-asiatica», t. I, Paris, 1928 (о работах Поливанова см. там же, стр. 25).

[5] Некоторые из приведенных Поливановым сопоставлений еще ранее отмечались в работах японских ученых.

[6] Следует отметить, что предложенная Поливановым этимология корейского *nun* «глаз» позднее была дана и Г. Рамстедтом: G. J. Ramstedt, Studies in Korean etymology, Helsinki, 1949, стр. 172.

риала. При этом оба ученых предложили ряд одинаковых алтайских этимологий корейских слов[1].

Дальнейшие занятия другими алтайскими языками (монгольскими, тунгусо-маньчжурскими и тюркскими) позволяют Поливанову отметить также наличие в этих языках слов, общих с японским, но не имеющих соответствий в корейском (Яп. грам., стр. XIII, примеч. 2; ср. стр. 40; Узб. диал., стр. 16, примеч.).

Е. Д. Поливанов внимательно изучает фонетические соответствия, уже установленные к тому времени в алтаистике. Особое его внимание привлекает вопрос о фонетической характеристике общеалтайских фонем, представленных в чувашском в виде плавных, в других же тюркских языках — в виде спирантов (Введ., стр. 34, примеч. 2; Материалы, стр. 19), а также проблема алтайского ударения, которое он считал двухполюсным.

В области сравнительной грамматики алтайских языков Поливанов высказал также гипотезу, которая до настоящего времени осталась незамеченной: он предположил, что начальное *h* в узб. *hokız*, *hȏkyz* «бык» восходит к общеалтайскому **p* (Введ., стр. 59, примеч., и стр. 94). Та же гипотеза (по отношению к туркм. *hökiz* «бык») была независимо от него высказана М. Рясяненом, подтвердившим данное предположение рядом других аналогичных соответствий[2].

Работы Поливанова, в которых в сравнительном плане изучаются явления алтайских языков, непосредственно связаны с его исследованиями по грамматике тюркских языков. Поливанов был в числе тех исследователей, которые в одно и то же время открыли наличие долгих гласных в тюркском праязыке[3]. Значительное внимание он уделял проблемам классификации тюркских языков и диалектов (см., например, об изоглоссах в тюркской языковой области — Материалы, стр. 11 и след.); некоторые из этих диалектов были впервые обследованы им самим.

Особенностью сравнительно-исторических работ Поливанова было то, что при установлении языкового родства он считал нужным учитывать общие сходства в фонетическом и морфологическом строе сравниваемых языков в тех случаях, когда можно доказать, что такие сходства восходят к достаточно отдаленному периоду (Яп. акц., стр. 106; Кор.-алт., стр. 1196). Это свидетельствует о стремлении Поливанова использовать в сравнительно-исторических работах достижения описательной лингвистики XX в. Об этом же говорит и отмеченное выше широкое применение в его работах метода внутренней реконструкции.

В работах Поливанова по исторической фонетике японского языка последовательно проводится принцип относительной хронологии и указываются пределы реконструкции, не использующей сравнения с другими языками (ср. Конс., стр. 155, примеч. 1, стр. 162—164 и др.). Необходимость разграничения разных периодов Поливанов признает и по отношению к реконструированному праязыку (ср. отчасти сходные с положениями ларингальной теории замечания о происхождении индоевропейских долгих гласных: Введ., стр. 196, примеч. 1; Un mot, стр. 405, примеч. 1).

В реконструкции древнейшего праязыкового состояния Поливанов видел рабочее средство для объяснения истории других позднейших

[1] Ср. этимологии корейских слов *tol* «камень», *mal* «лошадь», *mul* «вода», *i* «этот», *kjeŋ* «зима» (в транскрипции Рамстедта), *kol* «долина», *nal* «день», *karak* «палец», данные в статье Е. Д. Поливанова (Кор.-алт., стр. 1198, 1199, 1202, 1203) и в изданном 20 лет спустя словаре Рамстедта (G. Ramstedt, указ. соч., стр. 272, 138, 154, 66—67, 103, 121, 159, 96). Важно отметить при этом, что с работами Поливанова Рамстедт не был знаком ни тогда, когда впервые выдвинул предположение о корейско-алтайском родстве, ни позднее, при составлении своего словаря.

[2] См. М. Рясянен, Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955, стр. 24—25 (указанная выше работа Поливанова Рясянену осталась неизвестной). Ср. об этом общеалтайском слове и его возможных доисторических связях с индоевропейским* *peku-*: G. J. Ramstedt, The relation of the Altaic languages to other language groups, «Journ. de la Société finno-ougrienne», LIII, 1, Helsinki, 1947, стр. 25.

[3] Историю этого вопроса см.: М. Рясянен, указ. соч., стр. 59. Рясянен упоминает в своей книге только статью Поливанова «К вопросу о долгих гласных в общетурецком праязыке», напечатанную в 1927 г. Но мысль о соответствии между якутскими и туркменскими долготами, которую Рясянен считает в данном случае решающей, была высказана Поливановым за 3 года до этого — в 1924 г. (Долг. гл.).

систем (За маркс. яз., стр. 13). Но он был далек от того, чтобы все факты этих позднейших систем истолковывать, исходя из праязыкового состояния. Говоря о сложности связей между алтайскими языками, Поливанов указывал, что эти связи обусловлены не только существованием одного алтайского праязыка (Кор.-алт., стр. 1203). Реальные исторические пути развития родственных языков он считал необходимым объяснять социальными факторами (Материалы, стр. 5—9).

Характерной чертой сравнительно-исторических работ Поливанова, связанной с влиянием на него идей Бодуэна и Щербы, являлось его увлечение проблемами скрещивания языков. Признавая теорию Бодуэна о смешанном характере языков, Поливанов широко использовал эту теорию в своей лингвистической практике. Происхождение японского языка он изображал как результат взаимодействия двух источников— малайско-полинезийского и алтайского (Яп. грам., стр. XII—XIII, XXX—XXXI). Особенности фонетики германских языков Поливанов пытался объяснить влиянием субстрата урало-алтайского (финского?) типа с гармонией гласных (Umlaut, стр. 122; ср. аналогичные идеи Д. В. Бубриха и других лингвистов). Полузвонкий характер северокитайских согласных он объяснял скрещением китайской фонетической системы с корейской (Введ., стр. 103)[1]. Но влияние субстрата предполагалось им в тех случаях, когда внутри изучаемого языка он не находил объяснения тому или иному явлению. Когда же, как, например, по отношению к северо-восточным японским говорам, исчерпывающее объяснение могло быть дано при анализе системы одного данного языка, Поливанов считал излишним предположение об иноязычном (в данном случае — аинском) влиянии (Вокал., стр. 107).

Е. Д. Поливанов считал, что концепцию Бодуэна о смешанном характере языков, а также теорию языковых союзов, в которой он видел продолжение идей Бодуэна, необходимо сочетать с теориями сравнительно-исторического языкознания. По его мнению, «понятие „языкового союза"... оказывается тем самым именно понятием, которым должна быть пополнена традиционная историческая (генеалогическая) классификация языков—для того, чтобы удовлетворить запросам современного социологического языкознания» (Узб. диал., стр. 11, примеч.).

В качестве примера такого комплекса языков Поливанов описывает «языковой союз», в который входит принадлежащие к разным группам языки и диалекты Самарканда, Бухары, Ходжента и прилегающих районов (Узб. диал., стр. 10—11, примеч. 1; Не-синг. гов.). Особенно большое внимание Поливанов уделял проблеме взаимодействия узбекского и таджикского языков. Этот вопрос он подробно изучает в целом ряде работ. Установленное на материале некоторых узбекских диалектов соотношение между скрещением и утратой сингармонизма он позднее распространяет на все узбекские диалекты (в том числе ташкентский), а затем и на другие тюркские языки (Узб. диал., стр. 14—16)[2].

Взаимодействие и взаимопроникновение различных языковых систем было одной из главных проблем, которые исследовал Поливанов. Он внимательно анализировал передачу звуков одного языка в другом языке (Perception). С анализом этого явления связана задача разработки транскрипции иностранных слов. Транскрипции японских слов в русском языке посвящена уже одна из первых работ Поливанова (Транскр.), получившая высокую оценку Л. В. Щербы[3]. Позднее Поливанов осуществляет разра-

[1] Возражения против этой точки зрения см. в кн.: А. А. Драгунов, Исследования по грамматике современного китайского языка, стр. 30—31, примеч. 3.

[2] Выдвинутое Поливановым объяснение утраты гармонии гласных узбекскими диалектами как результата ираноязычного влияния неоднократно подвергалось критике со стороны ряда тюркологов.

[3] См. Л. В. Щерба, Предисловие к статье Е. Д. Поливанова «О русской транскрипции японских слов» («Труды Японск. отдела Имп. Общества востоковедения», вып. I, Пг., 1917, стр. 13—14). Это предисловие не было включено в список трудов Л. В. Щербы, напечатанный в сб. «Памяти акад. Л. В. Щербы» (Л., 1951), между тем в нем содержатся некоторые положения теоретического характера.

ботку русской транскрипции китайских слов (Пособие). Вместе с тем он как историк языка заинтересовывается проблемой передачи тюркских и тунгусо-маньчжурских слов в старых китайских источниках (см.: Ту-кюэ; о джурченском *алчун* см. О гольдах, стр. 218).

Особое внимание Поливанов уделяет изучению особенностей китайских заимствований в японском, а также в корейском и вьетнамском, для исторической фонетики которых они представляют исключительный интерес (Ту-кюэ, стр. 691, примеч. 1, стр. 692, 694, 696; Психофон., стр. 44, примеч.; Метр. кит., стр. 156—157; Яп. грам., стр. 151—152, примеч., стр. 173; Кит. грам., стр. 16—18, 154, примеч. 2, стр. 161; Введ., стр. 51—52, примеч.; Perception, стр. 95—96). Разграничивая разные хронологические слои заимствований и указывая на обусловленность развития заимствований фонетическими законами языка, в который они вошли, Поливанов вносит существенные коррективы и дополнения в результаты фундаментальных исследований Б. Карльгрена, посвященных этой проблеме.

Е. Д. Поливанов считал, что сравнительно-историческое изучение китаизмов в японском языке является существенной частью сравнительной фонетики китайских диалектов (Введ., стр. 51, примеч. 3), так как сравнительно-исторический метод применим не только к сходным фактам двух родственных языков, но и к тем сходным фактам в неродственных языках, «которые объясняются заимствованием отдельных слов...» (Введ., стр. 50). Поэтому, например, обосновывая гипотезу об отражении древних китайских тонов в музыкальной акцентуации японских числительных, заимствованных из китайского, Поливанов объединяет сравнительно-историческое исследование слов неродственных (китайского и японского) языков с сопоставлением слов родственных (китайского и тибетского) языков (Яп. грам., стр. 173; ср. Кит. грам., стр. 16—18). Он считает, что в таких случаях создается особая сравнительная грамматика неродственных языков, рассматривающая в них те явления, «которые оказываются (благодаря процессам заимствования) родственными» (Введ., стр. 52). По мнению Поливанова, в некоторых случаях можно сомневаться в том, к какой «группе (семье) языков следует относить данный язык: считать ли его языком группы А, объясняя чужеродные (для А) его элементы как „заимствования" из языковой группы Б, или же наоборот—признавать его языком группы Б, обладающим, однако, рядом „заимствований" из А» (Введ., стр. 52). Здесь он приближается к концепции языкового родства, напоминающей взгляды В. Пизани.

Высказывания Поливанова, однако, противоречивы. С одной стороны, он утверждает, что различие между «сравнительными грамматиками заимствованных элементов и сравнительными грамматиками нормального объема—только количественное» (Введ., стр. 52). С другой же стороны, он справедливо указывает, что, признавая языки родственными на основании заимствований, мы отвлекаемся от обычного критерия родственности языков, заключающегося в общности их морфологического материала (Введ., стр. 51, примеч. 3), так как заимствование отдельных морфологических явлений «встречается гораздо реже» (Введ., стр. 50—51; ср. о взаимодействии грамматических систем Узб. грам., ч. I, стр. 60, примеч., Кит. грам., стр. 205 и работы о таджикско-узбекском двуязычии). Поливанов отмечал, что «в некоторых случаях мы действительно находим громадное количество иностранных лексических заимствований при полной почти незатронутости (данным иностранным влиянием) туземного морфологического строя» (Введ., стр. 51, примеч. 2). Изложенные мысли Поливанова представляют значительный интерес именно для теории словарных заимствований.

Изучая особенности заимствований, Поливанов формулирует закон, который он определяет как «основной для теории заимствований» (Термины, стр. 117). По этому закону, если заимствование не связано с появлением нового понятия, значение термина в заимствующем языке сужается (Введ., стр. 53, примеч. 2).

В ряде работ Поливанов рассматривает историю культурно-исторических терминов, заимствование которых он относил к очень древнему периоду (праязыковому для некоторых семей). Предложенное Поливановым объяснение миграции общеалтайского названия лошади, которое он связывал с историческими данными о приручении ее (Термины, стр. 117; Кор.-алт., стр. 1202—1203; Введ., стр. 52—54), соответствует точке зрения, являющейся в настоящее время широко распространенной[1]. Получило признание в синологической литературе и предположение Поливанова о том, что древнекитайское название меда **mit* не является исконным и может быть сопоставлено с индоевропейским **medhu* (И.-е. — о.к.; Касим., стр. 19—20; Термины, стр. 116—117; Введ., стр. 57). Однако, как указал Конради в статье, явившейся откликом на работу Поливанова (и в свою очередь положившей начало целой серии исследований о лексических связях индоевропейских языков с языками Азии), древнекитайское *miet*, *mit* является сравнительно поздним заимствованием[2]. Для исследования этого вопроса существенный интерес представляет «тохарское В» *mit*[3]. Значительно менее достоверной является гипотеза Поливанова о заимствовании из китайского общеиндоевропейского названия свиньи (Un mot)[4].

Изучая проблемы, связанные с заимствованиями, Поливанов обращал особое внимание на то, как заимствованные инородные элементы приспосабливаются к системе заимствовавшего их языка. По его мнению, анализ этих явлений позволяет сделать существенные выводы не только о

---

[1] См. например: G. Ramstedt, Studies in Korean etymology, стр. 138. Помимо слов, история которых освещена в трудах Поливанова, с этим миграционным термином в настоящее время обычно связывают и общее для кельтских и германских языков название лошади (ирландск. *marc* и т. п.).

[2] См. A. Conrady, Alte westöstliche Kulturwörter («Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften», Philol. hist. Kl., Bd. 77, Heft 3), Leipzig, 1925, стр. 7. Следует отметить, что Поливанов преувеличил и древность слов других языков, связанных с этим названием меда: в частности, в чеченский это слово проникло из осетинского (как показал В. И. Абаев в своей еще не опубликованной работе о вейнахско-осетинских лексических связях), тогда как в финно-угорских, по общему мнению, оно относится к числу многочисленных индоевропейских заимствований доисторической эпохи.

[3] См. H. Jensen, Indogermanisch und Chinesisch, «Germanen und Indogermanen. Hirt-Festschrift», Bd. II, Heidelberg, 1936, стр. 141. Древнейшая китайская форма **miĕt* (см. B. Karlgren, Grammata serica, Stockholm, 1940, стр. 228, п. 405 r) соответствует «тохарскому В» **myät* > *mit* (о фонетическом развитии в «тохарском В» ср. W. Krause, Westtocharische Grammatik, Bd. I, Heidelberg, 1952, стр. 4). С. Е. Яхонтов любезно сообщил в письме к автору, что он считает возможным в данном случае заимствование не из «тохарского», так как совпадение конечных *d* и *t* и отпадение конечного гласного могло осуществиться и в самом китайском языке к III в. до н. э. (когда впервые встречается данное слово). Но трактовка группы ** me* > ** myä* > *mi* делает возможной связь с «тохарским В», вероятную также и по причинам географического и культурно-исторического характера [о возможности «тохарско»-китайских связей ср. R. A. D. Forrest, The Chinese language, London, 1948, стр. 120—121; Цзи Сяньлинь, Тохарский язык: его открытие и расшифровка и его роль в культурной связи между Индией и Китаем, «Языковедческие исследования», № 1, Пекин, 1956 (на китайск. языке)]. Интенсивные «тохарско»-китайские связи доказываются благодаря анализу «тохарских» собственных имен. См. W. Krause, Tocharische Eigennamen, «Quatrième Congrès international de sciences onomastiques», Uppsala, 1952, стр. 326; его же, Eigennamen in tocharischen Texten, «Ural-Altaische Jahrbücher», Bd. XXV, Heft 1—2, Wiesbaden, 1953, стр. 14; его же, Tocharisch («Handbuch der Orientalistik», hrsg. von B. Spuler, Bd. IV — Iranistik, Abschnitt III), Leiden, 1955, стр. 4.

[4] См. возражения против гипотезы Поливанова в работах Р. Форреста (R. A. D. Forrest, указ. соч., стр. 123) и Э. Бенвениста (E. Benveniste, Noms d'animaux en indo-européen, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. XLV, fasc. 1, Paris, 1949, стр. 90—91). Последний признает, однако, что эта гипотеза хорошо обоснована с культурно-исторической точки зрения (там же, стр. 90).

фонетической[1], но и о морфологической структуре языка, в который вошли заимствования. В частности, он указывает, что при исследовании родовых категорий языка, в котором имеется именная классификация, важно учитывать новые заимствования и их грамматические особенности в этом языке; данный тезис он подтверждает фактами русского и чеченского языков[2].

Сопоставление языков разных типов позволяет Поливанову отчетливо показать отличительные особенности каждого из сопоставляемых языков. В этом отношении показательна данная им сжатая характеристика современного китайского языка в сопоставлении с древнекитайским, с одной стороны, и современными языками иных семей, с другой (Кит. грам., стр. 3—22), а также его сопоставительная грамматика русского и узбекского языков. Сопоставляя сходные явления в различных языках, он стремится определить место, занимаемое соответствующим явлением в системе каждого языка.

Е. Д. Поливанов считал, что от особенностей системы данного языка зависит даже классификация его фонем на гласные и согласные, причем для некоторых языков оказывается необходимым разделить фонемы не на два («гласные» и «согласные»), а на большее число классов (Конс., стр. 147—148)[3].

Вместе с тем Поливанов обращал большое внимание на исследование сходных фонетических и морфологических явлений в разных языках мира. В области общей фонетики большое количество таких типологических сопоставлений собрано в его курсе общего языкознания, а также в отдельных статьях: см., например, замечания о языках, в которых различие между смычными и спирантами не играет существенной роли (Каракалп., стр. 7—8, примеч. 3), и наблюдения над ролью гортанного взрыва в разных языках мира (Касим., стр. 13—18; Введ., стр. 84—90)[4].

Анализ грамматических явлений в трудах Поливанова иногда также сопровождается широкими сопоставлениями с языками других семей; ср. замечания о бессуффиксальном падеже (Яп. грам., стр. XXVI), об объектном спряжении (Кит. грам., стр. 238, примеч. 1; Введ., стр. 22—23, примеч. 2), о приеме удвоения (Яп.-мал., стр. 2284, примеч. 1). В области морфонологии заслуживает внимания предложенное Поливановым определение сингармонизма (Узб. диал., стр. 12—13) и выделение «эмбрионально-сингармонистических» языков (там же, стр. 13). Из мыслей Поливанова, относящихся к морфологической классификации языков, следует отметить оригинальную трактовку агглютинативных языков как аналитических (Сопост. грам., стр. 51—52; Методика, стр. 42—43)[5]. Разные морфологические типы языков Поливанов склонен был оценивать с точки зрения их утилитарной значимости, связывая изменение морфологического типа с эволюцией языка как способа коммуникации (Узб. диал.; о сочувственном отношении Поливанова к мыслям Н. Ф. Яковлева о развитии морфологического строя языка см. Круг, стр. 62).

Теории эволюции языка Поливанов отводил центральное место в системе лингвистических дисциплин, указывая на первостепенное философское и практическое значение этой теории (За маркс. яз., стр. 25—26; Введ., стр. 1; Конс., стр. 149—150). Стремление установить общие законы языковой эволюции, которое Поливанов мог усвоить от школы Бодуэна (ср. взгляды Н. В. Крушевского), было постоянной целью не только общелингвистических трудов, но и конкретных исследований Поливанова. Его выводы об основной тенденции развития языка также напоминают теорию Бодуэна де Куртенэ о замене более трудных звуков бо-

[1] Ср., например, замечания о *f* в заимствованиях из немецкого языка в эстонский в печатаемой ниже статье Е. Д. Поливанова. Ср. аналогичные выводы, к которым приходит П. А. Аристэ (P. A r i s t e, Foneetilisi probleeme eesti keele alalt, Tartu, 1947, стр. 39, где, однако, отмечается, что немецкое *f* может дать не только эстонское *v*, как указывает Поливанов, но и *hv*).

[2] Правильность этого тезиса доказывается, например, анализом заимствований в языке суахили. См.: И. П. С т р о г а н о в а, Процесс развития именной классификации в языках банту, «Уч. зап. ЛГУ», Серия востоковедч. наук, вып. 3, 1952, стр. 206—207.

[3] Эта мысль, основанная на фактах китайского языка, является очень ценной и для реконструкции индоевропейской звуковой системы того периода, когда сонанты занимали особое место между гласными и согласными.

[4] Относительно интерпретации Поливановым латышской прерывистой интонации см. в указ. рец. В. В. Иванова на кн. Е. Куриловича, стр. 135, примеч. 45.

[5] К этой точке зрения Поливанова присоединяется А. А. Р е ф о р м а т с к и й (см. его «Введение в языкознание», М., 1955, стр. 347).

лее легкими[1]. Формулировки, в которых Поливанов излагал свою теорию экономии языковых средств, говоря о языке как о «трудовом процессе» (Факторы; За маркс. яз., стр. 44), нельзя считать удачными. Тем не менее мысли Поливанова о тенденциях эволюции фонетической системы языка могут представлять несомненный интерес в связи с новейшими исследованиями Ципфа, Мартине и ученых, применяющих к языкознанию теорию информации.

Согласно Поливанову, «реальный состав нашей фонационной деятельности (при речевом обмене) действительно определяется, в виде общего правила, условием минимальной траты произносительной энергии, достаточной, однако, для достижения цели говорения (т.е. коммуникации)...» (За маркс. яз., стр. 44). Наиболее яркое свидетельство этому Поливанов видит в сокращении часто употребляемых слов, понимание значения которых «достигается при неполном произнесении звукового состава слова и даже при самом кратком на него намеке» (За маркс. яз., стр. 44)[2]. Проявление данной тенденции Поливанов видит не только в различных фонетических сокращениях словосочетаний, слов и морфем (Факторы, стр. 39—41; За маркс. яз., стр. 44—45)[3], но и в том, что единое и цельное понятие, часто фигурирующее в процессе общения, выражается одним словом, например аббревиатурой (а не словосочетанием) (За маркс. яз., стр. 135—136). С этой точки зрения находит объяснение и процесс грамматикализации, поскольку различие между формальными и лексическими морфемами Поливанов связывает с различной частотой употребления (Введ., стр. 21).

Е. Д. Поливанов стремился не только определить общие тенденции языкового развития, но и сформулировать конкретные закономерности фонетической эволюции. Он считал необходимым как исследование принципов развития фонологической системы (см. выше о его работах в этой области), так и установление общефонетических закономерностей развития звуков.

В работах Поливанова выводится ряд общих закономерностей развития звуков, объясняемых физиологическими факторами и принципом языковой экономии. Такими закономерностями, по его мнению, являются, например, тенденция к падению узких гласных (Введ., стр. 28, примеч. 1), тенденция к более быстрой спирантизации звонких смычных (по сравнению с глухими) (Груз. согл., стр. 116). Отступления от таких общефонетических закономерностей в каждом отдельном случае должны объясняться особыми факторами: статистическими особенностями употребления фонем[4], превращением дефектного произношения в общественную норму (Касим., стр. 13—18) и т. п.

Создание Е. Д. Поливановым изложенной выше оригинальной лингвистической концепции и ее обоснование фактами очень большого числа самостоятельно изученных им языков различных семей было возможно благодаря объединению в его лице исключительно одаренного полиглота, талантливого япониста, китаеведа, тюрколога и лингвиста-теоретика,

[1] См. И. Бодуэн де Куртенэ, Некоторые общие замечания о языковедении и языке, ЖМНП, ч. CLIII, 1871, февраль, стр. 291—292.

[2] Развитие мыслей Поливанова об общении посредством «необходимых намеков» и близких к ним идей Л. П. Якубинского см. в блестящей работе Л. С. Выготского «Мышление и речь» (Л. С. Выготский, Избранные психологические произведения, М., 1956, стр. 358—360). Ср. с этими идеями понятие избыточности в теории информации.

[3] Вместе с тем Поливанов подчеркивал, что благодаря действию морфологической эволюции взамен чрезмерно сокращенных морфем создаются новые комплексы из сложения двух морфем (Факторы, стр. 41, примеч. 1); ср. аналогичные замечания проф. Чжао Юань-жэня по этому поводу: Yuen Ren Chao, Meaning in language and how it is acquired, «Transactions of the Tenth Conference [on cybernetics]. April 22, 23 and 24, 1953», New York, 1955, стр. 64.

[4] См. выше предложенное Поливановым объяснение развития $*p' > k^{w'}$ в японских говорах.

хорошо знакомого не только с русской и западноевропейской, но также с дальневосточной и арабской лингвистикой.

Многие работы этого замечательного советского ученого остались незавершенными или не увидели света, а позднее были утрачены. Отчасти это объясняется трагической судьбой Евгения Дмитриевича Поливанова, вызванной его мужественной борьбой против яфетидологии, отчасти же — теми особенностями его характера, которые навеяли В. А. Каверину образ профессора Драгоманова в романе «Скандалист».

Но и из напечатанных работ Е. Д. Поливанова, сохраняющих значение до настоящего времени, многие остались неизвестными или малоизвестными, так как они опубликованы в трудно доступных изданиях, давно уже ставших библиографической редкостью. Кроме того, фрагментность изложения и причудливость композиции трудов Поливанова мешают найти в них места, которые относятся к отдельным языкам и к проблемам общего языкознания и которые могли бы представлять для специалистов большой интерес. Поэтому следует пожелать скорейшего издания работ Поливанова в сопровождении подробных тематических и языковых указателей (и, конечно, с исправлением всех многочисленных корректурных ошибок). Ниже приводится составленный автором настоящей статьи список работ Поливанова и публикуется одна из тех печатных работ Поливанова, которые остались совершенно незамеченными. Работа излагает основы учения Поливанова о конвергенциях и дивергенциях. Это учение, как указывалось выше, является общепризнанным вкладом Поливанова в развитие диахронической фонологии. Тем не менее публикуемая ниже работа, изданная в 1923 г. в Ташкенте ничтожным тиражом, была не известна даже тем лингвистам, которые использовали другие труды Поливанова для дальнейшего развития диахронической фонологии. Между тем статья позволяет составить ясное представление о теории конвергенций. По словам самого Е. Д. Поливанова, эту теорию он излагал в качестве специального курса в 1920—1921 гг. в Петроградском университете, делал на эту тему доклады в Лингвистической секции Неофилологического общества и в Московском лингвистическом кружке. Ей же посвящена обширная работа «О самодовлеющей функции конвергенции», рукопись которой была утрачена (Конв., стр. 106). Публикуемая ниже статья в сочетании с другими работами Е. Д. Поливанова может помочь восстановить содержание утраченной рукописи.

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ Е. Д. ПОЛИВАНОВА

1. Сравнительно-фонетический очерк японского и рюкюского языков, «Зап. Вост. отд-ния Имп. Русск. археол. о-ва», т. XXII, вып. I—II, СПб., 1914, стр. 173—190.

2. Музыкальное ударение в говоре Токио, «Изв. Имп. Акад. наук», Серия VI, т. IX, № 15, 1915, стр. 1617—1638.

3. Материалы по японской диалектологии. Говор деревни Мие, префектуры Нагасаки, уезда Ниси-Соноки. Тексты и перевод, «Зап. Вост. отд-ния Имп. Русск. археол. о-ва», т. XXIII, вып. I—II, Пг.,1915, стр. 167—201.

4. Конспект лекций по введению в языкознание и общей фонетике, читанных в 1915—1916 учебном году приват-доцентом Е. Д. Поливановым на Женских педагогических курсах новых языков, ч. I, Пг., 1916, 87 стр.

5. Труды Идзава Сюдзи по живому китайскому языку, «Вост. сборник», кн. II, Пг., изд. О-ва русск. ориенталистов, 1916, стр. 341—344.

6. Гласные корейского языка. I—Современное произношение гласных. II—Происхождение современных корейских гласных, «Вост. сборник», кн. II, Пг., 1916, стр. 344—348.

7. Индоевропейское **medhu* — общекитайское **mit*, «Зап. Вост. отд-ния Имп. Русск. археол. о-ва», т. XXIII (1915), Пг., 1916, стр. 263—264.

7а. Мелочи по японскому языкознанию. I—Японский пример словарной контаминации в двуязычном мышлении. II— Русское *киримон* — японское *kimono*, там же, т. XXIV (1916), Пг., 1917, стр. 95—96.

8. О русской транскрипции японских слов, «Труды Японск. отдела Имп. О-ва востоковедения», вып. I, Пг., 1917, стр. 15—36.

9. Психофонетические наблюдения над японскими диалектами. I—Говор деревни Мие, префектуры Нагасаки, уезда Ниси-Соноки. II—Музыкальное ударение в говоре Киото, Пг., 1917, 113 стр.

10. Акцентуация японских прилагательных с двусложной основой, «Изв. Росс. Акад. наук», Серия VI, т. XI, №№ 12—18, 1917, стр. 1089—1093.

11. Одна из японо-малайских параллелей, «Изв. Росс. Акад. наук», Серия VI, т. XII, № 18, 1918, стр. 2283—2284.

12. Формальные типы японских загадок, «Сб. Музея антропологии и этнографии», т. V, вып. 1 (Ко дню 80-летия акад. В. В. Радлова), Пг., 1918, стр. 371—374.

13. По поводу «звуковых жестов» японского языка, «Поэтика. Сборники по теории поэтического языка», I—II, Пг., 1919, стр. 27—36.

14. Следы суффикса Imperativi *-*dhi* на славянской почве, ИОРЯС, т. XXIV (1919), кн. 2, Пг., 1923, стр. 349—350.

15. Тезисы доклада проф. Поливанова «О принципах построения турецкой грамматики», журн. «Наука и просвещение», № 1, Ташкент, 1922, стр. 12.

16. Тезисы доклада проф. Поливанова о реформе узбекской орфографии, там же, стр. 13—14.

17. Процесс грамматикализации. (Глава из общей морфологии), там же, стр. 14—16.

18. Звуковой состав ташкентского диалекта, там же, стр. 17—19.

19. Лекции по введению в языкознание и общей фонетике, Берлин, Гос. изд-во РСФСР, 1923, 96 стр. [Переизд. Конспекта].

20. Татарская народная версия «Шемякина суда», «Сб. Туркест. вост. ин-та в честь проф. А. Э. Шмидта. (25-летие его первой лекции 15/28 января 1898—1923 г.)», Ташкент, 1923, стр. 103—105.

21. Из теории фонетических конвергенций. Латинский пример конвергенции с полным уподоблением. (Первая статья по теории фонетических конвергенций), там же, стр. 106—108. Вторая статья по теории фонетических конвергенций, там же, стр. 108—115.

22. Дальневосточные термины орудий письма, там же, стр. 116—119.

23. Причины происхождения Umlaut'a, там же, стр. 120—123.

24. Фонетические конвергенции, Ташкент, 1923.

25. Фонетические особенности касимовского диалекта (Ин-т востоковедения в Москве, Серия турецких языков, вып. 1), М., 1923.

26. Проблема латинского шрифта в турецких письменностях. (По поводу нового якутского алфавита, азербайджанской азбуки jeni jol и узбекского алфавита, санкционированного 2-м Съездом Узб. раб. просвещения), М., 1923, 20 стр. (Нар. Ком. Нац. ин-т востоковедения в Москве, Серия турецких языков, вып. III), 1 л. [стеклограф. изд.].

27. Образцы фонетических записей ташкентского диалекта, «Бюлл. 1-го Средне-Азиатского гос. ун-та», № 4, Ташкент, 1924, стр. 87—90.

28. К работе о музыкальной акцентуации в японском языке (в связи с малайскими), там же, стр. 101—108 (Приложение I).

29. Вокализм северо-восточных японских говоров, «Докл. АН СССР», [Серия] В, Л., 1924, июль—сентябрь, стр. 105—108.

30. О метрическом характере китайского стихосложения, «Докл. АН СССР», [Серия] В, Л., 1924, октябрь—декабрь, стр. 156—158.

31. К вопросу об обще-турецкой долготе гласных, «Бюлл. 1-го Средне-Азиатского гос. ун-та», № 6, 1924, стр. 157.

32. Проект латинского шрифта узбекской письменности, там же, стр. 158—159.

33. Рец. на журн. «Восток» (кн. 1—4) [Л., 1922—1924] — журн. «Новый Восток», кн. 5, М., [1924], стр. 435—439. См. также краткую заметку о книге Войтоловского «У японцев» («Новый Восток», кн. 6, [1924], стр. 482).

34. О гортанных согласных в преподавании арабского языка, «Бюлл. Средне-Азиатского гос. ун-та», вып. 7, Ташкент, 1924, стр. 28—29.

35. Новая казак-киргизская (Байтурсуновская) орфография. Спорные вопросы киргизской графики и орфографии, там же, стр. 35—43.

36. Краткая классификация грузинских согласных, там же, вып. 8,1925, стр. 113—118.

37. Sur le travail concernant les systèmes de l'accent musical dans la langue japonaise (et sur le rapport du japonais avec les langues malaises), там же, стр. 119—125.

38. Идеографический мотив в формации орхонского алфавита. (Гипотеза о происхождении орхонских букв: q^{w} ↓, j^{1}D, s^{2}I), там же, вып. 9, 1925, стр. 177—181.

39. Характеристика западнояпонской системы музыкальной акцентуации. (Акцентуация в Киото (к'о : to) и Тоса), там же, стр. 183—194.

40. Введение в изучение узбекского языка (пособие для самообучения), вып. 1 — Краткий очерк узбекской грамматики, Ташкент, 1925, 97 стр.; вып. 2 — Тексты для

чтения—Ташкент, 1926, 132 стр.; вып. 3—Тексты для чтения, Ташкент, 1927, 187 стр.

41. Проекты латинизации турецких письменностей СССР. К Туркологическому съезду II, Ташкент, 1926.

42. Этнографическая характеристика узбеков, вып. 1 — Происхождение и наименование узбеков, Ташкент, 1926, 31 стр.

43. Краткая грамматика узбекского языка, Ташкент — М., 1926: ч. I — Внешняя характеристика узбекского языка. Фонетика. Словоизменение имен, 80 стр.; ч. II — Глагол. Приложения: I. О новой узбекской орфографии; II. О латинизации узбекского письма; III. Тексты для чтения, 123 стр.

44. Краткий русско-узбекский словарь, [Ташкент], 1926. III—XII, 218 стр.

45. Революция и литературные языки Союза ССР, журн. «Революционный Восток», [М.], 1927, № 1, стр. 36—57.

46. О литературном (стандартном) языке современности, сб. «Родной язык в школе», кн. 1, М., 1927, стр. 225—235.

47. К вопросу о долгих гласных в обще-турецком праязыке, «Докл. АН СССР», [Серия] В, № 7, 1927, стр. 151—153.

48. 突厥 «Ту-кюэ» китайской транскрипции — турецкое تورکلر. «ИАН СССР», Серия VI, т. XXI, № 7—8, 1927, стр. 691—698.

49. К вопросу о родственных отношениях корейского и «алтайских» языков, там же, № 15—17, стр. 1195—1204.

50. Краткая фонетическая характеристика китайского языка (пекинского говора северно-мандаринского наречия), М., 1927, 25 стр. [переиздано в кн.: Е. Поливанов и Н. Попов-Татива, Пособие по китайской транскрипции, М., 1928, стр. 69—91].

51. О новом китайском алфавите «Чжу-инь цзы-му», «Революционный Восток», 1927, № 2, стр. 90—96.

52. Введение в языкознание для востоковедных вузов, Л., 1928. VI, 220 стр.

53. Специфические особенности последнего десятилетия 1917—1927 в истории нашей лингвистической мысли. (Вместо предисловия), «Уч. зап. Ин-та языка и лит-ры Росс. ассоц. научно-исслед. ин-тов обществ. наук [РАНИОН]», т. III, М., 1928, стр. 3—9.

54. Материалы по японской акцентологии. I. Говор Тоса, там же, стр. 133—149.

55. Факторы фонетической эволюции языка, как трудового процесса. I. Обзор процессов, характерных для языкового развития в эпохи натурального хозяйства, там же, стр. 20—42.

56. Задачи социальной диалектологии русского языка, журн. «Родной язык и литература в трудовой школе», М., 1928; № 2, стр. 39—49; № 4—5, стр. 68—76.

57. Русский язык сегодняшнего дня, журн. «Литература и марксизм», 1928, кн. 4, стр. 167—180.

58. Образцы не-сингармонистических (иранизованных) говоров узбекского языка, «Докл. АН СССР», [Серия] В, Л., 1928: № 5, стр. 92—96 [I. Каршинский говор (город Бегбуди)], № 14, стр. 306—312 [II. Вокализм говора гор. Самарканда. (Глава из описания двуязычной системы)] и № 15, стр. 318—323 [III. Самаркандский говор (продолжение)].

59. (В соавторстве с Н. Поповым-Татива) Пособие по китайской транскрипции, М., 1928. II, 92 стр.

60. Итоги унификационной работы. «К проекту Унифицированного НТА, принятому на I Пленуме VI 1927», статья I, сб. «Культура и письменность Востока», кн. 1, М., 1928, стр. 70—80.

61. К вопросу о заглавных буквах, там же, стр. 91—95.

62. Об обозначении долготы гласных в НТА, там же, кн. III, Баку, 1928, стр. 49—51.

63. О буквах *k* и *q*, там же, стр. 52—53.

64. Рецензия на книгу Н. И. Конрада «Японская литература в образцах и очерках» (т. I), журн. «Новый Восток», кн. 20—21, М., [1928], стр. 483—485.

65. Основные формы графической революции в турецких письменностях СССР, там же, кн. 23—24, 1928, стр. 314—330.

66. Из хроники современных национальных график СССР. (Проект ассирийского алфавита на русской основе), журн. «Революционный Восток», М., 1928, № 4—5, стр. 302—306.

67. Одно из доказательств общности происхождения арабского и европейского алфавитов, сб. «Культура и письменность Востока», кн. V, Баку, 1929, стр. 35—50.

68. Круг современных проблем современной лингвистики, журн. «Русский язык в советской школе», М., 1929, № 1, стр. 57—62.

69. Образцы не-иранизованных (сингармонистических) говоров узбекского языка. I. Говор города Туркестана. II. Фонетическая система говора кышлака Икан (Туркестанский уезд), «ИАН СССР», Серия VII—Отделение гуманитарных наук, № 7, 1929, стр. 511—537.

70. Акцентуация, «Лит. энциклопедия», т. 1, М., 1930, стб. 85—88.
71. Аллитерация, там же, стб. 96—97.
72. Албанский язык, там же, стб. 90.
73. (В соавторстве с О. В. Плетнером) Грамматика японского разговорного языка (Труды Моск. ин-та востоковедения им. Н. Н. Нариманова, XIV), М., 1930. XXXXV, 189 стр.[1]
74. (В соавторстве с А. И. Ивановым) Грамматика современного китайского языка (Труды Ин-та востоковедения им. Н. Н. Наримапова, XV), М., 1930, 304 стр.[2]
75. О гольдах. (Очерк), в кн.: В. Ошанин, Стойбище Оймеконск. Роман, М.— Л., 1930, стр. 215—230.
76. За марксистское языкознание. Сб. популярных лингвистических статей, М., 1931, 184 стр. [Содержание сборника: Вместо предисловия (стр. 3—9); Историческое языкознание и языковая политика (стр. 10—35); Где лежат причины языковой эволюции? (стр. 36—53); Русский язык как предмет грамматического описания (стр. 54—66); Иностранная терминология как элемент преподавания русского языка (стр. 67—72); Революция и литературные языки Союза ССР (стр. 73—94); Основные формы графической революции в турецких письменностях СССР (стр. 95—116); О фонетических признаках социально-групповых диалектов и в частности русского стандартного языка (стр. 117—138); Фонетика интеллигентского языка (стр. 139—151); Стук по блату (стр. 152—160); О блатном языке учащихся и о «славянском языке» революции (стр. 161—172); И математика может быть полезной... (стр. 173—181)].
77. Японский язык, БСЭ[1], т. 65, М., 1931, стб. 730—736.
78. Историко-фонетический очерк японского консонантизма, «Уч. зап. Ин-та языка и лит-ры РАНИОН», Лингвистич. секция, т. 4, М., 1931, стр. 147—188.
79. Корейский язык, «Лит. энциклопедия», т. 5, [М.], 1931, стб. 469—471.
80. La perception des sons d'une langue étrangère, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 4, Prague, 1931, стр. 79—96.
81. Некоторые фонетические особенности кара-калпакского языка («Труды Хорезмской экспедиции»), Ташкент, 1933, 27 стр.
82. Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. (К современной стадии узбекского языкового строительства), [Ташкент], 1933, 45 стр.
83. Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком, Ташкент, 1933, 182 стр.
84. Материалы по грамматике узбекского языка, вып. I — Введение, Ташкент, 1935, 48 стр., с прил. схемы классификации узбекских говоров.
85. Опыт частной методики преподавания русского языка узбекам, ч. I, Ташкент—Самарканд, 1935, 91 стр.
86. Zur Frage der Betonungsfunktionen, в кн. «Études dédiées au Quatrième Congrès de linguistes», «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 6, 1936, стр. 75—81.
87. (В соавторстве с Ю. Янпанским) Грамматика дунганского языка. Учебник для начальных школ: ч. I—для начальной школы, Фрунзе, 1935. 66 стр.; ч. II—для III-IV классов, Фрунзе, 1936, 76 стр. [на дунганском яз.].
88. A propos d'un mot indo-européen de provenance chinoise *(*t*)*sū-s*<ancien chinois **ču* «cochon», «Archiv Orientální», vol. IX, № 3, Praha, 1937, стр. 405—406.
89. Фонологическая система ганьсуйского наречия дунганского языка, сб. «Вопросы орфографии дунганского языка», Фрунзе, 1937, стр. 30—40.
90. Музыкальное слогоударение, или «тоны» дунганского языка, там же, стр. 41—58.
91. О трех принципах построения орфографии, там же, стр. 59—71.
92. Дополнительные предложения профессора Е. Поливанова к проекту дунганской орфографии, там же, стр. 25—29.

---

[1] Согласно сведениям, любезно сообщенным Н. И. Конрадом, в этой книге Поливанову принадлежат следующие разделы: «Введение» (стр. V—XIII), «Морфология словоизменения» (стр. XV—XXXXV), «Фонетика» (стр. 144—176).

[2] Согласно любезному сообщению Н. И. Конрада, Е. Д. Поливанов написал следующие разделы этой книги: «Вводные замечания» (стр. 3—33), «Фонетика» (стр. 145—198), «Морфология» (стр. 199—264).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1957

Е. Д. ПОЛИВАНОВ

ФОНЕТИЧЕСКИЕ КОНВЕРГЕНЦИИ[1]

Считаю полезным предложить читателю, интересующемуся сравнительной грамматикой и знакомому, полагаю, поэтому с русским языком, некоторые положения теории фонетических конвергенций, хотя и в самых общих чертах и в очень сокращенном изложении. Теория эта, рассматривающая одну, пожалуй, самую главную часть фонетических, т. е. звуковых изменений в языке, составляет отдел учения о фонетической эволюции, принадлежа, таким образом, к лингвистической историологии (если применить к лингвистике термин профессора Кареева: «историология» — т. е. учение о факторах исторического процесса, в данном случае о факторах исторических изменений в языке).

Звуковые изменения в языке делятся, на основании существеннейшего из своих признаков, на два главных класса: 1) изменения, происходящие внутри одного элемента из системы фонетических представлений, например внутри одного звука языка, и постигающие, следовательно, его качество: состав присущих ему звукопроизводных работ и акустический их эффект, но не касающиеся других элементов и не изменяющие самое систему фонетических представлений, т. е. не уменьшающие и не увеличивающие число элементов этой системы (отдельных звуковых представлений, служащих средством словоразличения для данного языка), 2) изменения, постигающие саму систему фонетических представлений и выражающиеся в уменьшении или увеличении числа ее элементов. Законы тех и других изменений, как можно и ожидать, различны.

Для изменений первого рода, изолированно протекающих в сфере отдельных звуковых представлений, можно установить общий принцип, определяющий их направление: «от трудного к легкому», т. е., следовательно, выражающийся в тенденции к уменьшению трудностей (а следовательно, и общего количества) звукопроизводных работ, соответствующих данному звукопредставлению. Согласно этому принципу, удается констатировать ряд происходящих в указанном направлении процессов, типичных для истории всевозможных языков (например: аффрикатизация, или так называемое «смягчение» смычных, в частности в положении перед *i*; спирантизация, т. е. утрата смычного элемента у аффрикат, причем обыкновенно этот процесс совершается — по чисто физическим основаниям — быстрее у звонкого, чем у соответствующего глухого варианта; делабиализация так называемых анормальных передних лабиализованных гласных и пр. и пр.). Явления же, принадлежащие к изменениям второго рода (изменяющие число элементов системы), по результату своему часто оказываются в противоречии общему принципу «от более трудного комплекса звукопроизводных работ к более легкому» и не укладываются в схемы типичных развитий первого рода.

[1] При подготовке к печати текста работы проф. Е. Д. Поливанова редакция ограничилась незначительными, главным образом стилистическими, поправками, устранив также замеченные опечатки.

Особенно это наблюдается при конвергенциях, т. е. при таких процессах второго рода, результатом которых является уменьшение числа дифференцируемых звукопредставлений системы, — благодаря тому, что на место двух принципиально-различных звукопредставлений в мышлении старшего поколения младшее поколение подставляет (в соответствующих словах, на соответствующих местах) одно звукопредставление (такова, например, подстановка *ц* или звука, среднего между *ц* и *ч*, на место старых *ч* и *ц* в поколении, осуществившем русское цоканье). Пример такого противоречия общему для первого рода направлению — в японской конвергенции *dz* и *z*, которая подставляет аффрикату *dz* (т. е. звук, более сложный, чем *z*) на место старого **z* (таким образом, старые слоги *za*, *zo* и т. д. теперь произносятся — по крайней мере в начале слова — *dza*, *dzo*; даже повторяя русское слово *зубы*, японец говорит *дзубы*, потому что представления звука *z* вообще нет в его системе фонетических представлений); или же в аналогичной древнеиндийской конвергенции *ж* × *дж* > *дж* (знак × обозначает конвергенцию и ставится между конвергентами, а знак > перед рефлексом), например в санскритском корне *джин* «знать»; ср. литовск. *žin-*, курдск. *zan* (персидск. دان ‹zān›), славянск. *зн-ати* [греч. γιγνώσκω, лат. (*g*)*nosco*].

И в виде общего правила результаты конвергенции не соответствуют результатам изолированного развития отдельных звуков, которые имели бы место и в том случае, если бы не было конвергенции. Алгебраически это можно выразить так: $a \times b > c$. Но в изолированном развитии должно было бы быть: $a > a_1$ (a_1 — звук более легкий по артикуляции, чем a; если не без изменения $a = a_1$), $b > b_1$. Но ни a_1, ни b_1 не равны c, которое тем не менее при конвергенции появляется на месте обоих данных конвергентов.

Причина этого — в самодовлеющей функции конвергенции, постулирующей уже единство результата на месте двух различных звукопредставлений, между тем как a priori нельзя ожидать одинаковых результатов от разных исходных пунктов развития (a, b), если нет конвергенции.

В сущности, однако, и в конвергенции основным фактором является стремление к облегчению языка, но не к сокращению трудностей звукопроизводных работ одного звука, как в процессах первого рода, а к сокращению психической деятельности, требовавшейся (у старшего поколения) в период обучения речи для дифференциации (т. е. усвоения в качестве двух различных единиц) двух звукопредставлений, заменяемых здесь (у младшего поколения, осуществляющего конвергенцию) одним.

Конвергенция не есть, однако, просто физическое совпадение произношений двух различных звукопредставлений [каким, например, бывает физическое совпадение фонем *j* и *d'* при русском скороговорочном произношении слов *ходит*, *чуден* и пр. как *хой(и)т* = *хој(і)t*, *чуй(и)н* = *ćuj(i)n* — хотя бы, например, в таком, очень быстром чтении начала отрывка из Гоголя *ćujn:n'ep:r' t'ixjpagoje* = «Чуден Днепр при тихой погоде»[1]], а реальный психический акт приравне-

[1] Русскому в голову не приходит, что данные фонемы *j* и *d'*, закрепленные вполне самостоятельными междуфонемическими ассоциациями, факультативно выполняются им одинаково; но у китайца или корейца, учащегося по-русски, этот факт — в восприятии им русских звуков — уже осознан: комбинаторно-факультативный вариант «оттенок» (как выражается проф. Л. В. Щерба) фонемы *d'* в виде *j* признан за норму. Поэтому запись произношения китайцем русских слов *десять*, *десять* дает: *jeyiħ^{c}(i)*, *jesħ^{c}(i)*, и один китаец имел, таким образом, повод спрашивать меня: омонимны ли (т. е. одинаковы ли по произношению) русские слова *десять* и *есть*, которые он воспринимал и воспроизводил оба как *jesħ^{c}(i)*.

В этой транскрипции я употребил знак ħ^{c} для среднеязычного глухого смычного (как в сербском, только придыхательного).

н и я[1] одного к другому двух звукопредставлений, которые были еще принципиально различными в мышлении старшего поколения. Можно утверждать, что этот акт приравнения звука, встречающегося в любом данном слове, к его общему звукопредставлению—посредством сравнения и принципиального отожествления с другими случаями этого звука в словах, прежде усвоенных,—совершается неизбежно при всяком усвоении слова в процессе обучения ребенка (продолжающегося, наконец, и у взрослого) словарю своего языка: индивидуум может усвоить новое слово только тогда, когда он разложит его на последовательный ряд звукопредставлений, имеющихся (или, может быть, только с данным словом впервые появляющихся, т. е. приобретаемых) в его системе фонетических элементов — символов словоразличения.

Таким образом, с точки зрения индивидуальной психологии нет разницы между приравнением двух звуков в разных словах,которые и старшим поколением подводились под одно звукопредставление, т. е. отожествлялись, и конвергенцией, сиречь таким приравнением, которое осуществляется (в истории языка) впервые данным поколением и отожествляет те символы словоразличения (значит, утрачивает один из моментов словоразличения в двух данных словах), которые у предыдущих поколений принадлежали к разным звукопредставлениям.

Итак, понятие конвергенции есть не психологическое, а историко-фонетическое понятие, устанавливаемое лишь объективно (лингвистом — историком языка, а не из самонаблюдения говорящего) при сравнении двух хронологических этапов в эволюции фонетического мышления. Ребенок того славянского поколения, которое отожествило ъ (случаи ъ, сохранившиеся после «падения глухих») с *о*, одинаково приравнивал: 1) *о* слова *конь* к *о* слова *онъ* или *домъ*, где (во всех данных трех словах) *о* было исконным, т. е. отожествлялось и старшим поколением и 2) ъ (первое) слова *сънъ* (*сон*) к *о* слов *онъ*, *домъ*, *конь* и пр. — и не видел разницы между ъ слова *сънъ* и *о* слов *онъ*, *домъ* и пр.[2], или же наблюл ее, но счел возможным игнорировать (но ведь это происходит и вообще с целым рядом факультативных, комбинаторно-факультативных и комбинаторных оттенков фонемы, которые и старшим поколением фиксировались за данной фонемой).

Таким образом, акт приравнения неизбежно имеет место при конвергенции — за исключением мнимых, или (позволю себе их так называть) о т р и ц а т е л ь н ы х конвергенций, в которых дифференциальная характеристика рефлекса является исключительно отрицательной по

[1] Акт, наличный, конечно, в период обучения языку в процессе приобретения запаса слов, но не в момент речевой функции сложившегося уже языкового мышления, когда внимание вообще поглощено смыслом говоримого и не может быть направлено на фонетический анализ.

[2] А почему он не наблюдал разницы между этим ъ и *о*, на это были для его психики определенные, разумеется, данные: переход (не выпадавшего) ъ в *о* (т. е. конвергенция ъ × *о* > *о*), очевидно, был связан (и единовременен) с нулизацией [исчезновением] ъ (как и ь) в таких случаях, как *рабъ*>*раб*, *къто*>*кто*; и оба данных явления, вместе взятые, означали (в истории славянской — русской фонетической системы) исчезновение звукопредставления ъ (как и ь). Те случаи, где не получался нуль гласного (*сън*), были недостаточно многочисленны, чтобы внимание данного поколения, остановившись на них, выработало особое для них звукопредставление — фонему ъ (говоря историческим языком, сохранило бы фонему ъ в тех случаях, где не было нулизации гласного), потому естественно, что эти статистически сравнительно незначительные случаи ъ, при отсутствии фиксации на них (на их качестве) внимания, были слиты с ближайшим гласным звукопредставлением, каким оказалось (в русских условиях) *о*. Данная конвергенция (ъ×*о*>*о*) и дивергенция (ъ>*нуль*: ъ>*о*), таким образом, взаимно связаны и представляют — в эволюции (звукового состава) словаря — две стороны того сдвига, который определяется в эволюции фонетической системы, в частности в эволюции вокализма, исчезновением звукопредставления ъ.

отношению к качеству конвергента, т. е. в рефлексе отсутствует одна или несколько работ, имевшихся в конвергенте, чем и исчерпывается разница между рефлексом и данным конвергентом. Крайним случаем этих отрицательных конвергенций являются конвергенции в нуле, где на месте обоих конвергентов у младшего поколения — нуль звукопредставления (нуль равен нулю, но ни о каком приравнении, конечно, не может быть речи там, где бывшие когда-то звуки уже исчезли); в качестве другого их примера можно указать на обычный во многих языках процесс оглушения конечных звонких, физически совпадающих, возможно, при этом с глухими, хотя тожество это может быть и не осознано. Отрицательные конвергенции представляют совсем своеобразные явления, о которых нужно говорить самостоятельно, и в настоящей работе я их не касаюсь.

Так как задачей теории конвергенции является установление законов, определяющих качество рефлекса (его физическую и психофонетическую характеристику) в зависимости от качества конвергентов, а также от привходящих условий [к которым может, например, относиться то обстоятельство, сопровождается ли данная конвергенция дивергенцией, т. е. входит ли в конвергенцию в качестве конвергента данная фонема целиком или же только определенные (комбинаторные) ее варианты], то для данной теории важна такая именно классификация конвергенций, в которой принципом деления (principio divisionis) было бы соотношение между качеством конвергентов и качеством рефлекса. В этом отношении усматриваются следующие главные классы конвергенции (мнимые или отрицательные не приняты в расчет[1]):

I категория конвергенций — с одним пассивным (ассимилируемым) конвергентом, не участвующим в образовании качества рефлекса, который оказывается равным по качеству другому (активному или ассимилирующему) конвергенту. Специфический характер этих конвергенций может быть, следовательно, формулирован так: $a \times b > a$ или $c{=}a$ (c — символ рефлекса).

Пример: и.-е.$*p \times *kw >$ греч. π (resp.$*g^{w} \times b >$ греч. β и т. д.), т. е. $*p >$ греч. π (греч. πατήρ) $\times *k^{w} >$ греч. π (πότερος).

Задненязычный лабиализованный как звук трудный, сложный по артикуляции и, следовательно, исторически (относительно) неустойчивый, заступается более простым (элементарным с общефонетической точки зрения) губным согласным.

II категория конвергенций — с гибридным качеством рефлекса: рефлекс не равен ни одному из конвергентов, но занимает промежуточное место между ними, являясь отклонением от качества одного из конвергентов в сторону качества другого. Эта категория распадается в свою очередь на две:

IIA: конвергенции, в которых гибридное качество рефлекса присуще постоянной его характеристике, т. е. обнаруживается в каждом его осуществлении (или по крайней мере в типичном его варианте).

Пример: промежуточное между звонкими и глухими качество китайских (северокитайских, например пекинских) «полузвонких непридыхательных» смычных $\overset{p\,t\,k}{bdg}$ (в русской транскрипции *б д г*, в зап.-европ. — *p t к*) объясняется их происхождением из конвергенции двух древнекитайских категорий: звонких ($*b*d*g$ и т. д.) и глухих непридыхательных ($*p*t*k$); таким образом, $p \times b > \overset{p}{b}$, $t \times d > \overset{t}{d}$ и т. д.

[1] Не говорится здесь и о конвергенциях, содержащих более чем два конвергента; но вопрос о них, в сущности, разрешается по аналогии с элементарными конвергенциями из двух конвергентов.

II Б: конвергенции, в которых гибридное качество рефлекса обнаруживается не в каждом отдельном случае его осуществления, но в разнообразии его вариантов, аберрирующих между качествами обоих конвергентов: Пример: испанское *b* осуществляется то как смычный, то как спирант (частью в зависимости от позиции: спирант нормален для интервокальной инлаутной позиции, частью факультативно: как смычный или же как спирант, в одной и той же позиции, в одном и том же слове — в зависимости от привходящих условий данного момента говорения: записывая много раз слово *vagabunda* в стихе песни, исполнявшейся одним испанцем, я констатировал, конечно, преобладающее число случаев *bagavunda*, но наряду с ним и *vagavunda*, а также — изредка — *bagabunda* и, наконец, даже диаметрально противоположное комбинаторным законам *vagabunda*) — очевидно, ввиду гибридного происхождения этой фонемы из конвергенции: **v* (из лат. *v* и *b*) × **b* (из **p* между гласными).

Аналогична и японская аберрация фонемы *dz* между *dz* и *z* ввиду происхождения ее из старых *z* и *dz* (в слоге *dzu*<**du*).

В узбекском языке к конвергенциям II Б принадлежат следующие, объясняемые иранской этнической подпочвой ташкентского диалекта конвергенции: 1) совпадение общетурецких фонем **o* × **ö* > ташк. *o* (например, **ot* «огонь» и **öt* «пройди мимо» > ташк. *ot*), 2) общетурецких фонем **u* × *ü* > ташк. *u* (например, *ur* «бей» и ташк. *uč* < *üč* «три»), 3) общетурецких **i* × *ы* > ташк. *ı mutabile* (например, *mın* «езди верхом», *sın* < < *sын* «сломайся»).

Рефлексы этих конвергенций (входящих в общую сумму явлений падения сингармонизма), несмотря на то, что они являются одной фонемой, комбинаторно аберрируют между передним и задним вариантом: мы имеем, например, переднее *o* в *kol* «озеро» и заднее — в *qol* «рука»; переднее *u* в *kul* «пепел» и заднее — в *qul* «раб»; переднее *ı* в *kır* «войди» и заднее (*ы*) в *qır* «степь» (подробнее см. мою статью «Звуковой состав ташкентского диалекта» в журнале «Наука и просвещение», 1922, № 1).

I категория конвергенций выполняет задачу облегчения фонетической системы от трудного, сложного по артикуляциям (или же — в других случаях — статистически редкого и потому трудно усваиваемого) звука путем простого пропуска его в фонетической системе, почему он и не оставляет следов на качестве рефлекса (т. е. является пассивным конвергентом). Если не иметь в виду границы между изучением родной фонетической системы ребенком и усвоением чужих (иностранных) слов взрослыми, то конвергенции I категории мы сплошь и рядом будем встречать при скрещивании двух этнически разнородных фонетических систем благодаря словарным заимствованиям у одного языка из другого.

Чужой звук (которому нет тожественного соответствия в родной системе) оказывается, конечно, как непривычный, трудным, и заимствующее мышление, не будучи в силах повторить произношение копируемого слова, естественно, подменяет в нем данный звук ближайше похожим на него звуком своей системы.

Таким образом, здесь имеет место конвергенция I категории, только конвергенты ее принадлежат не к единому языковому мышлению старшего (родного) поколения, а к разным системам: пассивный (ассимилируемый) конвергент — к чужой, а активный (ассимилирующий) — к своей фонетической системе. Так, например, заменено в киргизском и узбекском персидское *f* через привычное *p* (*fil* > узбекск. *pil* «слон», арабск. معارف ташк. *mæ'rıp* «просвещение»). То же самое имело место порою и при (древнейшем) славянском заимствовании слов с *f* : нем. *volk* > слав.

плъкъ (*полк*)[1]. То же было и при заимствовании китайских слов древнеяпонским, в котором отсутствовало *ƒ* (появившееся лишь позднее): *ƒ* > **p*, т. е. кит. *ƒ* × японск.**p*, из которого дальше — уже путем изолированного (внеконвергентного) развития — новое японск. *ƒ*>*h*. Пример этой последней внеконвергентной эволюции **p*>*ƒ*, подтверждающейся и другими языками (например, арабск. *ƒ* из общесемитск. **p*), указывает, что, согласно общей тенденции к экономии произносительной энергии, нормальной судьбой *p* в изолированном внеконвергентном развитии был переход в спирант *ƒ*, т. е. утрата губной смычки, замена ее губным (первоначально, во всяком случае, губно-губным) сужением (т.е. ослабление губной мускульной энергии). А между тем, в указанных узбекск. (и киргизск.) *p*<персидск. и арабск. *ƒ*, слав. *p*<герм. *ƒ* (*folk*), японск. ** p* < кит. *ƒ* констатируется обратное направление, что приходится отнести, конечно, за счет самодовлеющей функции конвергенции.

Другие примеры конвергенций I категории при гибридизации системы (при заимствованиях из иностранных языков): греч. φ не всегда усваивается в славянских языках, заменяясь через *хв* (малорусское *Хведор*) и *в* (в сербских говорах: *Вилип*<греч. φι-λίππος); эстонск. *v*<нем. *ƒ* (рядом со спорадическими более древними случаями *p*<*ƒ*).

Англ. θ (*th* глухое) дает в японск. *s* (т. е. англ. θ × японск. *s*> >японск. *s*), а соответствующий звонкий ð (*th* звонкое) — японск. *z* — *dz*.

При заимствованиях из французского японское (как и тагальское) мышление готово подставить свою фонему *u* вместо следующих французских гласных звуков: 1) франц. *ou*, 2) франц. *u*, 3) франц. *eu* (узкое — слов *peu*, *deux* и т. д.), 4) франц. *eu* (широкое, пишущееся также через *oeu* или *e* и имеющееся в словах *peur*, *boeuf*, *te*, *de*).

Но, могут спросить меня, если причина для пассивности конвергента при заимствовании взрослым — в непривычности данного звука (почему он и заменяется своим, привычным), то какая же привычность активного конвергента может быть у ребенка, еще не усвоившего фонетической системы? Оказывается, не все звуки усваиваются ребенком одновременно: артикуляционно более трудные идут позади. Вот почему они и могут уподобляться более легким, вперед усваиваемым.

Конвергенции II категории устраняют не трудность произношения артикуляционно сложного звука, а трудность различения двух имеющих сходство (а потому и могущих конвергировать) фонетических представлений. Потому и условия этой категории конвергенций совершенно отличны.

Применение теории конвергенций (с ее законами для обеих — I и II категорий конвергенций) к объяснению фонетических изменений дает возможность исчерпывающего генетического анализа таких неожиданных (противоречащих нормальному для изолированной эволюции ходу развития) процессов, как, например, албанск. *s*>*g′* (*г* мягкое) [вопрос проясняется, если принять в расчет конвергенцию *s* × *j*>*g′* (*г* мягкое); ср. *j*>*дж* и *г* мягкое в ряде языков] или переход индоевропейского *s*>*ƒ* (в начале слова) или *s*>*b* (внутри слова) в позиции перед *r* в латинском: *frigus* < *srigos*, *membrum* < *mensrom*, *consobrinus* < *consvesrinos*, *tenebrae* < < *temsrai* и т. д. (изменение это — результат двух последовательных конвергенций: *sr* × θ*r*>θ*r* и θ × *ƒ*>*ƒ*, откуда *b* внутри слова в соседстве с *r*).

В итоге теория конвергенций вместе с нормами изолированных внеконвергентных развитий, как видно из сказанного, дает возможность

[1] Полк в составе войска составлялся единой этнической группой — племенем или народом (*volk*).

полностью мотивировать (физиологическими и психическими факторами) факты фонетической эволюции, т. е. доказывать, что достижение данного рефлекса есть единственно возможное и необходимое при данных привходящих условиях[1] изменение. Это выводит дисциплину фонетической историологии из области догадок на путь строгой законности и даже позволяет не только говорить о генезисе прошлого и настоящего, но и о будущем звуковом составе языка. Так, в одной из моих полусерьезных статей («Категория палатализованных согласных и ее относительная историческая неустойчивость») я попытался дать образчики русской и японской речи — как она будет звучать через несколько столетий: в ту эпоху, когда в русском и японских языках будет уже изжита категория палатализованных («мяґких») согласных.

Дальнейшие подробности по теории конвергенции см. в моих статьях, вошедших в сборник в честь А. Э. Шмидта.

---

[1] К таким привходящим условиям относится то обстоятельство, сопряжена ли данная конвергенция с дивергенцией конвергента или нет. Например, в греч. переходе $k^w > \pi$ (т. е. в конвергенции $k^w \times \pi > \pi$) участвовала только часть (в ионийско-аттическом диалекте) случаев фонемы $*k^w$. Этим было обусловлено то, что остальные ее случаи — именно в положении перед передними гласными [которые, видимо, в данном диалекте были «смягченными», т. е. заднеязычными лабиализованными палатализованными согласными (какие, например, представлены в современных нагасакских говорах японского языка в слогах, которые русским письмом приходится передавать через *кя, гя*)] оказались настолько немногочисленными, что не могли уже сохраниться за отдельным звукопредставлением и должны были конвергировать с акустически ближайшим своим соседом, каким оказался для мягкого k^w звук t, для мягкого g^w — звук d. Без принятия же в расчет первой конвергенции ($k^w \times \pi > \pi$) эта вторая (k^wмягкое $\times t > t$) генетически непонятна. Ср. тот же фактор (дивергенцию) в русском переходе $ъ > o$ при переходе в нуль прочих случаев фонемы ъ.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1957

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

М. В. ПАНОВ

О ПРЕПОДАВАНИИ «ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

Задачи курса «История языкознания» достаточно сложны. Он должен показать непрерывность лингвистической традиции; объяснить взаимодействие и связь собственно лингвистических убеждений и мировоззрения; нарисовать историю взаимодействия языкознания с другими науками; изучить борьбу школ и течений, постепенную разработку новых приемов лингвистического исследования; исследовать процесс создания, причины возникновения и смены научных концепций; оценить значительность каждого вклада в науку, сравнивая его не только с современностью, но и с «предшественностью»; проследить общие закономерности в изменении лингвистических идей. Надо, иначе говоря, установить закономерности развития лингвистической науки. В зависимости от особых педагогических задач этот курс может приближаться к другим курсам, взаимодействовать с ними. В университете он близок по задачам к курсу «Общее языкознание», на ифаках педвузов связан с курсом «История грамматических учений», на литфаках тех же педвузов он стоит в одном ряду с курсами «История критики», «История педагогики» и т. д. Но, взаимодействуя и кооперируясь с этими дисциплинами, курс «История языкознания» всегда сохраняет свою самостоятельность, свои особые внутренние задачи.

В дальнейшем я остановлюсь на тех вопросах, которые возникли при чтении лекций по курсу «История отечественного языкознания» на факультете русского языка и литературы педагогического института[1].

*

Очень часто мы в любой лингвистической дискуссии стараемся найти борьбу материализма с идеализмом. Иногда это удается сделать только путем целого ряда натяжек. Нет никакого сомнения, что борьба материалистической и идеалистической мысли в языкознании — важная сторона истории этой науки, но к ней не сводится вся история языкознания. Философское истолкование фактов языка важно и необходимо; но для языкознания это только одна сторона дела — есть и собственно языковедческое их истолкование; языкознание связано с философией языка, но не растворяется в ней.

Все мы считаем — думается, с основанием — материалистическими взгляды М. В. Ломоносова, высказанные им в «Первом наставлении» его «Российской грамматики». Но эти материалистические взгляды не встретили в языкознании противодействующей критики; критика труда

[1] Лекции читаются в качестве спецкурса.

Ломоносова в последующей традиции пошла по иной линии; спорили о его видо-временной схеме глагольных форм, о правильности грамматических норм, указанных Ломоносовым, и т. д. С другой стороны, идеалистическая философская концепция А. А. Потебни, построенная на основе языковедческих исследований, в языковедении тоже не породила никаких дискуссий. Философский вывод, что имманентно развивающийся язык направляет развитие национальной мысли, порождает индивидуальные явления науки и искусства каждого народа, — этот вывод оказался бесплодным для языкознания и был оставлен в тени. Языковеды спорили с А. А. Потебней по вопросам, не связанным с борьбой двух философских течений. Таким был, например, вопрос о фонетических законах; такими были вопросы: являются ли смены грамматических конструкций, которые устанавливал А. А. Потебня, подлинными сменами или это образования синхронные; действительно ли взаимосвязаны и взаимообусловлены два движения в синтаксисе: усиление «синтаксической перспективы», т. е. дифференциации членов предложения, и увеличение «слитности», синтаксического единства предложения? А это все проблемы, не связанные с основным вопросом философии о первичности духа или материи.

С. Д. Никифоров писал: «Идеалистическое толкование категории наклонения находим у М. Н. Петерсона: «Форма наклонения выражает отношение говорящего к мыслимости явлений, о которых говорящий сообщает. Явления эти могут мыслиться как действительно происходящие... как требуемые, желаемые...». Само собою разумеется, что в языке как важнейшем средстве человеческого общения категория наклонения выражает не «отношения говорящего к мыслимости явлений», а отношение обозначенного глаголом действия к реальной действительности»[1]. Каково же может быть отношение каждого данного действия к действительности? Очевидно, что это действие само есть «частица, клеточка» действительности. Никакого идеализма в определении М. Н. Петерсона (может быть, и не во всех отношениях удачном) обнаружить нельзя. Так же неудачны и попытки объявить субъективно-идеалистическими некоторые определения временных глагольных значений. Это было кратко и очень убедительно показано А. И. Смирницким[2].

Не будучи главной и единственно существенной стороной развития языковедения, борьба материализма с идеализмом все же очень важна в истории нашей науки. В результате энергичных поисков идеализма в лингвистических трудах, написанных до 1950 г., языкознание оказалось единственной наукой, не имеющей никакого материалистического прошлого. Знаменитые слова В. И. Ленина о солидной материалистической традиции в России мы относили ко всем наукам — к социологическим, философским (Белинский, Герцен, Чернышевский), к биологическим (эволюционисты от Каверзнева до Сеченова и Павлова), к точным, но не к языкознанию. Получалось, что материалистическую традицию в русской лингвистике представляли лишь М. В. Ломоносов (потому что его естественнонаучные труды материалистичны) и Н. Г. Чернышевский (он ведь автор философских, эстетических, публицистических работ, написанных в духе материализма).

Между тем материалистическая линия в русском языкознании гораздо более заметна. Материализм и идеализм очень часто борются в трудах одного и того же ученого. Например, в исследованиях Ф. И. Бус-

[1] С. Д. Никифоров, Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века, М., 1952, стр. 12.

[2] См. «Ин. яз. в шк.», 1953, № 2, стр. 109.

лаева можно найти столкновение той и другой философской традиции[1]. То же самое у И. А. Бодуэна де Куртенэ: с одной стороны, это «наивный материалист», как верно определил основную линию его философских взглядов Л. В. Щерба; с другой стороны, он иногда склонен был делать серьезные уступки идеалистам (за что ухватились многие «проработчики», раздувая, необъективно преувеличивая эту сторону его взглядов).

При исследовании философских тенденций в творчестве того или иного ученого необходимо отличать случайные оговорки от внутренне оправданных и подготовленных заключений. У А. А. Шахматова читаем: «Род. пад. имени означает, что представление, соответствующее имени, находится в пределах действия, выраженного глаголом, затрагиваясь им лишь отчасти... Твор. пад. имени означает, что действие совершается при помощи представления об этом имени, что это представление — орудие действия»[2]. Здесь легче легкого заметить неточность: не п р е д с т а в л е н и е — орудие действия. При желании можно сделать вывод: А. А. Шахматов по-махистски рассматривает действительность как представление; но ведь ясно, что это просто оговорка (может быть, сделанная под влиянием ходячей философской фразеологии); никаких последствий для дальнейшего изложения материала в книге она не имеет.

*

Положение лингвистики среди других наук очень своеобразно. Языкознание принадлежит к общественным наукам. Оно связано с философией, психологией, историей, социологией. Но от других общественных наук его отличает то, что оно исследует такое общественное явление, которое нельзя считать классовым, надстроечным или базисным. Отсюда — и сложность вопроса, в какой мере этапы развития языкознания можно делить на феодальный (дворянский), буржуазный, социалистический?

Классовая борьба находит отражение в языкознании. Не бескорыстной в социальном отношении была языковедческая деятельность, например, А. Шишкова, П. Греча. Но справедливость требует сказать, что все классики нашего языкознания — А. Х. Востоков, А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов — в своих собственно языковедческих трудах не были защитниками той или иной узкой социальной группировки. Может быть, этих языковедов следует считать буржуазными учеными, поскольку их языковедческим взглядам присуща историческая ограниченность, связанная с буржуазным этапом развития общества? В этом случае необходимо определить, в чем заключается такая ограниченность и почему ее надо считать буржуазной. Каждый исследователь «ограничен» знаниями своей эпохи (некоторые из которых он сам помог добыть). Ф. Ф. Фортунатов, разумеется, не знал того, что стало известно советским исследователям. Дает ли это нам право говорить о том, что он представитель буржуазного языкознания?

Если напоминание о кадетских политических взглядах А. А. Шахматова помогает нам уяснить эволюцию его взглядов на происхождение русского аканья, на систему русских говоров, на типы синтаксического строения предложений, тогда такое упоминание должно быть сделано в курсе «История языкознания», а сам А. А. Шахматов должен рассматриваться как буржуазный языковед. В противном случае «кадетство» Шахматова останется фактом его личной, а не научной биографии. Серьезно

[1] Ср. критику материалистических сторон языковой концепции Ф. И Буслаева в рецензии А. [А.] М а й к о в а на «Историческую грамматику» Ф. И. Буслаева («Библиотека для чтения», 1859, ноябрь, стр. 13—18).

[2] А. А. Ш а х м а т о в, Очерк современного русского литературного языка, М., 1941, стр. 122.

и строго подходя к вопросу, мы в одних случаях, при анализе одних работ можем и должны говорить о буржуазном языкознании, в других — лучше обойтись без ярлыка.

*

В курсе «История языкознания» необходимо показать, как разрабатывались новые научные концепции, как создавались методы лингвистического исследования. Надо дать глубокий анализ борьбы мнений, теорий, школ, направлений в языкознании. Чем обусловлена эта борьба? Отчасти — наличием двух философских линий, отражающихся и в лингвистических исследованиях. Сами эти философские линии имеют, как известно, свои социальные и гносеологические корни. Но борьба материализма и идеализма только в некоторых случаях объясняет историческую смену мнений и теорий в языкознании.

Борьба мнений в языкознании иногда обусловлена самим развитием объекта изучения — языка. А. Х. Востоков в своей работе «Русская грамматика» впервые указал на важный грамматический признак предложения: необходимость спрягаемого глагола. Это определение было важным шагом в развитии теории предложения: до А. Х. Востокова (и долгое время после него) предложение просто приравнивали к суждению. Многие языковеды последующих лет определяли предложение по-востоковски («спрягаемый глагол и слова, с ним грамматически связанные»). В начале XIX в. назывные предложения только еще искали пути в литературный язык, не могли считаться нормой для него[1]. Для того времени определение Востокова было справедливым. Но развитие категории назывных предложений в языке показало ограниченность этого определения: оно оказалось верным лишь для известной эпохи, и последующие школы, в той или иной степени развивая и дополняя теорию предложения, должны были отказаться от односторонности определения, данного Востоковым. Борьба, возникшая вокруг этого определения, до известной степени была обусловлена изменчивостью, развитием самого языка.

Объем наших знаний о языке может увеличиваться и по другим причинам. Открытие новых фактов — одним они кажутся существенно меняющими дело, другие видят в них случайную аномалию — ведет к борьбе мнений, к созданию новых теорий. Известно, например, какое значение для языкознания имело изучение санскрита. Но есть еще причина, вызывающая борьбу мнений, и она — одна из важнейших: существуют определенные внутренние законы, по которым «развертываются» гипотезы или теории.

Энгельс так рисует этапы развития теоретической мысли: «Когда мы подвергаем мысленному рассмотрению природу или историю человечества, или нашу собственную духовную деятельность, то перед нами сперва возникает картина бесконечного сплетения связей и взаимодействий, в которой ничто не остается неподвижным и неизменным, а все движется, изменяется, возникает и исчезает. [Таким образом, мы видим сперва общую картину, в которой частности пока более или менее отступают на задний план, мы больше обращаем внимание на движение, на переходы и связи, чем на то, *что* именно движется, переходит, находится в связи]»[2]. Это «первое, наивное воззрение обыкновенно правильнее, чем позднейшее, метафизическое»[3].

[1] См. статью Л. Б. Перльмуттера «Назывные предложения и их стилистическая роль» («Р. яз. в шк.», 1938, № 2).

[2] Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1951, стр. 20.

[3] Ф. Энгельс, Диалектика природы, Госполитиздат, 1950, стр. 224.

«Несмотря, однако, на то, что этот взгляд верно схватывает общий характер всей картины явлений, он все же недостаточен для объяснения частностей, из которых она слагается, а пока мы не знаем их, нам не ясна и общая картина. Чтобы познавать отдельные стороны (частности), мы вынуждены вырывать их из их естественной или исторической связи и исследовать каждую в отдельности по ее свойствам, по ее особым причинам и следствиям и т. д.»[1]. Выходом из второго периода, периода познания «отдельностей», является третий (ступень отрицания отрицания), когда накопленный материал обобщается и осмысляется в его единстве, в его различиях и связях.

Многие взгляды в языкознании развивались по этому пути. Возьмем историю изучения вида и времени у глагола. М. В. Ломоносов считает временными формами одного глагола такие морфологические единицы: *бросаю — бросал — бросил — брасывал — буду бросать — брошу*; или: *пишу — писал — буду писать — напишу*. Для Ломоносова все это — временные категории, видоизменения одной величины. Видовые значения уже были очень тонко уловлены исследователем; об этом говорят такие характеристики: «Прошедшее неопределенное время заключает в себе некоторое деяния продолжение или учащение и значит иногда дело совершенное: *Гомер писал о гневе Ахиллесове*; иногда несовершенное: *он тогда ко мне пришол, как я писал...*»[2].

«Будущее неопределенное, — пишет далее Ломоносов, — значит будущее деяние, которого совершение неизвестно;...прошедшее и будущее совершенное значат полное совершение деяния»[3]. Таким образом, М. В. Ломоносовым уже было точно определено значение глаголов совершенного и несовершенного вида. Но ряд временных видоизменений не был отграничен от ряда видовых изменений — они представлялись одним целым; видоизменения одной лексемы объединялись с видоизменениями другой лексемы (*плескал — плеснул*); не разграничивались синтетические и аналитические формы (*плеснул — бывало плескал*).

Все это было задачей следующего периода в развитии теории видов. Работы А. В. Болдырева, А. Х. Востокова, А. А. Потебни намечали все более и более определенно разграничение категорий вида и времени. Стремление оттолкнуться от ломоносовского учения и выделить, подчеркнуть категорию вида привело к изобретательным и интересным крайностям взглядов К. С. Аксакова и Н. П. Некрасова.

Последующая традиция, как будто, снова поворачивает к Ломоносову. И сейчас многие теоретики согласятся, что формы *бросал — бросаю — буду бросать — бросил — брошу — брасывал* принадлежат одной лексеме. Разница т о л ь к о в одном: в названиях этих форм. *Бросал* — не «прошедшее неопределенное», а «прошедшее несовершенного вида». Но это т о л ь к о — весьма значительно: новое название вобрало в себя долгий опыт языковедческих исследований и сопоставлений. А те лингвисты, которые не считают морфологические образования *бросил — бросал — брасывал* принадлежащими одной лексеме, указывают на сложные лексико-грамматические взаимоотношения между различающимися по виду глаголами, изучают видовые и временные категории в их многосторонних взаимосвязях как единую систему (но не внутри одной лексемы). И здесь вся совокупность глагольных форм изучается, как и в

[1] Ф. Э н г е л ь с, Анти-Дюринг, стр. 20—21.

[2] М. В. Л о м о н о с о в, Полное собр. соч., т. 7, М. — Л., 1952, стр. 480. Иначе говоря, «глаголы несовершенного вида выражают процесс без указания на его законченность» (Р. И. А в а н е с о в и В. Н. С и д о р о в, Очерк грамматики русского литературного языка, ч. I, М., 1945, стр. 166).

[3] М. В. Л о м о н о с о в, указ. соч., стр. 481.

эпоху Ломоносова, в ее единстве. Но это не возврат к старому, скорее — «подъем по спирали».

Многие другие лингвистические теории развиваются, проходя подобные же этапы. Закономерность в развитии теоретической мысли, указанная Ф. Энгельсом, несомненно, не является единственной. Исследование таких закономерностей необходимо.

Часто возникают опасения: не делаем ли мы опасной уступки идеализму, если говорим об определенных закономерностях в развитии мысли, которые не прямо связаны с изменением объекта мысли, а обусловлены самим поступательным ходом исследования? Думается, эти опасения неосновательны.

Существуют законы логики — «синхронные» законы мышления; они, действуя одновременно и вместе, направляют мысль. Эти законы — не автономное порождение мысли как мысли, а своеобразное отражение законов действительности. Положение это достаточно четко развернуто советскими логиками[1]. Следовательно, действительность отражается в понятиях, суждениях, умозаключениях — и в самих законах, по которым эти суждения и умозаключения строятся.

Так же и «диахронные» законы[2], законы смены одних «синхронных» теоретических построений другими, отражают определенные диалектические закономерности действительности. Реальность этих законов — несомненный факт.

*

Практическая деятельность — важнейший стимул развития науки. Но взаимоотношения науки и практики тоже исторически изменчивы. Языкознание, как и другие науки, в истоках своих было чисто прикладной дисциплиной. Этот характер лингвистика сохраняла в России до середины XVIII в. «Российская грамматика» Ломоносова — учебник; цель его — научить правильно пользоваться литературным языком. «Разговор об ортографии» Тредиаковского — по задачам своим — инструкция (весьма объемистая) к составлению алфавита и свода орфографических правил. Неприкладных трудов по языкознанию в те времена еще не существует. Наука выполняет «разовые», для каждого случая узко ограниченные задания практики. Она является собранием рецептов, хотя бы и составленных обдуманно, тщательно, с толком. Таково «прикладное направление, характеризующее младенчество науки» (К. А. Тимирязев).

В дальнейшем связи языкознания и практики перестают быть столь непосредственными и простыми. Заметный перелом наступает в начале XIX в. У П. Соколова, И. Давыдова языкознание все еще представлено жанром учебника или наставления учащемуся. А. Х. Востоков свою «Русскую грамматику» выпускает уже в двух редакциях: сокращенная — учебник; «пространно изложенная» — теоретический труд, не ставящий узко прикладных целей.

Поскольку практика настойчиво и непрерывно напоминает, что научные исследования имеют или будут иметь не сегодня, так завтра деловую, конкретную ценность, постольку научное развитие получает известный кредит: возникают чисто теоретические построения, которые лишь в будущем при каких-то условиях могут оказаться практически полезными. Этот кредит нужен и научному исследованию, и еще более практике: ей уже недостаточно рецептов, нужны всесторонне обоснованные и на-

[1] См. В. Ф. Асмус, Логика, Госполитиздат, 1947, стр. 12 и сл.

[2] Разумеется, слова «синхронные», «диахронные» здесь употребляются до известной степени метафорически (по отношению к соответствующим терминам языкознания).

дежные рекомендации, и ради надежности их необходима разработка многих отвлеченных теорий, которые сами по себе кажутся оторванными от практики.

В 70-х годах XIX в. были разработаны основы фонологии (в трудах Бодуэна де Куртенэ). Это было чисто теоретическое построение, абстракция высокой степени. Практические плоды эта теория принесла через 60 лет; лишь с 30-х годов XX в. она помогает решать вопросы создания новых алфавитов, упорядочения орфографии и т. д. Связь науки с практикой не оборвалась, но стала сложнее. Сложные, многообразные, непрямые, исторически изменяющиеся формы взаимодействия теории с практикой должны быть освещены в курсе «История языкознания». При этом необходимо подчеркивать право науки на «задел», на «абстрактное теоретизирование» — именно оно и даст в конце концов наиболее надежный практический результат.

*

Языкознание взаимодействует с другими науками. Исторически изменчиво и это взаимодействие. В эпоху господства рационалистической, «философской» грамматики лингвистическая наука порабощена логикой. Это — тяжелая зависимость: законы одной науки выкраиваются по мерке другой. Сама эта бесправная зависимость от «ментора» — свидетельство младенчества языкознания. Борьба с логицизмом занимает большой период истории лингвистики.

Во второй половине XIX в. языкознание стало данником психологии; но здесь уже иные взаимоотношения. Вспомним, например, «психологизм» А. А. Потебни. Действительно, А. А. Потебня отдал щедрую дань психологизму. Но пафос[1] его деятельности был определен именно лингвистическими целями; они не были принесены в жертву психологии.

В чем же заключается пафос его деятельности? Потебня показал в своих трудах непрерывную текучесть, бесконечную изменчивость, «постоянное непостоянство» языка. Все время меняется значение слова, каждое новое применение слова — это по существу новое слово; более того: повторение слова в разных контекстах — это уже его существеннейшее изменение; и еще более того: даже единожды произнесенное слово для произносителя и для слушателя — разные единицы. Ярко творчески и своеобразно претворил Потебня в своих трудах положение В. Гумбольдта: язык — не вещь, а деятельность. Язык Потебня изучал в его мгновенных речевых преломлениях, в его непрерывном течении. Исторически изменчивы и слово, и предложение; многообразные следы этой изменчивости обнаруживаются при сопоставлении родственных языков.

Историческое языкознание до Потебни было в значительной степени механистично. Действовали формулы: явление А вытеснено явлением Б; место А заняло Б; А выпадает, освобождая место для Б. Вопрос о том, откуда это «заменяющее» Б и почему оно заменяет, оставался нерешенным или решенным лишь формально (заимствовано из говора, из иного типа склонения и т. д.). У Потебни А «превращается», «изменяется», «п е р е т е к а е т» в Б. Проследить диалектически противоречивое, непрерывно-изменчивое развитие языка — вот та большая задача, которая вдохновляла Потебню-лингвиста. И при выполнении этой задачи естественно было опереться на психологию: во-первых, потому, что психология в ту эпоху овладевала диалектикой последовательнее, активнее, чем языкознание; во-вторых, потому, что непрерывный поток человеческой мысли действи-

[1] Слово *пафос* здесь разумеем в том смысле, какой был придан ему В. Г. Белинским в статьях о Пушкине (см. В. Г. Б е л и н с к и й, Полное собр. соч., т. VII, М., 1955, стр. 311—315).

тельно объясняет многое и существенное в процессе непрерывной изменчивости языка. Для Потебни психологизм был удобной формой, которая позволяла выявить лингвистическое содержание его теории.

Иным был психологизм И. А. Бодуэна де Куртенэ. Идея, объединяющая едва ли не все его работы, — это идея различения синхронности и диахронности в языке («статической» и «динамической» лингвистики, по терминологии самого Бодуэна). Эта идея была продолжением и последовательным развитием исторического языкознания; она означала: одну эпоху развития языка нельзя мерить аршином другой эпохи; необходимо полностью избавиться от представления, что в вечно изменяющейся системе языка остаются отдельные «острова», отдельные неизмененные элементы. Такой взгляд был ранее распространен: язык определенной эпохи рассматривали как конгломерат новых, древних и древнейших явлений. Уже Потебня замечал, что в языке от присутствия нового изменяется и сущность стоящего возле древнего, это древнее обновляется и само становится иным. Дальнейшее развитие этих идей и выдвинуло концепцию Бодуэна.

Где же критерий, позволяющий отделить подлинное живое в языке данной эпохи от мертвого, принадлежащего прошлому? Бодуэн нашел этот критерий в сознании говорящих. То, что доступно и ясно чутью говорящих, принадлежит языку их эпохи. Отсюда — склонность к психологизму, с течением времени все разраставшаяся у Бодуэна. И у него психологизм был формой выявления и защиты лингвистического содержания его теории.

В работах по истории языкознания, к сожалению, обычно обращают внимание только на эту психологическую оболочку, на форму, в которой идет защита лингвистической концепции, а самое существо этой концепции нередко ускользает от внимания. Если в программах по истории языкознания уделена всего одна строчка Бодуэну, то, конечно, сказано только одно: что он психологист. Это считается самым важным. Получается, что подчинение лингвистики логике заменилось таким же подчинением психологической науке. На самом деле это не так: языкознание уже не следует послушно за выводами другой науки, а использует их в своих целях. Но, с другой стороны, психологическая «поддержка» нужна была языкознанию отчасти и потому, что не хватало собственно языковедческого, п о с л е д о в а т е л ь н о-языковедческого обоснования теории. Некоторые ее участки, «пролеты», не выдерживали собственной тяжести, провисали — и вот к ним были подставлены психологические «быки», подпорки. В дальнейшем синхроническое изучение языка было разработано на чисто лингвистической основе.

У Ф. Ф. Фортунатова исследование языка выступает уже без всяких нелингвистических одеяний и оболочек; тем самым открывается путь к свободному и равноправному «кооперированию» наук. Обычное мнение, что и Фортунатов был психологист, — совершенно ложно, оно возникло благодаря тому, что Фортунатова «подравняли» к младограмматикам и приписали ему все младограмматические достоинства и промахи. Ф. Ф. Фортунатов к данным психологии прибегает очень редко, и его теории всегда достаточно обоснованы лингвистически; психологические экскурсы служат или способом популярного разъяснения этих теорий, или косвенным подтверждением их, или раскрытием, истолкованием с психологической стороны специфически языковых закономерностей. Например, определяя предложение, Фортунатов подчеркивает его функциональные отличия: оно не называет, а сообщает; это все разъясняется в популярной «психологической» форме.

В курсе «История языкознания» необходимо отметить разные типы

взаимодействия наук, и — самое главное — надо за внешними формами «психологизма», «биологизма», «этнографизма» видеть внутреннее существо лингвистических теорий.

*

Наша наука издавна развивается, творчески воспринимая и перерабатывая лучшее, что создано на Западе. В рассматриваемом курсе поэтому не обойтись без сжатого анализа деятельности ряда крупнейших зарубежных ученых. Освещая деятельность А. А. Потебни, нельзя не рассказать о трудах В. Гумбольдта. Необходимо подчеркнуть схождения и расхождения с младограмматиками у Ф. Ф. Фортунатова и И. А. Бодуэна де Куртенэ. В своих теориях Бодуэн продолжал не только традиции русского языкознания (А. А. Потебни; М. А. Тулова и П. К. Услара; И. И. Срезневского), но и польского (Мрозинского и др.). Это также должно быть отмечено.

Сопоставления работ отечественных и западных ученых должны быть строго объективны. Слишком много у нас читалось лекций, где все сопоставления своего и «чужого» преследуют одну цель: показать товар лицом. Студентам оставалось на выбор: или признать, что наука развивалась только у нас, или глубокомысленно заключить, что какое ни возьми «наше» исследование —на Западе можно подобрать гораздо хуже.

Строго объективное исследование покажет, что у нас есть чем гордиться, но это же исследование подчеркнет, что творчество русских ученых никогда не было изолировано от западного научного опыта. Оригинальность путей, которыми шли отечественные ученые, в значительной степени обусловлена критическим усвоением опыта западнославянской, германской, французской филологии. Традиции русских и западноевропейских ученых — не две враждующие и взаимоисключающие стихии; они, напротив, взаимодействуют и дополняют друг друга.

А. Х. Востоков, например, подошел к сравнительно-историческому исследованию языков иным путем, чем Бопп и Раск. Бопп, как известно, первоначально ставил себе целью найти в глагольных флексиях индоевропейских языков видоизмененную, преобразованную связку «быть». Это дало бы возможность научно подтвердить тождество суждения (субъект — связка — предикат) и предложения. Глагол-сказуемое оказался бы объединителем логических единиц: связки и предиката. Таким образом, в истоке всех поисков Боппа лежит мысль о соотношениях языка и мышления, суждения и предложения. Решая эту задачу, Бопп далеко отошел от своих первоначальных целей. Раск в первую очередь стремился установить родственные связи ряда германских языков. Все эти цели были чужды Востокову. Он рано сумел преодолеть схемы рационалистической грамматики, сумел отказаться от приравнивания предложения к суждению. Об этом говорит его «Русская грамматика». Определяющим признаком предложения, по Востокову, оказывается наличие спрягаемого глагола — примета вполне языковая, не логицистская. Доказывать родство славянских языков Востоков также не считал необходимым: родство это достаточно очевидно. Цель его была иной — сравнивая языки, определить признаки, особенности некоторых мертвых языков, в частности старославянского. Справедливы слова И. И. Срезневского,что А. Х. Востоков, «никем не предупрежденный, сам собою попавший на прямую дорогу, в то время, когда на западе Европы еще не чуялось свежее дыханье нового исторического направления филологии и языкознания»[1], высказал и обосновал взгляды, исключительно новые для своего времени.

[1] И. Срезневский, Обозрение научных трудов А. Х. Востокова, в кн.: А. Х. Востоков, Филологические наблюдения, СПб., 1865, стр. LV.

Сразу использовав сравнительно-исторический метод по его прямому назначению, Востоков в своих исследованиях стремился к установлению предельно-точных, не знающих исключений фонетических соответствий между родственными языками. Этого требовала сама цель его исследования — установление звуковых особенностей старославянского языка. Встречая исключения, Востоков верно нащупывал некоторые пути к их объяснению. Например, сопоставляя формы род. падежа ед. числа *дoушѧ*, *волѧ* (старослав.) — *duszy*, *woli* (польск.), Востоков предполагает, что польский язык в этих формах «издревле не имел» носового произношения (т. е. предполагает диалектные расхождения в самом общеславянском языке) или «потерял оное». (Как видим, ученому еще чужда была мысль об аналогических изменениях в языке.) Убеждение Востокова в невозможности необусловленных, в одном только слове (или в одном форманте) обнаруженных случайных уклонений от фонетических законов оказало большое влияние на последующее развитие отечественной науки. Эту идею поддержал И. И. Срезневский; его ученик И. А. Бодуэн де Куртенэ превратил ее в строгий принцип исследования (раньше, чем это сделали младограмматики на Западе).

У Боппа и многих других первооткрывателей-компаративистов не было такой строгости в их фонетических сопоставлениях: сама цель исследования не требовала этого; у Боппа она даже мешала такой строгости. Открытие логической связки в глагольных флексиях требовало некоторых вольностей в обращении с фактами. Самое развитие сравнительно-исторического метода у Боппа было постепенным преодолением первоначальных целей исследования.

По словам Томсена, «...хотя Бопп и говорит о характерных для различных языков звуковых переходах как о „физических" законах, но сам все же не признает их таковыми, так как позволяет себе постоянно устанавливать всевозможные исключения из них; в общем он рассматривает эту сторону предмета, подобно Раску, с большой для себя свободой, и она играет у него довольно подчиненную роль»[1].

Большой выигрыш Востокова был, однако, связан и с определенным проигрышем. Точность исследования была завоевана за счет его широты. Востоков ограничился только сопоставлением славянских языков, оставив в стороне все другие индоевропейские, в том числе и языки балтийской ветви. Это, разумеется, во многом обеднило фактические результаты исследования. Недостатки работы, как это часто бывает, оказались прямым продолжением ее достоинств. Было бы неверным, анализируя в курсе лекций деятельность русских языковедов, останавливаться только на преимуществах их работ, оставляя в тени те недостатки, те ограничения, которые внутренне связаны с этими достоинствами и прямо продолжают их.

*

Задачи курса «История отечественного языкознания» велики и тем более трудны, что у нас очень мало полноценных трудов о разных исследовательских школах, о трудах наших языковедов. Нерешенных вопросов накопилось множество — и все требуют серьезного обсуждения. В этих заметках были упомянуты только некоторые — очень немногие — из самых «наболевших» вопросов.

---

[1] В. Томсен, История языковедения до конца XIX века, М., 1938, стр. 61—62.

№ 3 1957

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

С. Е. ЯХОНТОВ

ПРОЕКТ КИТАЙСКОГО АЛФАВИТА

Как известно, в феврале 1956 г. в Китае был опубликован «Проект фонетического алфавита китайского языка», составленный Комитетом по реформе китайской письменности. Вслед за тем развернулось широкое обсуждение проекта, в ходе которого было высказано немало интересных замечаний и предложений[1]. Проект вызвал отклики и за пределами КНР, в частности в Советском Союзе[2] и в Японии. Выяснилось, что ряд деталей проекта вызывает серьезные возражения. Рассмотрев предложенные поправки, Комитет в августе выдвинул два исправленных варианта проекта, которые в свою очередь были подвергнуты обсуждению. В ноябре 1956 г. один из этих вариантов (№ 1) был принят специальной комиссией при Государственном Совете КНР.

Чтобы правильно оценить как первоначальный проект, так и поправки к нему, полезно сравнить алфавит, составленный в 1956 г., с имевшимися прежде системами записи китайских звуков и посмотреть, из каких основных принципов исходили авторы каждой системы.

До опубликования нынешнего проекта в Китае были широко известны три алфавита — «чжуиньцзыму», романизация (или «гоиньцзыму») и латинизация[3]. Буквы алфавита «чжуиньцзыму» по форме напоминают составные части иероглифов; остальные две системы пользуются латинскими буквами.

Особенностью «чжуиньцзыму», помимо формы букв, является то, что этот алфавит отражает фонологическую структуру китайского слога. В современном китайском языке слог состоит из трех частей, расположенных всегда в одинаковом порядке,— начального согласного (или инициали, *шэнму*), промежуточного гласного (или медиали, *цзешь*) и «рифмы» (или финали, *юньму*); рифма есть в каждом слоге, остальные две части не обязательны. Промежуточным гласным может быть [i, u, y]. Рифма может состоять из гласного, дифтонга или сочетания гласного и носового согласного[4]. Если рифма содержит звук [ə], последний после промежуточных гласных обычно чередуется с нулем. Сами промежуточные гласные при этом становятся слогообразующими, но по-прежнему не входят в состав рифмы. Например, слоги 昇 [ˉʃəŋ],東[ˉtuŋ],星 | ɕiŋ] рифмуются между собой, хотя гласные звуки в них не одинаковы; во всех трех слогах рифмой является [əŋ/ŋ]. Гласные [i, u, y] тоже могут представлять собой рифму, если после них в слоге нет никаких других звуков[5].

Итак, в то время как начальные согласные и промежуточные гласные являются одиночными звуками, рифма может состоять и из двух звуков. В алфавите «чжуиньцзыму» каждая рифма целиком записывается одним знаком, причем всегда одним и тем же, хотя звуковой состав некоторых рифм, как мы видели выше, может меняться под влиянием соседних звуков. В алфавитах, созданных на латинской основе, буквы соответствуют не элементу слога, а отдельным звукам. В сложных рифмах, в том числе в диф-

---

[1] Сводку важнейших замечаний к проекту алфавита см. в журн. «Pinjin» (Пиньинь), 1956, № 1, стр. 10—16. Мнения, неоднократно высказывавшиеся в печати разными лицами, в дальнейшем приводятся без указания на источник. Большая часть их учтена в упомянутой сводке.

[2] См. И. Н. Гальцев, К «Проекту фонетического алфавита китайского языка», «Сов. востоковедение», 1956, № 3, стр. 104—108.

[3] Краткие сведения об этих алфавитах можно найти в статье: Вэй Цюэ, О реформе китайской письменности, «Народный Китай», 1954, № 10, стр. 18—26.

[4] Совершенно особняком стоит слог [əњ], в котором согласный следует за гласным. Подробнее об этом см.: А. А. Драгунов и Е. Н. Драгунова, Структура слога в китайском национальном языке, «Сов. востоковедение», 1955, № 1, стр. 74.

[5] О структуре китайского слога см. там же, стр. 57—60 и сл.

тонгах, каждый звук обозначается отдельно (так же, как записываются дифтонги, например, в немецком языке). Этому же принципу следует и проект 1956 г.

Когда в Китае около 30 лет назад создавались романизация и латинизация, политическая обстановка делала настоящую реформу китайской письменности невозможной; оба алфавита имели сравнительно узкое распространение и были лишены собственной технической базы (типографских шрифтов, пишущих машинок и т. п.). Поэтому авторы этих систем могли использовать только обычный латинский алфавит в том виде, в каком он употребляется в других странах, без каких-либо дополнительных букв или диакритических значков. И в романизации, и в латинизации бо́льшая часть букв используется в их обычном (международном) значении. Если для какого-нибудь звука китайского языка не хватает буквы, прибегают к двубуквенным сочетаниям (диграфам), например *sh*, *ch*, *ng* (в латинизации таких сочетаний пять, в романизации — шесть). Иногда два звука, никогда не встречающиеся в одинаковых условиях, обозначаются одной и той же буквой.

Авторы проекта 1956 г. первоначально пошли по иному пути. Они обозначили каждый звук только одним знаком, а не двумя сразу, причем для некоторых звуков ввели новые, дополнительные буквы (как правило, это были видоизменения обычных латинских букв). Каждая буква (за двумя-тремя исключениями) имела только одно чтение. Китайский алфавит должен был состоять из 30 букв (или 31, если считать *ɿ*, о которой см. ниже). Однако из обоих исправленных вариантов проекта дополнительные буквы были (с некоторыми оговорками) исключены. Вместо них частично введены диграфы; увеличилось также число букв с двойным чтением.

Известно, что каждый слог в китайском языке характеризуется, кроме звуков, входящих в его состав, еще и определенной мелодикой — «тоном». Различие в тоне очень часто является единственным фонетическим признаком, позволяющим отличить одно слово от другого. В пекинском диалекте существует четыре тона; кроме того, слоги, имеющие служебное (грамматическое) значение или представляющие собой вторую часть двухсложных слов, нередко имеют так называемый «легкий тон», т. е. вообще лишены постоянного тона (их действительная мелодика полностью определяется тоном соседних слогов).

В латинизации тон в принципе не обозначался; это было удобно для пишущего, но затрудняло понимание написанного. В романизации, напротив, тон указывался обязательно путем видоизменения написания слога (введения лишних букв, замены одной буквы на другую, удвоения букв и т. п.), например: [ˉtʻiŋ] — *ting*; [ˏtʻiŋ] — *tyng*; [ˇtʻiŋ]—*tiing*; [ˆtʻiŋ]—*tinq*. Существовало около десяти разных способов обозначения тонов (в зависимости от состава слога). «Легкий» тон обозначался иначе, чем другие, а именно: точкой перед слогом. Все это делало графику романизации излишне сложной. В проекте 1956 г. все тона обозначаются специальными значками над гласной буквой — так, как делалось и в «чжуиньцзыму»; правила употребления этих значков пока не уточнены.

Основные общие особенности нового проекта, таким образом, сводятся к следующему: алфавит построен на основе латинского; он должен давать возможность отразить на письме все особенности китайской фонетики, имеющие смыслоразличительное значение (в отличие от латинизации, где не обозначался тон); каждый звук обозначается отдельно (в отличие от «чжуиньцзыму», где дифтонги и другие сложные рифмы обозначались одним знаком, а не двумя); существуют диакритические значки, служащие только для обозначения тонов. В первоначальном варианте проекта каждый звук обозначался одним знаком и каждый знак имел, как правило, только одно чтение, но в обоих исправленных вариантах допускаются и диграфы, и буквы с двояким чтением; в то же время эти два позднейших варианта, так же как романизация и латинизация, ограничиваются употреблением 26 букв обычного латинского алфавита.

При рассмотрении деталей проекта нужно помнить о некоторых предъявляющихся к нему практических требованиях. Например, желательно не употреблять латинские буквы в необычном для них значении, чтобы не затруднять изучение иностранцами китайского языка и изучение иностранных языков в Китае. В применении диграфов, дополнительных букв и т. п. должна быть видна определенная система, которая облегчала бы их запоминание. Наконец, признается необходимым, чтобы тот же самый алфавит с небольшими изменениями и дополнениями был пригоден для записи китайских диалектов и языков национальных меньшинств.

Основная часть букв нового китайского алфавита имеет обычное или близкое к обычному значение; это — *a*, *b*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *k*, *l*, *m*, *n*, *o*, *p*, *s*, *t*, *u*. Все они (кроме *h* и отчасти *g*, *k*) одинаково читаются в романизации, латинизации и во всех вариантах алфавита 1956 г., и употребление их почти ни у кого не вызывает возражений. Поскольку в китайском языке вместо противопоставления согласных по глухости и звонкости существует (у смычных) противопоставление по наличию и отсутствию придыхания, буквы *p*, *t*, *k* обозначают придыхательные, а буквы *b*, *d*, *g* — непридыхательные (слабые глухие) согласные. Буква *h* обозначает задненязычный [x] (в латинизации вместо нее употреблялась буква *x*). Буква *e*, кроме звука [e], обозначает еще [ə] и [ɵʌ]. Наконец, *q*, *k*, *h* в одном из исправленных вариантов проекта имеют, кроме обыч-

ного, еще и второе чтение (об этом нам еще придется говорить подробнее). Остальные буквы из числа названных выше не требуют объяснения.

Из других букв особенно много споров вызывают те, которые служат для обозначения шипящих и «мягких» (среднеязычных) согласных. Китайскому языку свойственны три группы аффрикат и соответствующих им щелевых: свистящие — [ʦ, ʦʰ, s], шипящие— [ʧ, ʧʰ, ʃ] и мягкие — [ʨ, ʨʰ, ɕ]. При этом мягкие согласные возможны только перед [i] или [y], в то время как шипящие и свистящие именно в этих условиях никогда не встречаются. В проекте свистящие аффрикаты предлагается обозначать буквами *z* (непридыхательный звук) и *c* (придыхательный звук), как это было принято в латинизации. Шипящие первоначально предполагалось записывать теми же буквами, что и соответствующие свистящие, но с диакритическим значком — *ʒ ʧ ʃ*; наконец, для мягких сначала были приняты особые буквы — русское *ч* (непридыхательный) и латинские *ʃ* (придыхательный) и *x* (щелевой).

Буквы *q* и *x*, таким образом, были употреблены не в привычном для них значении. Для этого имелись определенные основания. Дело в том, что эти две буквы в латинском алфавите — лишние: *q* обозначает тот же звук, что и *k* (или — в романских языках — *c*), а *x* соответствует сочетанию двух звуков. Многие народы, пользующиеся латинским алфавитом, выбросили из него *q* и *x*. Другие придали им произвольное, необычное значение. В частности, в албанской письменности *q* обозначает глухой среднеязычный звук, близкий к китайскому [ʨʰ], португальцы буквой *x* записывают звук [ʃ], а вьетнамцы — звук [s], немного палатализованный и этим приближающийся к китайскому [ɕ]. Благодаря этим прецедентам употребление букв *q* и *x* для записи китайских мягких согласных вполне допустимо.

По-другому обстоит дело с буквой *ч*. Взятая из славянского алфавита, она была совершенно произвольно употреблена в значении [ʨʰ]— вероятно, по графическому сходству с соответствующим знаком алфавита «чжуиньцзыму». В рукописной форме *ч* трудно отличить от *r*. Кажется, из всех букв первоначального варианта алфавита именно *ч* вызвала больше всего возражений. В ряде статей, содержащих критический разбор проекта, выражалось пожелание заменить эту букву на *j*.

Однако для мягких согласных можно вообще не создавать особых знаков. Эти согласные, по-видимому, не представляют собой отдельных фонем[1]. Как уже упоминалось, они встречаются только перед [i] и [y] и, следовательно, позиционно обусловлены. В то же время в китайском языке есть три группы согласных, никогда не сочетающихся с [i] и [y]: свистящие, шипящие и заднеязычные ([ʧ, kʰ, x]). Буквы, соответствующие звукам любой из этих трех групп, могут быть одновременно употреблены и для обозначения мягких. Поэтому большая часть существующих систем записи китайских звуков не имеет специальных знаков для мягких согласных. Так, русская транскрипция Палладия объединяет мягкие согласные со свистящими, английская транскрипция Уэйда и романизация — с шипящими, латинизация — с заднеязычными. Например, слог [ʨʰ *i*] по-русски записывается *ци*, по-английски—*ch'i*, в романизации *chi* и в латинизации — *ki*.

В обоих пересмотренных вариантах проекта специальные буквы для мягких согласных упразднены (в варианте № 1 мягкие обозначаются так же, как в латинизации, т. е. одинаково с заднеязычными, а в варианте № 2 — как в романизации, одинаково с шипящими). Несомненно, что это приблизило китайский алфавит по составу к обычному латинскому. Правда, какие-то три буквы этого алфавита будут иметь два чтения. Но я думаю, что это не страшно. Ведь и в русском языке для мягких (палатализованных) согласных нет отдельных букв, но это почти не создает дополнительных трудностей при обучении русскому письму. Следует отметить, что и в первоначальном варианте проекта 1956 г. есть буквы, имеющие по два-три чтения (например *e*, о котором см. выше).

Все шипящие звуки, согласно первоначальному проекту, обозначались новыми буквами (видоизмененными латинскими)— *ʒ ʧ ʃ*. Добавление к латинскому алфавиту новых букв не вызывает удивления: без дополнительных букв (или букв с диакритическими значками) не обходится почти ни одна национальная письменность на латинской основе. Но ясно, что если таких букв будет слишком много, письменность фактически перестанет быть латинской, международной, и потеряет все связанные с этим технические преимущества. Кроме того, *ʒ*, *ʧ* и *ʃ* имеют одно неприятное свойство: «хвостик», отличающий их от *z*, *c*, *s*, в печатном шрифте плохо заметен, и это помешает и наборщику, и читателю.

---

[1] Вопрос о фонеме в китайском языке еще недостаточно исследован. Очень часто фонему в той или иной степени отождествляют со звуком, и тогда мягкие согласные, естественно, признают самостоятельными фонемами. Но иногда два или несколько звуков китайского языка, никогда не встречающихся в одинаковых фонетических условиях, считают вариантами одной фонемы (например, никто, кажется, не отрицает, что [æ] в сочетании [læŋ] является вариантом фонемы [a]); этот подход к решению вопроса представляется нам более правильным.

В обоих исправленных вариантах для звуков [tʃ^{c}] и [ʃ] приняты диграфы — *ch* и *sh*, как в английском языке. *Третий шипящий* — [d͡ʒ] — *в варианте* № 1 обозначен сочетанием *zh*, а в варианте № 2 — буквой *j*. Здесь снова вариант № 1 следует за латинизацией, а вариант № 2 — за романизацией.

В латинизации шипящие обозначались диграфами *zh*, *ch*, *sh*; буква *h*, таким образом, использовалась как своеобразный «диакритический знак» (отдельно она не употреблялась, и звук [x] записывался буквой *x*, как в международном фонетическом алфавите). Очень большим достоинством этой системы (по сравнению с вариантом № 2) является ее последовательность: все шипящие обозначаются одним и тем же способом.

Но диграфы обладают существенным недостатком: они занимают слишком много места. В китайском языке в среднем каждый пятый или шестой слог начинается с одного из трех шипящих звуков[1]. Если каждый такой звук записывать двумя буквами, а не одной, то общее количество букв в китайском алфавитном тексте увеличится примерно на 6—7%. На каждые 15 страниц будет набегать одна лишняя! Очевидно, что обозначение часто встречающихся звуков двумя буквами практически очень невыгодно.

Есть, впрочем, одна возможность избежать двубуквенных сочетаний для шипящих. Если отказаться от специальных букв для мягких согласных, буквы *q* и *x* освобождаются и могут быть использованы соответственно для записи шипящих [ts^{c}] и [ʃ]. Третий шипящий звук можно записать буквой *j*, как в романизации. Эта буква будет тогда читаться приблизительно так, как в английском, а *x* — как в португальском. Букву *x* в значении [ʃ] мы находим уже в самом первом китайском латинизированном алфавите, составленном Маттео Риччи в 1605 г. Что же касается *q*, то чтение ее будет более или менее произвольным (если не считать некоторого сходства с албанским). Этот способ обозначения шипящих (при помощи *j*, *q*, *x*) не является чем-то новым: его предлагали задолго до опубликования проекта 1956 г.[2]

До сих пор мы говорили только о трех шипящих звуках китайского языка. Но существует и четвертый— [ʒ] (отличающийся от русского *ж* сонорным характером). Он обозначен в проекте 1956 г. буквой *r*, так же как и [ɹ] (*недрожащий ретрофлексный сонант*). Эти два звука имеют одинаковое происхождение, но [ʒ] встречается только в начале слога, а [ɹ] — только в конце, поэтому их можно рассматривать как варианты одной фонемы и записывать одной буквой. В латинизации для [ʒ], как и для других шипящих, было принято сочетание букв — *rh*, но это, как мы видели, не экономно. В романизации для записи [ɹ] служила буква *l*, взятая в общем совершенно произвольно, без всяких оснований (только потому, что *r* была занята как обозначение тона в некоторых слогах); сейчас такое употребление *l* уже не имеет сторонников. Иногда предлагают обозначать [ʒ] через *j*, но во всех вариантах проекта 1956 г. эта буква занята. Итак, наилучшим способом обозначения звуков [ʒ] и [ɹ] является буква *r* для них обоих[3].

Последним сонорным согласным является [ŋ]. В проекте 1956 г. для него был сначала взят знак международного фонетического алфавита ŋ, в то время как в романизации и латинизации он обозначался через *ng*. Это последнее написание принято и в обоих исправленных вариантах проекта 1956 г. (но, согласно варианту № 1, разрешается заменять *ng* одной буквой ŋ). Употребление двубуквенного написания здесь поддерживается традицией; однако оно неудобно тем, что может быть прочтено как два звука. Например, слово方案 [fa ŋ /an] «проект», если его записать *fangan* (без знака слогораздела), *скорее всего будет прочтено, как*反感 [fanvgan] «отвращение». Один из старейших деятелей движения за реформу китайской письменности, писатель Сяо Сань (Эми Сяо), предлагает вместо *ng* писать *nh* (буква *h*, как и при записи шипящих, заменяет диакритический знак, т. е. указывает на необычное чтение предыдущей буквы)[4]. Если *h* не употреблять для [x] (см. выше), то *nh*, конечно, нельзя будет ни с чем спутать. Но и *ng*, и *nh* имеют тот же недостаток, что и другие диграфы: они требуют лишнего расхода бумаги. Звуком [ŋ] кончается чуть не каждый шестой слог, и при обозначении его двумя буквами потребуется еще одна добавочная страница на каждые пятнадцать. Но обозначить [ŋ] буквой, уже существующей в латинском алфавите, по-видимому, невозможно. Иногда предлагают для этого букву *w*, но последней во всех алфавитах, имеющих латинскую основу, присуще постоянное значение —[w] или [v]; употребление *w* для [ŋ] было бы слишком непривычным. Итак, приходится либо все же запи-

[1] Более точные цифры см. в журн. «Pinjin», 1956, № 1, стр. 46—48.

[2] См. «Чжунго юйвэнь» («Китайский язык»), 1953, август (№ 14), стр. 34—35 (письмо Цзинь Дао).

[3] В проекте недостаточно подробно сказано о написании суффикса [-ɹ], который сливается с корнем слова в один слог. Например, неясно, как различить на письме слог 蛾兒 [/ə^{Λ}ɹ] «ночная бабочка», состоящий из корня [ə^{Λ}] и суффикса [ɹ], и слог 兒[ər] «сын», которые произносятся не совсем одинаково, но, по-видимому, оба должны иметь одинаковое написание *er*. Я предложил бы в первом случае писать *e'r* (с апострофом перед суффиксом, как в романизации).

[4] См. газ. «Гуанминжибао», 9 V 56.

сывать этот звук двумя буквами, либо ввести для него в алфавит дополнительный знак. Первый исправленный вариант проекта допускает оба решения. Мне кажется, что как из соображений экономии, так и во избежание смешения [ŋ] с [n+ĝ] следует ввести в алфавит букву ŋ. Временно, пока эта буква еще отсутствует на пишущих машинках, на телеграфных аппаратах или в наборе, ее можно заменять буквой *w* (последняя все же практически выгоднее, чем сочетание *ng*).

Как показало обсуждение исправленных вариантов проекта, из всех добавочных букв первоначального варианта ĝ имеет больше всего сторонников.

В области обозначения гласных звуков спорных случаев сравнительно немного. Основных гласных звуков в китайском языке девять: [a, o, ɔ^A, e, i, u, y, ə, ï]. Для первых семи из них в алфавите «чжуиньцзыму» имелись специальные буквы. Восьмой звук встречается только в составе сложных рифм и поэтому в алфавите «чжуиньцзыму» не имел специального обозначения. Наконец,девятый—очень своеобразный апикальный гласный [ï], встречающийся только после свистящих и шипящих[1], —в «чжуиньцзыму» (а также в латинизации) вовсе не обозначался на письме; например,слово 知識[ʈ͡ʂ ʐï] «знания» в латинизации писалось *zhsh* — без гласных букв. В романизации звук [ï] *обозначался через y; в латинизации эта буква используется для другого гласного* — [y].

В проекте 1956 г. звук [ï] сначала предлагалось обозначать особым знаком *ı* (*i* без точки). Но последний не был включен в алфавит как самостоятельная буква, а считался просто особым написанием *i*. К тому же,если над буквой *i* имеется знак тона, точка тоже не ставится; таким образом, в тонированном тексте различить знаки *i* и *ı* невозможно. В первом исправленном варианте проекта [ï] просто обозначается буквой *i*, как и [i] (но допускается и написание *ı*). Однако, поскольку звук [i] встречается только после таких согласных (свистящих и шипящих), которые не сочетаются с [ï], это не вызывает никаких недоразумений при чтении. Правда, [ï] не является вариантом фонемы [i][2]. Фонологически этот звук представляет собой «нуль гласного» при слогообразующем согласном[3]; поэтому в двух из трех старых алфавитов он вообще никак не обозначался. Но отсутствие буквы для [ï] неудобно при обозначении тонов (пришлось бы иметь в наборе семь согласных букв с тональными значками).

Второй исправленный вариант проекта (как и романизация) пользуется для [ï] буквой *y*. В связи с этим для [y] в нем выбрана не *y*, как в двух других вариантах, а *ü*. Но последняя буква явно неудачна, так как содержит диакритический знак, который будет мешать обозначению тонов. *Предлагали также обозначить* [ï] буквами *j* или *v* или же употребить *v* для записи [y], а *y* в свою очередь — для [ï][4]. Но *j* и *v* — согласные, употребление их в значении гласных резко расходилось бы с традицией. Кроме того, отдельную букву для [ï] трудно включить в алфавит: звук [ï] никогда не встречается *изолированно, и его невозможно произнести* без предшествующего согласного. В общем наиболее подходящим знаком для [ï] все же является *i*[5].

Но такое решение вопроса об [ï] определенным образом влияет на выбор некоторых других букв алфавита. Выше мы пришли к выводу, что для мягких согласных китайского языка *не обязательно создавать* особые буквы. Их можно обозначить буквами, служащими для записи свистящих, шипящих или заднеязычных: все эти три группы звуков не встречаются перед [ï] и [y]. Но если звук [ï] обозначить буквой *i*, картина несколько меняется: после свистящих и шипящих, конечно, невозможен з в у к [ï], но после них пишется иногда б у к в а *i* (в значении [ï]). Таким образом, мягкие согласные можно обозначить только буквами *g,k,h*, как это сделано в первом исправленном варианте проекта 1956 г.— после них не только звук [ï], но и буква *i* никогда не встречается. Этот принцип обозначения мягких имеет и определенные исторические основания: мягкие согласные пекинского диалекта большей частью происходят от заднеязычных (реже — от свистящих, но никогда не от шипящих).

В некоторых диалектах китайского языка перед [i, y] возможны и заднеязычные, и мягкие согласные (например, в ряде диалектов провинции Шаньдун) или сочетание мягких согласных с любыми гласными (например, кантонский диалект). Мяг-

[1] Его можно рассматривать и как слогообразующий согласный [z] (после свистящих) или [ʐ] (после шипящих).

[2] *Если звуки* [i] и [ï] никогда не встречаются в одинаковых условиях, то это объясняется только малой распространенностью звука [ï]. Последний не встречается в одинаковых условиях не только с [i], но и с [y] или [o], но тем не менее его никто не считает вариантом какого-нибудь из этих двух звуков.

[3] Подробнее см. А. А. Драгунов и Е. Н. Драгунова, указ. соч., стр. 63—64 и 66.

[4] Этот последний способ был предложен очень давно, еще во время обсуждения проекта латинизации (см. В. М. Алексеев, Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация, Л., 1932, стр. 95 и 157—158).

[5] Заметим, однако, что во многих диалектах китайского языка согласные [ʣ, *ts'*, *s*] свободно сочетаются как с [ï], так и с [i]. В этих диалектах для звука [ï] необходимо ввести особую букву.

кие согласные этих диалектов исторически восходят к шипящим, и в пекинском диалекте им соответствуют шипящие; в таких диалектах для записи мягких согласных можно употребить буквы, которые в пекинском диалекте предназначены для записи шипящих. Иначе говоря, подбирая буквы для мягких согласных в диалектах, желательно учитывать происхождение этих звуков (или — что практически то же самое — звуковые соответствия между диалектами). Тогда и для диалектов китайского языка не будут нужны специальные буквы для мягких согласных.

Из других гласных звуков, кроме [ĭ], некоторые споры вызывают [ə^{A}, ə]. Иногда возражают против того, чтобы буква *e* обозначала три разных гласных — [e], [ə^{v}] и [ə^{A}]. Но эти три звука, как правило, не встречаются в одинаковых фонетических условиях: первый возможен только в конце слога после [i] и [y], а также в сочетании [ei], второй — как самостоятельная рифма без промежуточного гласного и третий — в составе сложных рифм перед [n, ŋ, z]. Единственное написание с *e*, которое может быть прочтено двояко,— это сочетание *er* (см. выше). В остальных случаях многозначность буквы *e* не создает никаких трудностей при чтении.

Мелодическая характеристика слога — тон, согласно проекту, как уже упоминалось, может быть указана на письме при помощи специальных значков, а именно: *ā*, *à*, *ă*, *ȁ* (разумеется, вместо *a* может стоять любая другая гласная буква). «Легкий тон» обозначается точкой над гласной (*ȁ*). Против введения этого последнего значка возражает группа японских языковедов во главе с Такэсиро Кураиси. Японские ученые предлагают обозначать «легкий тон» отрицательно — о т с у т с т в и е м знака тона в слоге[1]. Это предложение кажется нам правильным. В самом деле, ведь и фонетически «легкий тон» характеризуется только отрицательно — это тон слогов, не имеющих самостоятельного тона. Произнести «легкий тон» изолированно — невозможно. К тому же знак этого тона (точка над буквой), в отличие от остальных четырех, не имеет международного характера и графически неудобен.

Особо оговорен в проекте случай, когда слог в «легком тоне» содержит гласный [ĭ]: в таком слоге предлагается опускать гласную букву, так как если [ĭ] обозначить через ı, точка над этим знаком превратит его в обыкновенное *i*. Это правило представляется мне непоследовательным: «легкий тон», как и всякое другое фонетическое явление, должен иметь обозначение (хотя бы отрицательное), единое для всех случаев. Необходимость особого правила для звука [ĭ] только доказывает неудобность и непрактичность принятого в проекте знака «легкого тона». Другое дело, что ряд служебных м о р ф е м, имеющих «легкий тон», можно писать без гласной, как это было принято в латинизации и в романизации. Но это уже вопрос орфографии, а не алфавита.

Наконец, существует еще один достаточно сложный вопрос, решением которого, предложенным авторами нового проекта, очень многие не удовлетворены; это — вопрос об обозначении границ слога. Вопрос этот возникает в отношении двухсложных (и многосложных) слов, в которых второй (или третий и т. д.) слог не имеет начального согласного. Например, слово 皮襖[/p'ivau] «шуба», если его записать, не разделив каким-нибудь образом на слоги (т. е. *piau*), будет скорее всего прочтено в один слог и спутано, например с瓢[/p^{c}iau] «ковш из бутылочной тыквы» или 票 [/p^{c}iau] «билет»; слово 黑暗[-xei/an] «темнота», записанное *heian*, можно прочесть только в два слога, но его легко спутать с 河沿[/xə^{A}/iɤn] «берег реки». В устной речи, конечно, такого смешения произойти не может. Односложное слово всегда нетрудно отличить от двухсложного. Внутри двухсложного (многосложного) слова тоже можно свободно определить границы слогов, так как если слог фонематически не имеет начального согласного, в начале его все же факультативно возникает более или менее ясно слышимый полугласный или согласный элемент: промежуточные гласные [i, u, y] превращаются соответственно в полугласные [j, w, ɥ]; эти же полугласные появляются перед слогообразующими [i, u, y], перед остальными гласными произносится щелевой [ɣ] или гортанная смычка. Конечный звук слога, предшествующего слогу без начального согласного, тоже иногда претерпевает некоторые изменения; так, конечный [n] в этих условиях обычно исчезает, заменяясь назализацией гласного. Но все эти изменения носят чисто комбинаторный характер и не имеют самостоятельного фонематического значения.

В написании слогов, не имеющих начального согласного, проект 1956 г. допускает известную непоследовательность. Для промежуточных гласных [i] и [u] в первоначальном варианте проекта было предусмотрено двоякое написание: после согласных — соответственно *i* и *u*, а в начале слога (т. е. при отсутствии начального согласного)— *y* и *w*. Если [i] или [u] является единственным гласным слога, в начале слога вместо *i* и *u* пишется *ji* и *wu*. Как мы уже знаем, для этого имеются определенные фонетические основания. В то же время, однако, звук [y] одинаково обозначался буквой *y* в любом положении; буквы для полугласного [ɥ] в проекте нет. Итак, начало слога, первым звуком которого является [i] или [u], в первоначальном варианте обозначается при помощи букв *j* и *w*. В остальных случаях, если возникает опасность, что слово будет неверно разделено на слоги, граница слогов указывается при помощи маленького вертикального клинышка (который в исправленных вариантах заменен апострофом). В первом

[1] См. «Гуанминжибао», 23 V 56.

исправленном варианте эти обозначения начала слога сохранены без изменений, но во втором варианте, где буква *j* занята для одного из согласных звуков, вместо нее пишется *y* — тот же знак, что и для звука [ï]! Этот знак добавляется и перед *ü*, когда перед ним отсутствует начальный согласный.

Употребление *j*(*y*) и *w* в начале слога в основном, видимо, объясняется просто традицией. Поскольку буквы *j* (*y*) и *w* не обозначают отдельных фонем, единственная практическая польза от них состоит в том, что они могут указывать границы слога. Но для этой же цели служит и апостроф. Естественно, что во многих статьях, в которых подвергнуто критике употребление *j* и *w* в проекте, выражается пожелание, чтобы вместо этих букв и апострофа был введен единый знак слогоделения. В качестве такого знака предлагают либо тот же апостроф, либо дефис, либо букву *v*, а иногда также *q*, *w* и т. п. Если ввести единый знак для обозначения границ между слогами, промежуточные гласные — не только [у], но и [i, u] — можно будет записывать одинаково в любом положении (в том числе и тогда, когда они могут реализоваться как полугласные).

Имеются и прямо противоположные предложения. Так, И. Н. Гальцев рекомендует обозначать к а ж д ы й звук (а не только [i, u]) по-разному, в зависимости от того, какое место он занимает в слоге — стоит ли в начале его или в конце, является ли слогообразующим или нет[1]. Тогда, разумеется, найти начало и конец каждого слога будет очень просто. По мнению И. Н. Гальцева, в китайском алфавите должно быть по три буквы для звуков [i, u], по две — для [у, n, ŋ], отдельные буквы для [л] и [з]. Для этого он вводит в алфавит шесть новых букв, из которых две взяты из международного фонетического алфавита, две — из греческого, одна — из русского и одна — из сербского; общее число букв в алфавите увеличивается до 37, причем почти третья часть из них — не латинские. Как бы хорошо ни были обоснованы эти предложения теоретически, практическая «невыгодность» этого проекта (шесть новых букв для того только, чтобы указывать границы слогов) бросается в глаза [2]. Любопытно, что конкретные предложения И. Н. Гальцева противоречат тем общим требованиям, которые он предъявляет к проекту китайского алфавита в целом, выражая пожелание, «чтобы при разработке нового алфавита не упускался из вида фонологический принцип» [3] (т.е., очевидно, чтобы каждая фонема всегда обозначалась одним определенным знаком). И. Н. Гальцев сам, однако, не следует этому принципу.

По-видимому, введение единого обозначения границы слогов практически гораздо удобнее, чем последовательное различение на письме одних и тех же звуков в начале и в конце слога. Из знаков, предлагаемых в качестве знака слогоделения, для букв *q*, *v*, *w* эта функция была бы слишком непривычной; дефис лучше использовать в грамматике, отведя ему ту же роль, которую он играет в европейских языках; наконец, апостроф неудобен тем, что в рукописном шрифте, чтобы написать этот знак, приходится оторвать перо от бумаги. Мне кажется, что самым правильным было бы выбрать апостроф, но подобрать для него удобную рукописную форму (например, писать вместо него знак, похожий на перевернутое *е*, который в первоначальном варианте проекта 1956 г. был принят как рукописная форма *г*), или же просто заменять его в рукописном шрифте буквой *v*[4].

Если условиться разделять слоги внутри слова только при помощи апострофа, букву *w*, так же как и *v*, можно будет исключить из письменности, оставив их только как условные значки в математике, технике и т. п. Разумеется, оба эти знака в случае надобности могут быть употреблены для записи каких-либо звуков в китайских диалектах и языках национальных меньшинств. Кроме того, буквой *v* можно заменить апостроф в рукописном шрифте, а буквой *w* — знак ŋ, если его нет в наборе. Что касается *j*, то, как уже упоминалось, этой буквой можно обозначить звук [ʤ] (при условии, что и другие шипящие будут записываться одиночными буквами, а не сочетаниями букв).

---

[1] И. Н. Г а л ь ц е в, указ. соч., стр. 106—108.

[2] Впрочем, справедливость теоретических положений, из которых исходит автор этого проекта, тоже вызывает сомнения. И. Н. Гальцев отождествляет фонемный состав китайского слова с его звуковым составом, считая даже такие явные дифтонги, как [ai. ou] и т. п., сочетаниями двух фонем. Между тем известно, что разделять дифтонги на две фонемы допустимо лишь в том случае, если внутри дифтонга может проходить морфологическая граница или если при морфологическом изменении слова дифтонг распадается на два звука, относящиеся к разным слогам; и то, и другое в китайском языке невозможно.

[3] И. Н. Г а л ь ц е в, указ. соч., стр. 105.

[4] При сплошном обозначении тонов границы между слогами можно было бы и не обозначать, если условиться ставить знак тона всегда над последней буквой слога, будь то гласная или согласная. Тогда знак тона сам по себе уже указывал бы конец слога и начало следующего. Да и вообще в тонированном тексте апостроф нужен далеко не всегда. Например, если слово «шуба» записать как *piău*, его двухсложный характер будет виден по наличию двух знаков тонов.

Как можно видеть из всего сказанного выше, из трех вариантов проекта 1956 г. наиболее удачен первый исправленный вариант (ориентирующийся на латинизацию). Этот вариант и был принят в ноябре 1956 г. Однако, с нашей точки зрения, он тоже имеет некоторые недостатки. К таким недостаткам, как нам кажется, можно отнести: отсутствие единой системы в обозначении границ слога, употребление диграфов для очень распространенных согласных звуков, неудобный знак для «легкого тона». Указанные недостатки можно было бы устранить. Для этого нужно отказаться от написания *j* и *w* в начале слога и ввести единый знак слогоделения; записывать шипящие буквами *j*, *q*, *x*; ввести в алфавит дополнительную букву *ŋ* (употребление ее допускается первым исправленным вариантом проекта); обозначать «легкий тон» отсутствием диакритического значка.

Если в китайский алфавит (первый исправленный вариант) внести эти поправки, он будет состоять из следующих 25 букв (привожу их в порядке алфавита «чжуиньцзыму»): *b p m f; d t n l; g k ŋ h; j q x r; z c s; a o e; i u y*. Из этих букв шесть (*q*, *k*, *h*, *r*, *e*, *i*) имеют по два (*e* — даже три) чтения, в зависимости от того, с какими другими буквами они сочетаются и в каком месте слога находятся. Только одна буква (*ŋ*) отсутствует в обычном латинском алфавите.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1957

Л. П. ЖУКОВСКАЯ

ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ В ДИАЛЕКТАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Настоящая статья ограничена кругом вопросов, связанных с показом конкретных возможных различий русских диалектов в области лексики и словообразования. Типы лексических различий русских диалектов освещались в литературе, но недостаточно[1]. До сих пор остается неясным, что́ представляют собой собственно местные особенности словаря, по каким линиям следует изучать диалектные лексические различия.

Предлагаемая ниже классификация диалектных различий в области лексики основана главным образом на изучении ее в процессе собирания и картографирования материалов для составления атласов русских народных говоров. Это открыло возможность анализа лексики русских диалектов в сопоставительном плане на большом материале. Важно подчеркнуть то обстоятельство, что во многих случаях именно в процессе картографирования был вскрыт ряд существенных моментов в понимании природы диалектного различия в лексике, и это позволило сделать предлагаемую ниже конкретную типологию более полной, чем она была представлена в предшествующих работах.

*

Лексический состав русских диалектов может различаться по таким взаимно не связанным планам:

1. В одном из сравниваемых говоров для выражения определенного значения имеется определенное слово, в другом говоре эквивалентное по значению слово отсутствует.

2. Сравниваемые говоры имеют соответственные слова, различающиеся или по значению, или по составу фонем, или по грамматической принадлежности.

3. Сравниваемые говоры имеют лексические различия структурного характера, если указанные в пп. 1 и 2 лексические различия выявляются в целой группе слов.

К первому из рассмотренных планов относятся различия, выражающиеся в существовании определенного слова с определенным значением в одних диалектах при отсутствии этого слова в каком бы то ни было значении в другом сравниваемом диалекте. Обычно это сочетается с отсутствием в этом последнем вообще какого-либо названия для данного предмета или явления. Например, в части русских говоров известно существительное *вёдро* в значении «ясная, теплая погода»; в других диалектах слово *вёдро* не употребляется, но нет и другого, соответствующего ему по значению; указанное состояние погоды в этих диалектах называется описательно (см. карту № 1[2]). Другой пример: в некоторых севернорусских и среднерусских говорах имеется слово *кóмéль* в значении «нижняя, основная, прилегающая к корню часть дерева или растения» (в говорах Смоленской обл. известно также в значении «нижняя часть снопа»), в других говорах этого слова нет и указанное понятие не имеет термина для своего выражения.

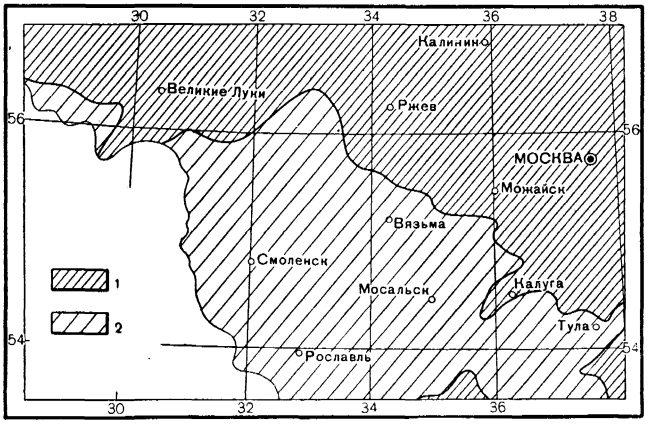
Рассматриваемые слова обозначают предметы или явления, территория распространения которых несравненно шире распространения диалектов, в которых имеется особое слово для названия данной реалии. Это обстоятельство важно иметь в виду, так как часто наличие определенного слова в одном говоре при отсутствии соответствующего слова в другом говоре объясняется этническими или природными особенностями той или иной территории. Например, слова *бурáк* или *тýес* (обозначают берестяной сосуд цилиндрической формы для жидкостей) известны в северных лесистых районах и отсутствуют, в связи с отсутствием реалии, в степных районах. Такова же различная термино-

[1] Из последних работ см.: Ф. П. Филин, Несколько замечаний о характере лексических диалектизмов, сб. «Вопросы славянского языкознания», кн. 1, Львов, 1948, стр. 221—225; Р. И. Аванесов и В. Г. Орлова, Вопросы изучения диалектов языков народов СССР, ВЯ, 1953, № 5, стр. 43—45.

[2] Приводимые в настоящей статье карты составлены по материалам, собранным для атласов русских народных говоров, работа над которыми ведется в Институте языкознания АН СССР, и по некоторым картам этих атласов.

нология отдельных промыслов (ср., например, наличие развитой рыболовецкой терминологии в говорах населенных пунктов по берегам Белого, Псковского и Чудского озер и отсутствие соответствующих слов в говорах, носители которых не занимаются рыболовством) и т. д.

Различия такого рода не имеют большого значения для сопоставительного изучения лексики русских диалектов, так как они представляют собой не столько факты языка, сколько факты этнографии или географии (хотя сама проблема номинации относится к лингвистике). Однако они важны при изучении словарного состава каждого отдельного диалекта и связанных с этим вопросов.



Карта 1. Распространение слова *ёдро* в значении «ясная теплая погода»: 1) *ёдро* — ясная теплая погода; 2) понятие «ясная теплая погода» выражается описательно

В русской диалектологии больше исследованы эти, наиболее очевидные, лексические различия. Различия же, не обусловленные этнографией и природными условиями (подобные приведенным выше словам *ко́ме́ль*, *ёдро*), исследованы меньше; по-видимому, они сравнительно немногочисленны.

*

Лексический состав диалектов может различаться самими словами, составляющими соответственный ряд, соответственное явление[1].

Как известно, каждое слово, являясь наименьшей единицей речи, выражающей отдельное понятие, характеризуется определенным значением, определенным составом звуков исходной формы и определенной системой форм. Слова диалектов, составляющие соответственное явление, могут различаться по одному из этих трех показателей; при этом различия по звуковому составу и системе грамматических форм в ряде случаев выступают одновременно.

Диалектные различия соответственных слов в области значения могут быть кардинальными и частными. В первом случае с точки зрения языка в целом (т. е. всех его современных диалектов и литературного языка вместе взятых) можно было бы говорить об омонимах. Сюда относятся, например, такие различия в значении: *жи́то* — «рожь», *жи́то* — «ячмень» (см. также ниже значения слов *ва́га*, *ку́ре́нь*). Частные различия проявляются в объеме значения (например, *жи́то* — «рожь» и *жи́то* — «злаковые вообще», а также *жи́то* —«ячмень» и *жи́то* — «яровые злаки») или даже только в употреблении соответственных слов (*паха́ть* — «подметать» в неограниченном употреблении и *паха́ть* только «заметать под в печи»). Звуковой состав и грамматическая характеристика слова могут различаться также более и менее значительно; ср. наличие в говорах как разных соответственных слов с одинаковым значением (например, *нету́х* — *ко́чет*), так и диалектных вариантов одного и того же слова, образуемых частными расхождениями в фонемном составе, словообразовательной или грамматической характеристике слова.

I. При различиях в вещественных значениях слова по диалектам и одновременном фонетическом и грамматическом единстве слова соответственный ряд слов образуется самими значениями того или иного слова. Например, глагол *паха́ть* в говорах Псковской и Великолукской обл. может иметь такие значения: 1) «обрабатывать землю, взрыхляя ее при помощи отвальных орудий», 2) «подметать»,

[1] См. Р. И. Аванесов, Вопросы фонетической системы русских говоров и литературного языка, ИАН ОЛЯ, 1947, вып. 3, стр. 215.

«мести» (пол, под в печи и т. д.), 3) «сеять», 4) «крупно резать хлеб ножом». В говорах к западу от Москвы существительное *мост* встречается в таких значениях: 1) «мост» (сооружение для переправы через реку, ручей, овраг и т.п.), 2) «пол» (пол вообще, пол в том или ином помещении, пол из половиц, нижний накат из бревен), 3) «сени», 4) «крыльцо» и др.; существительное *жи́то* может обозначать: 1) «рожь», 2) «ячмень», 3) «пшеницу», 4) «злаковые вообще», 5) «яровые»; существительное *гай* — 1) «лес», «кустарник», 2) «мусор», «мякина» и др.; *руда́* — 1) «кровь», 2) «грязь» и др.; *ку́ре́нь* — 1) «изба», 2) «совместно растущая группа растений» (деревьев, кустов, ягод, грибов — Западное Подмосковье), 3) «крутой поворот реки или дороги» (междуречье Западной Двины и Ловати); *ва́га* — 1) «вес», 2) «весы», 3) «колодезный журавль», 4) «приспособление для увязывания сена на возу», 5) «рычаг для поднятия тяжестей»; существительное *кут* имеет значения: 1) «лавка», 2) «угол в доме», 3) «зуб» и др.; прилагательное *ку́тний* может употребляться в диалектах лишь в сочетании с определенными существительными: *кутняя лавка*, *кутний угол*, *кутний зуб* и иметь при этом различные конкретные значения, и т. д.

Изучение различий в вещественных значениях соответственных диалектных слов вызывает особенно большой интерес, если его вести в историческом плане, отграничивая при этом процессы постепенного развития значений от явлений омонимии (если можно говорить об омонимах в применении к словам разных диалектов одного языка, что, впрочем, представляет особый вопрос).

II. Различия в звуковом составе соответственных диалектных слов с одинаковыми значениями[1] могут складываться как за счет слов совершенно разного фонетического облика, так и за счет частных моментов. При этом выделяются следующие группы: 1) слова разных корней; 2) слова одного корня, имеющие различия словообразовательного характера; 3) близкие по звуковому составу слова, имеющие частные, нерегулярные фонематические, акцентные или грамматические различия.

1. Наиболее прозрачны диалектные различия, образуемые словами разных корней (при единстве реалии), такие, как, например: *жни́вьё — стерня́; мо́рко́вь — барка́н; свёкла́ — бура́к — ботви́нья; пету́х — ко́чет — певу́н; болнно́й—хво́рый — квёлый; стра́нный — чудёсный;* (лен) *тере́би́ть — брать — дёргать — таска́ть — щипа́ть;* (сено) *грести́, грести — гра́бли́ть, гра́бить — шевели́ть — трясти́ — трусить; скородить — боро́ни́ть; класть — ло́жи́ть; пры́гать — сига́ть; мя́у́кать—ка́вкать; о́чень — дю́же — гора́здо — до́бре́ — зря — си́льно — пры́тко; хо́лодно — сту́дёно, мно́го — ди́вно* и др. В отдельных редких случаях такие соотношения могут быть связаны с различными осмыслениями, «народной этимологией», например *ра́дуга — ра́й-дуга́.*

Указанные различия многочисленны и наиболее выявлены в процессе изучения лексики русских народных говоров.

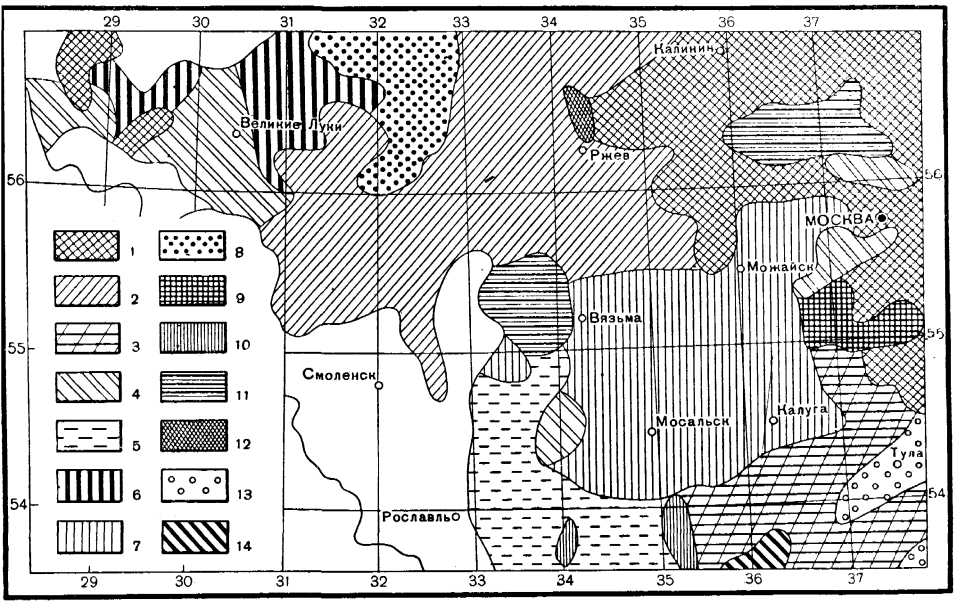
2. Различия в диалектной лексике, выражающиеся в единстве корневого элемента при различиях словообразовательных аффиксов в соответственных словах, также широко представлены в русских говорах. Сами словообразовательные аффиксы, как правило, совпадают с таковыми же в литературном языке и принадлежат общему запасу словообразовательных элементов всего русского языка. Особенностью данной группы говоров является оформление при помощи того или иного аффикса какого-то определенного корня. При этом наряду с конкретными словообразовательными различиями могут иметь место и разные словообразовательные системы, охватывающие определенные лексико-грамматические группы.

Разнообразие способов образования основы с общим корнем и одинаковым значением отчетливо видно на примере названий жнивья с корнем *жн-* в говорах Московской, Калужской, Смоленской, Великолукской, западной части Тульской, южной части Псковской и Калининской областей: *жни́во — жни́вьё (жнёвье) — жни́вни́к (жнёвник) — жнивня́к — жни́ви́ще — жневь — жнёвка — жни́тво — жнитовье — жнитовка — жнитки́ — жни́вёнье — жнёвень — жниветье — жниветник — жнёвля* и других, более редких. На карте № 2 показано, что это словообразование не случайно и делит указанные говоры на определенные компактные группы. В говорах не закрашенной на карте территории (на северо-западе и юго-западе) соответственное слово имеет иной корень — *рж-(ржи́ще, ржани́ще, ржани́к* и др.). Наиболее редкие названия, имеющие сходные основы, в ряде случаев объединены в одном знаке; некоторые

[1] В качестве указанных различий могут выступать и такие пары (а подчас целые ряды) слов, которые обозначают предметы, отличающиеся частными особенностями, но сходные по функции. Таковы, например, названия помещений для хранения зерна *амба́р* и *клеть*, из которых первое, как правило, обозначает отдельную постройку, второе — помещение при доме; ср. также названия орудия для выколачивания белья: *вале́к* — с короткой ручкой, *кичи́га* — с удлиненной ручкой, и др. Лексические различия этого рода можно выявлять лишь при условии последовательного разграничения лингвистического и этнографического аспектов исследования, что в ряде случаев представляет известную трудность. Далее в целях удобства изложения рассматриваются только случаи, когда определенные различия в лексике отдельных диалектов не связаны с различиями реалий.

названия (например, *жнёвля*, встречающееся к югу от Тулы на территории распространения слова *жнёвье*) не показаны вообще.

Много названий, различающихся лишь словообразовательными элементами, имеет по русским говорам деревянная часть косы — ручка, на которую насаживается металлическая часть. Так, в говорах к западу от Москвы отмечены следующие слова с этим значением, имеющие корень *кос-*: *косьё — кóсовьё — косдвúще — косьёвúще — косовúна — косовúлина — косовúльня — окóсье — окóсица* и др.



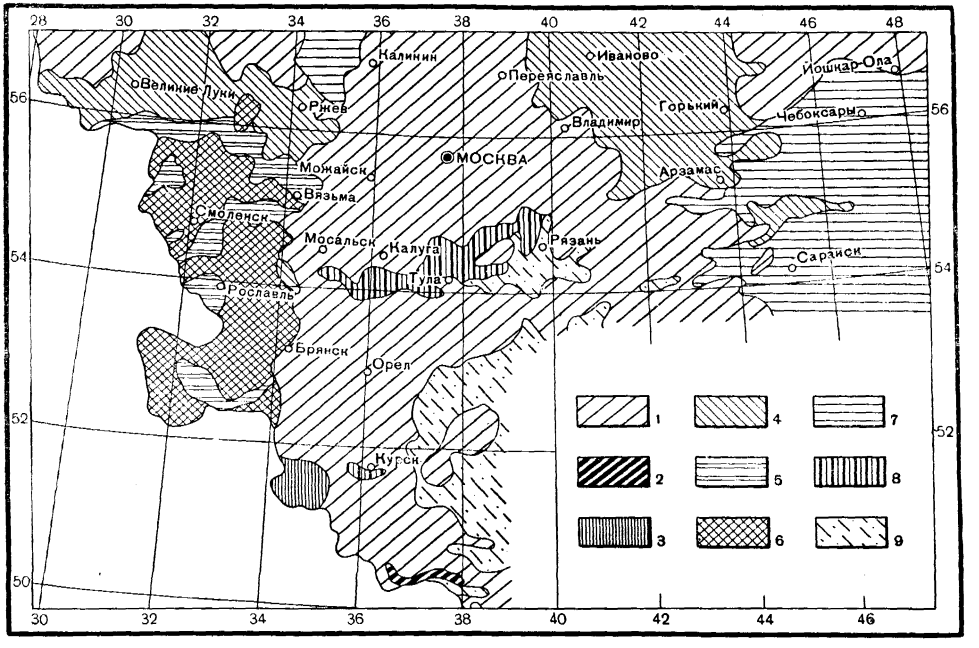
Карта 2. Названия жнивья с корнем *жн-*: 1) *жни́во, жнивó, жнивá*; 2) *ежни́вье, жнивьё*; 3) *жнёвье*; 4) *жни́вни́к*; 5) *жнёвник*; 6) *жнивня́к*; 7) *жнивúще*; *жни́вище*; 8) *жнивётье, жнивúтье, жнивётник*; 9) *жни́вень, жни́венье, жнивéнье*; 10) *жнёвень, жнёвенье*; 11) *жнитвó, жни́тво, жнитвá, жнитóвье, жнитóвка*; 12) *жниткú*; 13) *жнёвь*; 14) *жнёвка*

Примеры подобного рода различий в составе соответственных слов русских говоров легко могут быть умножены: ср., например: *ля́да — ля́дина; колыбéль — колыбéлька — колыбáлка; изгорóдь — загорóдь — огорóд — огорóда — сгорóда — возгорóда — загорóда — загорóдка — возгорóдка — загорóдка; назём — позём — озём; чáпéльник — чáпленник — чáпля — чапелю́ха — чапелю́шка — чапелá; грéчневый — гречúшный — гречу́шный; белова́тый — беля́вый — белáвый; добрóтный — дóбрый — дóбристый; белогрúвая — белогрúвчатая; бéличий — бéлий — бéлочий; зя́тний — зя́тев — зя́тин; лéтось — лéтость — лéтося; дáвеча — дáвень — дáвись; ономéдни — намéдни — намéть — намéт; ревéть — ревú́ть — ревéить; петь — пéить — поя́ть; горевáть — гóриться — горю́ниться; дивúться — дивовáть — дивовáться; дожидáться — дожидáть (дождáть — дождáться); пелéдить — запелéживать; закладáть — закла́дывать; борóнить — бороновáть; иттú — иттúть* и многие другие.

Различия словообразовательного характера могут быть связаны с образованием слов путем оформления соответствующих корней различными уменьшительными, уничижительными и подобными по происхождению суффиксами в одних говорах и слов без этих суффиксов — в других. При этом следует иметь в виду лишь такие слова, в которых перечисленные значения суффиксов утрачены и обнаруживаются только с точки зрения этимологической или с точки зрения строения соответствующих слов в русском языке в целом. Эти слова не имеют в данном диалекте параллельных бессуффиксных слов; основу их следует рассматривать как непроизводную. Таким является, например, слово *дёжка* в говорах Брянской области, в которых нет параллельной исходной формы *дежá* и лишь слово *дёжка* является термином для обозначения кадки, в которой замешивается тесто. В говорах Курской, Орловской, Калужской обл., как правило, слово *дёжка* (в том же значении) существует наряду со словом *дежá* и потому должно рассматриваться как уменьшительное от последнего. Таково же слово *вилки* в значение «ухват», для которого нет

исходной формы *вилы*, употребляемой в том же значении, в говорах на юго-западе Смоленской обл. В говорах же, граничащих с ними на северо-востоке, отмечено в значении «ухват» также слово *ви́лы*; для последних слово *ви́лки* следует рассматривать как уменьшительное (подобно паре *ухва́т — ухва́тик*). Сюда же должны быть отнесены слова *рель — рёлка*, *мать — ма́тка* (последнее четко локализовано в говорах на западе Смоленской и Брянской обл.), *свекро́вь — свекро́вка* (только так в говорах северо-западной части Великолукской обл.), *мо́рко́вь — морко́вка — морко́шка* (территории распространения неуменьшительных *свекро́вка* и *морко́вка* совпадают) и многие другие.

3. Близкие по звуковому составу соответственные слова в разных диалектах могут иметь фонематические, акцентные или грамматические различия.



Карта 3. Разновидности слова *коромысло* по говорам: 1) *коромы́сло*; 2) *коро́мысло*; 3) *коро́мисло*, *короми́сло*; 4) *коромы́сел*; 5) *коро́мысел*; 6) *коро́мисел*; 7) *коромы́с*; 8) *коромы́слы*; 9) *коромы́сли*

1) Наличие отдельных несовпадающих фонем в соответственных диалектных словах лишь в том случае может считаться лексическим фактом, если несовпадение фонем вызвано имманентными особенностями слова, а не какими-либо действующими или действовавшими в прошлом закономерностями фонетического и грамматического строя говора. Так, формы [ф]*унт* — [х]*унт*, при соответствующей замене [ф] звуком [х], *л*[е]*с* — *л*[и]*с* при соответствующей реализации *ě*, [ч]*а́пе́льни́к* — [ц]*а́пе́льни́к* при цоканье и т. д., не говоря уже о различиях, возникших вследствие закономерных для тех или иных говоров изменений фонем в слабых позициях (как, например, произношение *в*[е]*сна́* — *в*['о]*сна́* — *в*[и]*сна́* — *в*['а]*сна́* при соответствии его разным системам предударного вокализма, или *хребту́*[к] или *хребту́*[х] при соответствующем оглушении конечного [г] в [к] или [х] или [γ] в [х] и подобные им), должны быть отведены как несущественные для определения лексических различий соответственных слов в диалектах. Объектом изучения для лексиколога могут быть лишь такие, например, фонематические разновидности диалектных слов: *махо́точка — махо́дочка; пра́льник — пра́йник; бу́хма́ — бу́шма́ — бу́хва—бу́ква—бу́кла — бу́хта́; тенёта — теня́та; па́смурный — па́хмурный; беля́вый — бела́вый; мо́рко́тно́ — мо́рго́тно; ду́же — дю́же; ле́тись — ле́тусь — ле́тось; гу́то́рить — гута́рить*, и подобные им. Большинство указанных различий (как об этом позволяют судить материалы, собранные по программе для атласа) дает четкую территориальную локализацию русских диалектов в центральных областях на восток и на запад от Москвы.

2) Акцентные различия соответственно выделяются лишь постольку, поскольку они

являются не морфологизованными, но чисто лексическими [1]. Акцентными разновидностями являются, например, слова *ча́пельник — чапе́льник — чапельни́к*. Первое из них широко представлено в говорах южной части Московской обл., в Калужской обл. (кроме крайнего запада ее) и в западной части Тульской обл.; форма *чапе́льник* распространена северо-западнее, в основном по течению Западной Двины; произношение *чапельни́к* отмечено в говорах северо-западной части Великолукской обл. и, кроме того, на юг от Вязьмы. Так же разнообразно может быть ударение в слове *холодно*: *хо́лодно* представлено в основном в говорах к северо-западу от Москвы; в Смоленской обл. имеет место четкая локализация акцентной разновидности — *холо́дно* — с ударением на втором слоге основы; к югу от Москвы широко представлено слово с ударением на конце — *холодно́*. Отмечены акцентные различия в произношении слов *косо́вище — косови́ще; бу́хма — бухма́* («брюква»); *морко́вь — мо́рковь; мо́рква — морква́; до́чка — дочка́; жни́во — жниво́; жни́вье — жнивьё; жни́тво — жнитво́; коромы́сел — коро́мысел; коромы́сло — коро́мысло; короми́сел — коро́мисел* (см. карту № 3); *глу́пый — глупо́й; то́лстый — толсто́й; ло́жить — ложи́ть; ка́шлять — кашля́ть; гуто́рить — гу́торить; скоро́дить — скороди́ть; ро́стить — расти́ть; ка́знить — казни́ть; до́бре — добре́; сту́дено — студёно — студено́; ве́село — весело́* и многих других. Как пока кажется, различия в месте ударения в этих словах по говорам не имеют закономерности, отмеченной В. И. Далем (см. выше).

3) Соответственные слова могут при единстве значения и звукового состава различаться грамматической принадлежностью и образовывать в каждом из сравниваемых диалектов своеобразную систему форм [2]. При этом выделяются различия в категории рода, различия в категории числа и различия, выражающиеся в принадлежности слова к тому или иному грамматическому типу: для имен — принадлежность к разным типам или подтипам склонения, для глаголов — к разным типам спряжения.

а) Различия в категории рода выражаются в принадлежности тех или иных лексических разновидностей слова (имени существительного) в одних говорах к одному грамматическому роду, в других — к другому роду. При этом следует иметь в виду, как и при фонематических различиях диалектной лексики, лишь имманентные особенности каждого данного слова и не смешивать их с различиями, вызванными особенностями г р а м м а т и ч е с к о й системы говоров. Так, например, для тех русских говоров, которым свойственна утрата категории среднего рода как таковой, случаи распределения слов среднего рода по женскому или мужскому роду относятся не к лексике, а к грамматике. Эти же факты являются, безусловно, л е к с и ч е с к о й особенностью в говорах, где категория среднего рода полностью сохра-

---

[1] Следует отметить при этом, что русская диалектология не располагает пока достоверными сведениями об определенных закономерных сдвигах в ударении для тех или иных диалектов русского языка. В этой связи особый интерес вызывает замечание В. И. Даля о том, что северным и восточным великорусским говорам в ряде слов свойственно ударение на первых и средних слогах, тогда как южным и западным — на средних и последних (см. В. Д а л ь, Толковый словарь живого великорусского языка, т. I, М., 1955, стр. XXVIII, примечание).

[2] Следует иметь в виду, что различия соответственных слов по диалектам могут в отдельных случаях складываться только за счет начальной формы слова. Таковы, например, слова мужского рода *коро́мы́с* (*коро́мы́сл*) или *коро́мы́сел* и слово среднего рода *коро́мы́сло*, которые часто образуют не различающиеся по диалектам формы косвенных падежей *коро́мы́сла, коро́мы́слу* и т. д.; также глаголы *гаме́ть* и *гами́ть*, которые образуют не различающиеся по диалектам личные формы настоящего времени — *гами́ш — гамя́т*; аналогично глаголы *сербе́ть — серби́ть, свербе́ть — сверби́ть, галде́ть — галди́ть* и др.

Различия эти могут существовать также за счет различий в типе склонения и числе имен существительных при единстве формы именительного падежа или различий в образовании личных форм настоящего времени глаголов при единстве инфинитива, например: слово *коромы́сь*, так же как слово *путь*, может быть словом мужского рода и изменяться по типу *конь* и словом женского рода и склоняться соответственно по типу *кость*; при общей основе инфинитива глагол *брехáть* может образовывать в одних говорах личные формы настоящего времени от основы *брехаj-*(*брехáет*) и от основы *бреш-*(*брешу́ — бре́шет*); также инфинитив — только *гре́бовать*, но личные формы при этом могут быть в одних диалектах *гре́бую — гре́буешь*, а в других *гре́боваю — гре́боваешь;* также инфинитив *и́кáть*, но личные формы *и́кáю* или *ичу́* (также *и́чу*), и др.

Известны случаи, когда диалектная разновидность определенного слова может выявляться только во множественном числе, например, слова *копнá, свáдьба* (также *свáрьба*), *ве́рба* в некоторых говорах имеют не свойственные другим существительным женского рода этого же типа формы множественного числа (*ко́пни, ко́пне́й, ко́пня́м* и т. д., *свадьбе́й, сварьбе́й, вербе́й*). Слово может представлять особенности изменения лишь в одной из форм. Так, слово *дере́вня* в средневеликорусских и южновеликорусских говорах широко представлено с окончанием *-á* (*деревня́*) в именительном и винительном падежах множественного числа.

няется. Случаи, когда то или иное слово относится к мужскому роду в одних диалектах и к женскому роду в других, не могут для современных русских говоров объясняться особенностями развития грамматической системы и потому составляют лексические разновидности диалектных слов. Например, слово *собака* в литературном языке и большинстве русских говоров относится к женскому роду, в говорах Смоленской области оно мужского рода (как *воевода*), причем в некоторых из смоленских говоров слово *соба́ка* представлено даже без конечного гласного — *соба́к*, т. е. оно имеет уже и структуру, свойственную словам мужского рода. Примером различия соответственных слов в диалектах по категории грамматического рода является слово *коромысло* (см. карту № 3), которое в литературном языке и в говорах, прилегающих к Москве, относится к среднему роду, но восточнее и западнее в соответствии ему представлены лишь слова мужского рода *коро́мыс*, *коро́мы́сел*, *коро́ми́сел*, причем на востоке (южная часть Горьковской обл. и русские говоры на территории Мордовской АССР) преобладает слово мужского рода *коромы́с*, а в говорах запада (Великолукская, Смоленская, Брянская обл.) — *коро́мы́сел* (*коро́ми́сел*). Различия по принадлежности к одному или другому грамматическому роду можно видеть в словах: *полотёнце — полотёнец*, *доба́вка — доба́вок*, *тенето́ — тенета́ — тенёт*, *окова́лок — окова́лка* и многих других. Изменение родовой принадлежности особенно активно осуществлялось в тех группах слов, которые относились к непродуктивным типам склонения. Таково, например, слово *гусь*, которое в большинстве говоров относится к мужскому роду, но в некоторых говорах на юго-западе Смоленской обл. *гусь* — женского рода. Отмечены различия в грамматическом роде для слов *мозо́ль*, *мышь*, *путь* и некоторых других.

б) Лексические разновидности диалектных слов по категории числа менее часты в русских говорах. Отмечены случаи, когда слово относится к pluralia tantum в одних говорах и к singularia tantum, либо к существительным, употребляющимся в единственном и множественном числе, в других. Четкая локализация различий такого рода в определенных случаях свидетельствует о том, что они существенны для диалектной лексики. Так, например, в южной части Калужской обл., северной части Тульской обл. и на юго-западе Рязанской обл. отмечено в pluralia tantum слово *коромы́слы*, в восточной части Орловской и Курской обл. широко представлено слово *коромы́сли* — pluralia tantum (см. карту № 3). В говорах центральных областей к востоку от Москвы локализованно представлено в pluralia tantum слово *тенёты*. Четкую локализацию по принадлежности к pluralia tantum имеют различно оформленные основы со значением «картофель» (*карто́шки — карто́хи — карто́хли*) в западной части Калужской, юго-восточной части Смоленской и на северо-востоке Брянской обл. Слово *бура́к* («свекла»), как правило, в русских говорах относится к singularia tantum, однако отмечены говоры на запад от Москвы, в которых оно всегда pluralia tantum — *бураки́*. Аналогичны диалектные различия в названиях ягод: *земляни́ца — земляни́цы*, *брусни́ца — брусни́цы* и т. п.

в) Диалектные лексические разновидности слов, характеризуемые принадлежностью этих слов к разным грамматическим классам, пока в большей степени выявлены среди имен существительных. Они определяются принадлежностью существительных к разным типам или подтипам склонения, главным образом продуктивным в говоре. Распад старых непродуктивных типов (какими для русского языка являются старые основы на согласный и мужской род *i*-основ) есть в целом черта грамматического строя, а не лексики, несмотря на то, что в ходе этого распада и перегруппировки типов склонения намечается определенная лексикализация; ср., например, наличие в одних говорах слова *мышь* и в других — *мы́ша*, аналогично *вошь — вша*, *жизнь — жи́зня*, *мысль — мы́сля*, *мать* (или *ма́терь*) — *ма́теря*, *дочь* (или *до́черь*) — *до́черя*, *свекро́вь — свекро́вья — свекро́ва* (ср. в литературном языке *песнь — песня*) и др. Приводимые ниже существительные, относящиеся в одних говорах к одному типу склонения, в других — к другому, составляют не грамматикализованные, а чисто лексические разновидности. Такова, например, принадлежность слова *коромы́слы* (род. падеж *коро́мы́сел* или *коро́мы́слов*) к твердой разновидности склонения имен существительных мужского рода в одних говорах, а *коромы́сли* (мужской род, род. падеж *коромы́слей*) — к мягкой разновидности в других говорах (см. карту № 3), что также позволяет рассматривать эти слова как диалектные разновидности. Аналогично различие между лексическими разновидностями *кома́р* и *кома́р'*: первое слово относится к твердой разновидности слов мужского рода, второе — к мягкой разновидности того же склонения. Сюда же относятся диалектные слова *соба́ка* — мужского рода и *соба́к* — мужского рода, которые в одних говорах склоняются по типу *воевода*, а в других по типу *стол*, и др.

В области глагола намечаются, правда пока мало изученные, лексические разновидности, связанные с образованием основ глаголов одного и того же корня, не различающихся по виду, т. е. принадлежность глагола к одному классу (одному спряжению) в одних говорах и к другому классу (к другому спряжению) в других говорах. Таковы, например, отмеченные в 3-ем лице единственного числа настоящего времени глаголы *ржет — ржит* (о лошади), *ревёт — реви́т* (о корове) и некоторые другие.

Принадлежность глаголов с основой на заднеязычный или губной к различным подтипам спряжения (*ýкáть — ýчý* или *ýкáю*, *мигáть — мижý* или *мигáю*, *кáпать — кáплю* или *кáпаю* и др.) является, как правило, грамматической особенностью говоров, хотя образование основы настоящего времени указанных глаголов может сопровождаться определенной лексикализацией.

Устанавливая определенные типы различий в лексике русских диалектов, мы не рассматриваем специально вопрос о б о л ь ш е й и л и м е н ь ш е й з н а ч и м о с т и того или иного типа лексических различий, хотя, конечно, отдаем себе отчет, что одни из них более существенны, другие — менее. Например, по слову со значением «морковь» между диалектами различия могут быть неодинаковы. Так, если диалекту А свойственно название *морк6вь*, диалекту Б — *баркáн*, диалекту В — *морк6ва*, диалекту Г — *мóрковь*, то очевидно, что различие между указанными словами в диалекте Б, с одной стороны, и диалектах А, В и Г, с другой стороны, является более существенным, чем различие между соответствующими словами в диалектах В и Г, так как в первом случае налицо различие между корнями слов, а во втором случае различие проявляется только в грамматическом типе слова. Еще менее существенным представляется различие в названии моркови в диалектах А и Г, так как отличие соответственных слов в них сводится лишь к различию в месте ударения.

Рассмотренные выше типы диалектных различий в области лексики в ряде случаев могут выступать в определенных комбинациях. Например, слово *коромы́сло* — среднего рода единственного числа в одном говоре и *кор6мисел* — мужского рода единственного числа в другом говоре отличаются в трех отношениях[1]: фонематическом ([м] и [м'] в основе), акцентном (ударение на третьем или на втором слоге основы) и грамматическом (принадлежность к среднему или к мужскому роду); слова *жни́во* и *жнёвка* отличаются фонематическим оформлением основы ([й] и [é]), типом словообразования (без суффикса *-к-* и с суффиксом-*к-*) и грамматической характеристикой (принадлежность к среднему и женскому родам); слова *жнива́ — жнёвни́к* (названия жнивья) отличаются в фонематическом, словообразовательном и грамматическом (в категории числа: в первом случае pluralia tantum, во втором — singularia tantum) отношениях. Еще чаще встречаются различия по каким-либо двум показателям.

Рассмотренные примеры характеризуются тем, что имеющиеся в них несколько планов лексических различий выражены разными средствами. Однако встречаются случаи, когда несколько типов лексических различий выражены одним средством. Так, например, слова *кома́*[р] и *кома́*[р'] различаются твердым и мягким [р] в основе. С этим связано различие в двух отношениях: фонематическом и грамматическом (относятся к разным подтипам склонения слов мужского рода).

*

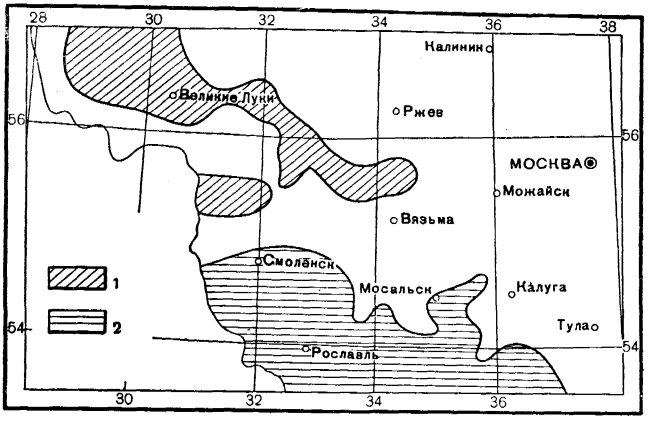
Различия чисто структурного характера до сих пор остаются неисследованными; их выявление связано в первую очередь с изучением лексики как системы, что пока почти не осуществляется. Попытаемся наметить некоторые из возможных структурных различий, которые представляются в настоящее время наиболее очевидными.

1. Соответственные слова по диалектам могут различаться объемом значения: определенному слову общего значения в одном говоре соответствует ряд слов, каждое из которых имеет более частное значение в другом говоре[2]. Таково различие, заключающееся в отсутствии единого термина для обозначения сжатого поля независимо от произраставших на нем ранее культур в одних говорах (в них имеются только частные названия, например: *ржи́ще* или *ржёвник — ржани́к — ржань* — жнивье после ржи, *пшени́ще* — жнивье после пшеницы, *овся́ни́ще* — после овса, *яровúще* — после яровой

[1] Лексические различия диалектов, выражающиеся в наличии слов разных корней, не могут рассматриваться как различия по нескольким показателям даже и в тех случаях, когда на первый взгляд имеются основания так их квалифицировать. Например, слово *стерня́* в одних говорах и соответственно слово *жнивёт ник* в других могут рассматриваться только как разнокорневые словарные различия, хотя в них налицо к тому же и очень приметные различия словообразовательного порядка; аналогично обстоит дело с соответственными словами *ухвáт — вúлки — емкú*, в которых налицо различия не только в корнях, но и в словообразовании и даже в грамматической принадлежности их (первое имеет формы единственного и множественного числа, второе и третье pluralia tantum).

[2] Предварительный анализ лексического материала по весьма неполным данным позволяет предположить, что в указанном отношении севернорусское наречие в какой-то степени противостоит южнорусскому: в севернорусских говорах намечается некоторое количество случаев с частными названиями, в южнорусских им соответствуют более общие.

пшеницы или других яровых культур, *клеверúще* — после клевера и т. д.) и наличие такого общего названия в других говорах (*жнúво*, *жнúвьё*, *ржúще*), и др. Ср. также наличие в некоторых говорах только названий овечьей шерсти, содержащих в себе указание на время, когда снималась эта шерсть (например, слова *осенúна* и *вешнúна*), тогда как в других говорах овечья шерсть называется безотносительно ко времени ее снятия (*шерсть* или *вóлна*). Многие говоры Великолукской обл. имеют только частные



Карта 4. Наличие общего или частных названий наседки: 1) зона распространения трех частных названий наседки: а) намеревающейся высиживать цыплят, б) высиживающей цыплят, в) водящей цыплят; 2) зона распространения только общего названия наседки

названия курицы-наседки: *квоктýха* — «курица, намеревающаяся стать наседкой», *седýха* — «наседка, сидящая на яйцах», *детúнка* (также *цыплятúца* или *кýрка*) — «наседка, водящая цыплят». Говоры южной части Смоленской обл. характеризуются наличием одного слова (обычно *квохтýха* или *квокýха*), обозначающего наседку независимо от стадии выведения цыплят. На карте № 4 показаны эти различия [незакрашенной осталась территория, о которой нет точных данных, причем в восточной части ее преобладают говоры, имеющие два частных названия: а) для намеревающейся высиживать и высиживающей, б) для водящей цыплят]. В некоторых говорах имеется слово *боронúть* (также *скородúть*) с общим значением «размельчать землю бороной», в других говорах слово с аналогичным общим значением отсутствует и имеются лишь слова с частными значениями: *боронúть* «разрыхлять землю после пахоты в первый раз», *волочúть* «боронить по второму разу», *заволáчивать* «засыпать землей при помощи бороны семена после посева».

2. В лексике диалектов могут быть структурные различия в характере выявления значений отдельных слов в плане, намеченном В. В. Виноградовым на материале русского литературного языка[1]. Так, например, между словарями диалектов, имеющими в своем составе прилагательное *баскóй*, может быть существенная разница, если в одном из диалектов это слово употребляется в широком значении «красивый», «такой, как надо» (например, говорят *баская девка*, *баской ситец*, *баская капуста* и т. п.), а в другом диалекте это слово употребляется ограниченно, только в применении к девушке: *баская девка*. Такого же рода различие наблюдается в употреблении слова *пахáть*, иногда осложненного различными префиксами, которое в одних говорах встречается в свободном значении «подметать», в других — в этом же значении, но только во фразеологически связанных сочетаниях: *запахáть* или *подпахáть печку* (в значении «замести золу и угли»). Аналогично: *кýтать*, *закýтать* «закрыть что-либо вообще» (дверь, окно, трубу, сундук и т. п.) в одних говорах и только *закýтать трубу* «закрыть трубу» в других. Характерна особая реализация одного из диалектных значений слова *мост* в некоторых говорах Уваровского района Московской обл. Здесь *мост* в значении «крыльцо, выходящее во двор» употребляется только в конструкции с предлогом *под* — *под мостóм* (о чем-либо, помещающемся под крыльцом избы, выходящим во двор, говорят, что этот предмет находится *под мостóм*); при этом само заднее крыльцо словом *мост* не называется. Представляет интерес слово *сябёр* (*шабёр*) «товарищ», «сосед», которое в некоторых говорах к югу от Смоленска не имеет свободного значения и, употреб-

[1] См. В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений слова, ВЯ, 1953, № 5.

ляясь лишь в сочетании с союзом *как*, выступает как определение крупного, здорового, но ленивого человека или животного: *здоро́в как сля́бёр*.

Изучение различных типов выявления значений слов целесообразно проводить в сопоставительно-сравнительном плане по многим диалектам с тем, чтобы таким образом восстановить на синхронном материале историю развития значений соответственных слов. Так, можно полагать, что «свободные значения слов» (по В. В. Виноградову) в диалектах являются продуктивными и свидетельствуют о полнокровной жизни слова. Разного рода ограниченные в своем употреблении слова часто являются реликтовыми и свидетельствуют о постепенной утрате их в диалекте (если только они не заимствованы в ограниченном употреблении из другого диалекта или литературного языка).

3. К структурным различиям могут быть, по-видимому, отнесены также различия в словообразовании определенных групп слов, объединенных общим значением. Так, группа слов со значением названия детенышей оформляется суффиксом *-онок* (*-ёнок*) в одних говорах и суффиксом *-енёнок* в других: *гусёнок — гусенёнок, волчо́нок — волченёнок, телёнок — теленёнок, девче́нка — девченёнка* и т. п. Такого же рода различия наблюдаются в образовании форм множественного числа: *теля́та — телёнки, девча́та — девче́нки, гуся́та — гусёнки, волча́та — волчо́нки, медвежа́та — медвеже́нки* и др. Ср. также названия зарослей какого-либо кустарника или однородного леса с суффиксом *-ик* в одних говорах, с суффиксом *-иг* — в других и с суффиксом *-яг* — в третьих говорах: *сосни́к* (род. падеж *сосника́*) — *сосни́г* — (род. падеж *сосни́га́*) — *сосня́г* (род. падеж *сосня́га́*), *мали́нник — мали́ннига — мали́ння́г, оси́нник — оси́ннига — оси́ння́г* и т. п.; лексико-грамматическая группа названий ягод может иметь суффиксы *-ик, -иг* или *-иц: земляни́ка — земляни́га — земляни́ца, брусни́ка — брусни́га — брусни́ца, черни́ка — черни́га — черни́ца* и др.

Структурные отличия в лексике до настоящего времени остаются наименее выявленными. Они почти не описаны в литературе и мало отражены на лексических картах подготавливаемых атласов русских народных говоров. Между тем в некоторых случаях именно они могут составлять сущность диалектных лексических различий. Выявление их предполагает тщательную фиксацию соответствующих фактов в процессе собирания диалектного материала и предварительное монографическое изучение лексики говора.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1957

Н. З. ГАДЖИЕВА

КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Проблема сложноподчиненного предложения в тюркологической литературе является одной из наиболее спорных. Мы встречаемся здесь с целым рядом различных, часто исключающих друг друга воззрений на природу придаточного предложения. Одна группа тюркологов рассматривает все причастные, деепричастные и глагольно-именные конструкции как придаточные предложения лишь на том основании, что в русском и других индоевропейских языках им могут соответствовать таковые, т. е. фактически исходят из перевода[1].

Диаметрально противоположной точки зрения придерживается другая группа тюркологов, для которых решающим критерием при определении придаточных предложений является наличие сказуемого в личной глагольной форме (verbum finitum) и которые поэтому относят все причастные, деепричастные и глагольно-именные конструкции к составу простого предложения[2]. Наконец, есть третья группа тюркологов, которые выработали более дифференцированный подход к решению вопроса о том, считать ли причастные, деепричастные и глагольно-именные конструкции оборотами или придаточными предложениями. Придаточными предложениями признаются лишь те конструкции, которые характеризуются относительной логической самостоятельностью и отвечают определенным грамматическим требованиям (имеют самостоятельное подлежащее, отличное от подлежащего главного предложения, и пр.)[3].

Отсутствие в тюркологической литературе единых критериев выделения придаточных предложений отчасти объясняется недостаточным вниманием со стороны тюркологов к вопросам, связанным прежде всего с теорией простого предложения, а также с природой самих причастных, деепричастных и глагольно-именных форм.

---

[1] Эта точка зрения, основанная на чисто логическом подходе к природе тюркских придаточных предложений, имеет довольно давнюю традицию. Впервые в тюркологической литературе она была выдвинута Мирзой Казем-Беком — автором одной из ранних тюркских грамматик (см. М. А. Казем-Бек, Грамматика турецко-татарского языка, Казань, 1839 и особенно ее второе издание «Общая грамматика турецко-татарского языка», Казань, 1846).

Эта же точка зрения представлена в работах: В. Гордлевский, Грамматика турецкого языка (Морфология и синтаксис) («Труды Моск. ин-та востоковедения им. Н. Нариманова при ЦИК СССР», X), М., 1928, стр. 140—151; А. Боровков, Учебник уйгурского языка, Л., 1935, стр. 135—136.

Того же воззрения придерживается и большинство зарубежных тюркологов; об этом можно судить на основании косвенных замечаний по вопросам синтаксиса сложного предложения, которые содержатся в их работах общего характера (см.: I. Németh, Türkische Grammatik, Berlin und Leipzig, 1916; H. Jansky, Lehrbuch der türkischen Sprache, Leipzig, 1943, и др.).

[2] См.: И. А. Батманов и А. Н. Вильпер, Учебник узбекского языка. Синтаксис. Для 7—8 г. обуч. русск. средн. школ, Ташкент, 1933, стр. 65; Н. П. Дыренкова, Грамматика шорского языка, М.—Л., 1941 (нужно отметить, что Н. П. Дыренкова, рассматривая причастные и деепричастные конструкции с самостоятельными подлежащими как развернутые члены предложения или обороты, признает сложными предложения, в состав которых они входят; см. стр. 285); М. Ш. Ширалиев, Сложноподчиненное предложение в азербайджанском языке, ВЯ, 1956, № 1, и др.

[3] Основные установки для определения придаточного предложения сторонниками рассматриваемой точки зрения были даны Н. К. Дмитриевым в его грамматиках кумыкского и башкирского языков (см.: Н. К. Дмитриев, Грамматика кумыкского языка, М.—Л., 1940, стр. 191—196; его же, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 244—248). Именно эта точка зрения в наибольшей степени соответствует нашим взглядам, однако, как нам представляется, и она нуждается в дальнейших уточнениях.

Термины главное и придаточное предложения — так принято в школьной традиции именовать части сложноподчиненного целого — конечно, условны; и в этом отношении можно целиком присоединиться к мнению Н. С. Поспелова о том, что «ни одна из частей сложного предложения не только сложноподчиненного, но и сложносочиненного не является предложением, которое бы всегда имело интонационную и смысловую законченность»[1]. Между главной и придаточной частью имеют место различные степени спаянности, что зависит от того, поясняется ли какой-нибудь член главного предложения или все предложение в целом. Поэтому следует говорить об относительной законченности мысли, выражаемой придаточным предложением, и об относительной интонационной самостоятельности. Однако это не мешает придаточному предложению быть грамматически оформленным по законам данного языка[2]. Грамматическое оформление придаточного предложения, как и простого, во всех языках находит свое выражение в подлежащем и сказуемом, двух неотъемлемых структурных элементах предложения. Взаимоотношение между этими основными элементами предложения и создает те отношения, которые обычно называют предикативностью[3]. Однако предикативность не следует смешивать с глагольностью. Таким образом, когда мы говорим о критериях выделения придаточных предложений, то требование глагольности его сказуемого как основного признака предложения лишено всяких оснований. Между тем для некоторых тюркологов это основной мотив, по которому причастные, а также и деепричастные конструкции лишаются права быть придаточными предложениями[4].

Если ввести такой критерий выделения придаточных предложений, то от этого пострадают не только придаточные, но и большинство самостоятельных именных предложений, отнесение которых к простым словосочетаниям привело бы к абсурду. Те, кто предъявляет придаточным предложениям требование обязательной глагольности, по-видимому, забывают об одной из наиболее характерных отличительных особенностей тюркских языков: значительное место в последних (по сравнению с индоевропейскими языками) занимают именные предложения. Преобладание именного характера отношений в синтаксисе тюркских языков неоднократно подчеркивали Ж. Дени и К. Гренбек, правильно замечая постепенное накопление глагольных свойств у ряда форм по мере их исторического развития[5]. Небезынтересно и то, что, перечисляя личные формы глагола в древнейших тюркских эпиграфических памятниках, а именно — в орхонских надписях VIII в., В. В. Радлов указывал только императив и имперфект[6]. Тот факт, что вместо личных форм глагола употребляются причастные и глагольно-именные образования в сочетании с местоименными показателями сказуемости либо вовсе без них, правильно подметил и А. П. Поцелуевский[7]. Приведем пример этому из памятника руницеского письма: *Jaryn kičä altun örgin üzä olurupan, mäniläjür män* «Утром и вечером, сидя на золотом престоле, я радуюсь»[8]. В сказуемом *mäniläjür män* «я радуюсь» *män* — показатель сказуемости, формально совпадающий с личным местоимением. Ср. также: *ол йәкä бармыш ол* «Он отправился домой» (МК, I, 38_1)[9].

Материал памятников древнетюркской письменности и факты, наблюдающиеся в современных тюркских языках, свидетельствуют также о полной несостоятельности доводов тех тюркологов, которые обязательным условием для придаточного предложения считают морфологическое согласование между подлежащим и сказуемым[10].

В памятниках древнетюркской письменности наблюдаются случаи, когда те или иные

---

[1] Н. С. Поспелов, О различиях в структуре сложноподчиненного предложения (На материале сложноподчиненных предложений с придаточными временными и определительными), сб. «Исследования по синтаксису русского литературного языка», М., 1956, стр. 48.

[2] См. об этом В. В. Виноградов, Основные вопросы синтаксиса предложения (На материале русского языка), сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955, стр. 389.

[3] См. об этом Э. В. Севортян, К проблеме частей речи в тюркских языках, сб. «Вопросы грамматического строя», стр. 219.

[4] См., например, М. Ш. Ширалиев, указ. соч., стр. 95.

[5] См. : J. Deny, Grammaire de la langue turque . (Dialecte Osmanli), Paris, 1921, стр. 144, § 199; K. Grönbech, Der türkische Sprachbau, Kopenhagen, 1936, стр. 85.

[6] W. Radloff, Die alttürkische Inschriften der Mongolei, Lief. 3, СПб., 1895, стр. 414—417.

[7] А. П. Поцелуевский, Основы синтаксиса туркменского литературного языка, Ашхабад, 1943, стр. 6. На именной характер спряжения в тюркских языках указывал также Н. К. Дмитриев (см. его «Строй турецкого языка», Л., 1939, стр. 33).

[8] С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М.—Л., 1951, стр. 80, (1).

[9] В статье принято следующее сокращение: МК (I—III) — [Mahmud Kaşgarī], «Divanü lûgat-it-türk» tercümesi, çeviren B. Atalay, cilt I—III, Ankara, 1939—1941.

[10] См., например, М. Ш. Ширалиев, указ. соч., стр. 94—95.

так называемые причастные и глагольно-именные формы, функционируя в качестве сказуемых бесспорно самостоятельных простых предложений, не принимают никаких личных показателей. Отсутствие морфологического согласования в лице со своим подлежащим мы наблюдаем, например, у формы на *-дык*. В словаре Махмуда Кашгарского имеется много случаев предикативного употребления формы на *-дык* во всех лицах без соответствующих показателей лица. Например: *Мән jā курдук* «Я сделал лук» (МК, II, 61_{3-4}); *Олар таʁка аʁдук* «Они поднялись на гору» (МК, II, 61_{9-10}); *Ол кäлдӱк* «Он пришел» (МК, II, 61_{19-20}).

В хамийском наречии уйгурского языка показатель *-дык*, соединяясь с *ікän*, входит в состав своеобразной формы именного сказуемого, весьма распространенной в песенном и сказочном жанре. Например: *Тал дäптo мäн, тäл дäптo мäн! Дірäк ікän-дӱк! Ушлап кочан ун дäптo мäн! Ківäк ікän-дӱк* «Я назвал тебя тальником, я назвал тебя тальником (изящной), А ты оказалась осиной. Я схватил, думая, что мука, А это оказалось мякиной»[1].

По сведениям С. Е. Малова, в языке желтых уйгуров в форме прошедшего категорического времени отсутствие личных окончаний является нормативным (ср. *мен алты* «я взял» и *сен алты* «ты взял»). Отсутствие личных окончаний наблюдается и в прошедшем времени на *-ган* в диалектах узбекского языка; ср. *мен олган* «я взял» и *сен олган* «ты взял»[2]. Не случайно также и то, что во многих современных тюркских языках отсутствие личного оформления в 3-ем лице является нормативным. Ср. азерб. *Сабаһ анам Москвая кедəчəк* «Завтра моя мать поедет в Москву» и т. д.

В современном чувашском языке, наиболее ярко сохранившем следы древнего состояния тюркских языков, отсутствие личных показателей сказуемого — явление довольно частое. Так, не принимает личных окончаний форма на *-са*, конструкции с которой во многих тюркских языках, кажется, никто из тюркологов не сомневается отнести к придаточным предложениям. И. П. Павлов отмечает, что «в наречии виръял деепричастие на *-са//-се*... широко употребляется в функции сказуемого простого предложения. Но при этом для всех лиц и чисел выступает одна и та же деепричастная форма, никакой аффикс сказуемости к ней не прибавляется...

Ср.: В наречии виръял: *Эпĕ ку кĕнексне тахҫанах вуласа*. В литературном языке: *Эпĕ ку кĕнекене тахҫанах вуланă*. Их значение одно и то же: „Я эту книгу давно читал“»[3].

Эта особенность формы на *-са* в чувашском языке стоит в определенной связи с аналогичным явлением в памятниках древнетюркской письменности, где форма на *-са* (древний ее облик — *-сар*), выступая в качестве сказуемого самых разнообразных типов придаточных предложений, не принимает личных показателей. Ср. *Ол jiрäрӱ барсар, тӱрк будун, ӧлтачісäн* «Итак, о тюркский народ, когда ты идешь в ту страну, ты становишься на краю гибели»[4].

В отношении использования так называемых причастных и деепричастных форм в качестве сказуемых самостоятельных и зависимых предложений тюркские языки не представляют исключения. Подобное явление можно наблюдать в древнерусском языке[5]. Если причастия и деепричастия в современном русском языке обладают значительно меньшей степенью предикации, чем эти же категории в памятниках древнерусской письменности, то причастия, деепричастия и глагольные имена в современных тюркских языках продолжают сохранять предикативные свойства, которые, как мы пытались показать, связаны с самой природой тюркского предложения.

На этом основании мы допускаем в тюркских языках возможность для так называемых причастных, деепричастных и глагольно-именных форм выступать в качестве сказуемых придаточных предложений. Мы неоднократно подчеркиваем «так называемые причастия и пр.» в функции сказуемого, потому что в данном случае можно говорить лишь о своеобразных глагольных формах, функционирующих как сказуемые и имеющих в качестве своих грамматических омонимов значения причастия, деепричастия и глагольных имен. Можно говорить о преобладании у той или иной формы на почве данного

[1] С. Е. Малов, Уйгурский язык. Хамийское наречие, М.—Л., 1954, стр. 16—17.

[2] Э. А. Грунина, Сложноподчиненное предложение в современном узбекском языке. Канд. диссерт., М., 1952, стр. 55.

[3] И. П. Павлов, Деепричастия в чувашском языке и их синтаксические функции. Канд. диссерт., М., 1953,стр. 207.

[4] С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, стр. 28, (8).

[5] Многочисленные примеры этому приводят А. А. Потебня (в работе «Из записок по русской грамматике», ч. II — Составные члены предложения и их замены в русском языке, Харьков, 1874, стр. 94) и М. И. Пигин (в статье «Причастное сказуемое в древнерусском языке,выраженное нечленным действительным причастием», «Уч. зап. Карело-финск. гос. ун-та», т. V, вып. I — Исторические и филологические науки, Петрозаводск, 1955, стр. 181, 190, 191). А. А. Потебня при этом указывал, что «причина, по которой аппозитивное причастие в древнем языке скорее может иметь свое особое подлежащее, чем в новом, может заключаться в том, что причастие в древнем языке более глагольно, чем в новом...» (указ. соч., стр. 93).

конкретного языка одного из этих значений, по которому мы и назовем условно всю форму. Так, будет правильно говорить о причастии на *-ан* в азербайджанском, турецком языках, но о глагольном имени на *-дык* (ни в коем случае не о причастии!) в тех же языках и т. д. Своеобразные глагольно-именные формы, выступающие в качестве сказуемых, как бы окончательно «оглаголились» на почве своей предикативной функции, и их правильнее называть неличными формами глагола (verbum infinitum)[1].

Сопоставление материала памятников древнетюркской письменности и фактов современных тюркских языков дает нам интересную картину грамматического развития этих форм — от грамматической нерасчлененности в древности к четкому обособлению причастий, деепричастий, verbum infinitum в современных языках. В качестве примера возьмем форму на *-дык*. В памятниках древнетюркской письменности форма на *-дык* употреблялась как причастие, деепричастие, глагольное имя, verbum infinitum.

1. Как деепричастие: ... *ітінӱ јаратуну умадук, јана іґікміс* «... не будучи в состоянии (что-либо) сделать для себя и создать, он (тюркский народ) подчинился государству Табгач»[2].

2. Как verbum infinitum: «*Ӱзä кӧк тäңрі асра јаБыз јір кылынтукда, äкін ара кісі оБлы кылынмыс* «Когда было сотворено (и л и: возникло) вверху голубое небо (и) внизу темная (б у к в. бурая) земля, то между (ними) обоими были сотворены (и л и: возникли) сыны человеческие (т. е. люди)»[3].

3. Как причастие: ... *тӱрк будун іllädӱк ілін ычБыну ыдмыс, каБанладук каБанын јітӱрӱ ыдмыс* «тюркский народ привел в расстройство свой (до того времени) существовавший племенной союз и навлек гибель на царствовавшего над ним (до того времени) кагана»[4].

Из современных тюркских языков форма на *-дык* стабилизовалась в южной группе, закрепившись в этих языках в значении глагольного имени и часто выступая как verbum infinitum. В других тюркских языках (например, в башкирском) ее употребление носит эпизодический характер. Существование ее в башкирском языке связано уже не с формообразованием, а со словообразованием; ср.: *табылдык* «находка», *казылдык* «ископаемое» и пр.[5].

Проследим также развитие формы на *-сар*. В памятниках древнетюркской письменности эта форма выполняет как атрибутивную функцию, так и функцию *verbum infinitum*. Например: *Äрдäм болсар будунуБ äрк будунуБ*. «Народ, у которого есть доблесть, сильный народ»[6]. *Äр äрдäм äлім болсар, будун ісрік јӧрӱмäді äрінчім ікізімä* . . . «Так как мое государство обладало геройской доблестью, то народ возбужденным (или мятущимся) не ходил . . . (к двоим?)»[7]. В современных же тюркских языках форма на *-са(р)* не имеет собственно причастного значения.

Процесс грамматического развития прошла и форма на *-мыш*, которая в южных языках (для них именно она и характерна, будучи в других тюркских языках, например татарском, киргизском, достоянием области словообразования) утратила способность к деепричастным образованиям, распространенным в памятниках древнетюркской письменности (ср. образование типа *-mişçä* по аналогии с *-dikçä* и др.). Правда, в азербайджанском языке можно наблюдать еще необычное деепричастное образование на *-мамыш*. Иначе обстоит с формой на *-ган*, которая в данном фонетическом облике в ряде тюркских языков (ср., например, казахский, узбекский, уйгурский) прочно сохраняет все свои значения.

Способность так называемых причастных, деепричастных и глагольно-именных форм выступать в качестве сказуемого придаточного предложения при условии наличия при них самостоятельного подлежащего является лишь общим критерием выделения придаточных предложений. Применяя этот критерий, следует учитывать природу и особенности каждой из перечисленных форм в каждом конкретном языке. Нам представляется ошибочным утверждение, что форма на *-ган//-ан* во всех тюркских языках, в которых она встречается, может функционировать в качестве сказуемого придаточного предложения. Это зависит от свойств, которыми обладает указанная форма в том или ином конкретном языке. Наблюдения показывают, что в языках, например, кыпчакского типа у этой формы обнаруживается гораздо большая склонность к предикации, чем в языках огузского типа. Так, нельзя говорить о предикативных свойствах формы на *-ан* (очевидно, представляющей собою один из фонетических вариантов формы на *-ган*) в азербайджанском языке. Естественно возникает вопрос, от чего же зависят эти предикативные свойства и как их можно определить в каждом конкретном случае? Часто в качестве будто бы неоспори-

---

[1] В применении к указанным формам этот термин предложен Н. К. Д м и т р и е в ы м (см. «Грамматика башкирского языка», стр. 134).

[2] С. Е. М а л о в, Памятники древнетюркской письменности, стр. 29, (10).

[3] Там же, стр. 28, (1).

[4] Там же, стр. 29, (6), (7).

[5] Примеры взяты из работы: Н. К. Д м и т р и е в, Грамматика башкирского языка, стр. 201.

[6] С. Е. М а л о в, Енисейская письменность тюрков, М.—Л., 1952, стр. 56, (1).

[7] Там же, стр. 56, (2).

иого доказательства возможности для так называемых причастных форм функционировать в качестве сказуемых придаточных предложений тюркологи приводят следующий факт: данная форма, выступая в качестве сказуемого, обладает признаками глагола (категориями залога, вида, наклонения, времени и др.). Однако всеми этими признаками обладают данные формы и в атрибутивно-причастном значении. Значит, это не может служить решающим доводом.

Прежде всего, признавая за той или иной формой право выступать в качестве сказуемого, мы должны требовать от нее относительной самостоятельности, присущей и необходимой для того, чтобы стать главным членом предложения — сказуемым. Если мы с такой точки зрения рассмотрим форму на *-ан* в азербайджанском языке, то заметим, что она такой самостоятельностью не обладает. Конструкции с формой на *-ан* в азербайджанском языке носят чисто атрибутивный характер, несмотря даже на возможность наличия при ней подлежащего, оформленного основным падежом. Характерно, что в таких случаях подлежащее настолько тесно примыкает к форме на *-ан*, что между ними трудно вставить какие-либо другие слова. Например: *Мән дә сиз алан норманы алырам* (Мехти) «И я возьму норму, которую Вы берете».

Таким образом, можно видеть, что самого по себе наличия самостоятельного подлежащего еще недостаточно для того, чтобы конструкция стала предикативной. Атрибутивный характер формы на *-ан* в южных языках лишний раз проявляется в частом ее использовании в качестве приложения. Ср. азерб. *Буну, бу аилənин ən кичик үзвү олан дөрд яшлы Зүмрүд дə ələjə билерди* (Абдульгасан) «Это могла сделать и четырехлетняя Зумруд, самый младший член этой семьи». Следует заметить, что в форме на *-ан* нередко можно встретить глагол *олмаг*; *олан* выполняет в данном случае роль как бы атрибутивного уточнителя, указывая на атрибутивную функцию формы или оборота, при которых она выступает. Например: азерб. *Бу күн көрүлмəли олан иши сабаһа гойма* «Дело, которое должно сделать сегодня, не откладывай на завтра». Интересно, что в таких случаях употребления атрибутивного уточнителя *олан* значение сопровождаемой им формы не изменяется (в нашем примере это форма на *-малы* — ср. случаи атрибутивного употребления этой формы без *олан*: *көрмəли ердир* «это место, которое стоит посмотреть»; *күлмəли сөз* «смешное слово» и т. д.). Не случайно также употребление формы на *-ан* при образовании так называемых перифрастических форм причастий. Наконец, атрибутивной природой формы на *-ан* в южных тюркских языках, видимо, обусловлена и склонность ее к субстантивации. Ср. азерб. *Күчəдə кəлəнлəр кедəнлəр азды* «На улице было мало прохожих».

Все так называемые неличные формы в функции сказуемого объединяет одно общее свойство — динамика действия и вместе с тем несамостоятельность во временном отношении. Временное же значение причастий не зависит от временного значения главного сказуемого. Например, азерб. *Мән кəлдим о олан шəһəрə* «Я приехал в город, в котором он находится». В отличие от главного сказуемого конструкция с *олан* не выражает динамики действия, а имеет статический характер.

Наряду с этим мы отмечаем предикативные конструкции, в которых время действия придаточной части соотносится с действием, выражаемым в главной части. Например, узб. ... *отам бу ердан кетганида, мен гўдак эдим* (М. Осимов) «... когда мой отец ушел из этих мест, я был грудным младенцем»[1]. Здесь действие, выраженное формой на *-ган*, соотносится с прошедшим временем главного предложения.

Таким образом, при разграничении атрибутивных и предикативных конструкций с формой на *-ган//-ан* важно учитывать, насколько в этой форме сильны атрибутивно-причастные свойства. Наличие последних обычно не предполагает способности данных форм давать личные глагольные образования (verbum finitum). Так, форма на *-ан* в азербайджанском и турецком языках, не обладая предикативными свойствами, не дает образований по линии категории времени. Напротив, например, в узбекском, алтайском и других языках форма на *-ган*, употребляясь аппозитивно и образуя предикативные конструкции, лежит в основе прошедшего результативного времени.

В тюркологической литературе конструкции неличных форм с самостоятельным подлежащим иногда не рассматриваются как придаточные предложения на том основании, что основной падеж подлежащего будто бы является «неоформленным родительным падежом» и в структуре тюркских языков якобы существует тенденция к так называемому отбрасыванию родительного падежа и активизации субъекта [2]. Нам, однако, представляется сомнительным предполагать, что предикативным конструкциям предшествовали атрибутивные. Исторический материал свидетельствует о том, что уже в раннюю эпоху в тюркских языках были развиты конструкции так называемых неличных форм с подлежащим в основном падеже. Учитывая также то обстоятельство, что способ простого примыкания является как самый простой одним из наиболее древних, правильнее допустить параллельное сосуществование конструкций с основным и родительным

[1] Пример взят из кн.: А. Н. К о н о н о в, Грамматика узбекского языка, Ташкент, 1948, стр. 255.

[2] См., например: М. Б. Б а л а к а е в, Активизация субъекта в казахском языке, «Изв. АН Казахск. ССР», № 77, Серия лингвистическая, вып. 5, 1948.

падежом. Против утверждения о первоначальности конструкций с родительным падежом говорят и факты отсутствия подобных параллелей для целого ряда предикативных конструкций. Ср. обстоятельственные конструкции с формой на *-дык* в азербайджанском языке или обстоятельственные конструкции с формой на *-ган*, например, в казахском языке. Никогда не имеют параллелей с субъектом в родительном падеже предикативные конструкции с неличной формой сказуемого, восходящей к деепричастиям. Надо сказать, что деепричастия по своей природе обладают бóльшими предикативными свойствами, чем причастия. Этому способствует их исключительно аппозитивное употребление, а также способность соотносить выражаемое действие со временем совершения действия главного сказуемого (ср. употребление деепричастий в слитных предложениях).

Деепричастия в тюркских языках можно разбить на две группы. Одна группа, кстати весьма малочисленная, —это как бы первообразные деепричастные формы. По значениям им можно найти соответствия в языках индоевропейского типа. Таковыми являются, например, деепричастия на *-ыб*, на *-а* и некоторые другие. Характерно, что такие деепричастия легли в основу образования категории времени (ср. в азербайджанском языке прошедшее-результативное, основой которого является деепричастие на *-ыб*). Причем особенность таких деепричастных форм заключается в том, что при употреблении их с самостоятельным подлежащим трудно разграничить, когда они выступают в качестве деепричастия и когда в качестве временнóй формы. Поэтому нередко бывает трудно решить, как квалифицировать данное предложение — как придаточное или как самостоятельное в составе сложносочиненного целого. Например, азерб. *Ат өлүб итләрин байрамыдыр* (Пословица) «Когда подыхает (или без *когда*) лошадь,у собак праздник».

Вторую группу деепричастий составляют преимущественно производные образования, по своему происхождению восходящие большей частью к причастиям (ср. кирг. *-ганча*, узб.*-гунча*, турецк., азерб.*-дыгча*,туркм.*-гачи* т. д.). Эти специфические для тюркских языков деепричастия не образуют временных форм изъявительного наклонения. Выражая различные модальные значения (последовательность во времени, причину, условие и пр.), они определяют собой характер взаимоотношения между придаточным и главным предложениями. Так, в азербайджанском языке придаточные предложения со сказуемым, выраженным деепричастием на *-дыгча*, обозначают действие, по мере совершения которого происходит действие, выраженное сказуемым главного предложения. Например: *Адам гочалдыгча тамаһы артар* (Пословица) «По мере того, как человек стареет, его жадность возрастает». Таким образом, являясь носителями разнообразных модальных значений, эти деепричастия являются одним из специфических грамматических способов выражения зависимости придаточного предложения от главного.

Нетрудно заметить,что в образовании деепричастных форм значительная роль принадлежит некоторым падежным аффиксам, а именно — аффиксам пространственных падежей, как наиболее склонным к грамматическому абстрагированию. Этот способ своими корнями уходит в глубокую древность (ср. древнеуйгурское деепричастное образование на *-мышта*, не свойственное современным языкам, или енисейско-орхонское на *-дукта* и пр.).

В оформлении придаточных предложений в тюркских языках большое участие принимают послелоги и служебные имена, значения которых в составе сложного предложения отличаются своеобразием. При классификации придаточных предложений по отдельным типам мы должны учитывать те значения, которые вносятся этими, для некоторых типов придаточных предложений неотъемлемыми, структурными элементами.

Говоря о грамматических способах соединения придаточного и главного предложений, следует отметить и союзы, получившие неодинаковое развитие в различных тюркских языках. По мнению некоторых тюркологов, богато представленная система союзной связи является основанием для того, чтобы не считать придаточными предложениями так называемые причастные, деепричастные, глагольно-именные конструкции со своим подлежащим[1]. О значительной степени развития союзной связи можно говорить в отношении таких языков, как азербайджанский, узбекский, которые имеют довольно давнюю письменную традицию. Грамматическими же способами, передающими самые разнообразные нюансы подчинительных отношений в младописьменных тюркских языках, являются сами причастия и деепричастия, в оформлении которых могут участвовать аффиксы пространственных падежей, а также послелоги, служебные имена. Все эти средства имеют и азербайджанский, и узбекский языки. История формирования и развития этих литературных языков показывает, что именно со времени сближения письменных литературных языков с народными значительно развиваются причастные, деепричастные и глагольно-именные конструкции. Эти конструкции составляют характерную особенность строя всех тюркских языков и берут свое начало в глубокой древности; в частности, они являются преобладающими в чувашском языке, в неприкосновенности сохранившем многие древние черты.

Если внимательно присмотреться к союзам, которые получили развитие в старо-

[1] См. М. Ш. Ширалиев, указ. соч.

письменных языках, то нетрудно заметить, что преобладающее их большинство арабского и персидского происхождения (как известно, именно эти языки оказывали влияние на азербайджанский и узбекский литературные языки в процессе их исторического развития). В отношении большинства таких союзов нельзя говорить о семантической дифференцированности. Так, универсальный союз *ки* в азербайджанском языке вводит почти все типы придаточных предложений. Решающим основанием при классификации таких придаточных предложений по отдельным типам является значение уточнителей — соотносительных слов, включаемых в независимую часть сложного целого. Однако неличные формы сказуемого как своеобразный грамматический способ соединения главного и придаточного предложений характеризуются значительно более четкой семантической и грамматической дифференцированностью. В качестве примера возьмем придаточные предложения времени в азербайджанском языке. Здесь весьма многообразны грамматические способы выражения сказуемых придаточных предложений: это различные деепричастные и глагольно-именные формы как в сочетании с послелогами, служебными именами, так и без них, и за каждой такой формой закреплено строго определенное модальное значение. Так, придаточное со сказуемым-деепричастием на *-анда* передает действие, во время которого и параллельно которому происходит действие, выраженное сказуемым главного предложения. Например: *Пишик олмаянда, сичанлар ова чыхар* (Пословица) «Когда нет кошки, мыши выходят на охоту».

Придаточное со сказуемым — формой на *-чәк* выражает действие, вслед за которым непосредственно следует действие, выраженное главным сказуемым. Например: *әһмәд ичәри кирчәк дөрд тәрәфдән ону бүрүдүләр* (Джабарлы). «Как только Ахмед вошел, его окружили с четырех сторон».

Придаточное со сказуемым, выраженным формой на-*дыг* в сочетании со служебным словом *һал* в местном падеже, передает действие, параллельно которому происходит другое действие (вместе с этим конструкция содержит в себе и оттенок сравнения): *О чохданбәри өз сәнәтинә даир китаб охумадығы һалда Таһир електрикә даир балача бир китабхана дүзәлтмишди* (Мехти). «В то время как он уже давно не читал книг по своей специальности, Тахир собрал уже маленькую библиотеку по электричеству».

Очень любопытны случаи параллельного употребления неличных форм сказуемого в сочетании с союзной связью. Так, изучая материалы современного азербайджанского языка, нам удалось встретить довольно частые случаи употребления деепричастия на *-анда* глаголов речи в сочетании с союзом *ки* — при наличии прямой речи. Такие конструкции обычно выступают в придаточных предложениях времени. Например, *Акстафа чохсәнәтли артелин сәдри Мәсмәлиевдән хәбәр аланда ки, артелдә вәзийәт нечәдир? Дейир: — Кечән ил чох пис иди, бу ил бир хейли ирәлиләмә вар* (Кирпи). «Когда у председателя ремесленных артелей Акстафы Месмелиева спросили, каково положение в артели, он сказал, что в прошлом году было плохо, а в этом — есть значительные успехи»; *Мән сәнә дейәндә ки, мешәйә кетмәк тәһлүкәлидир совүмә бахмырдын* «Когда я тебе сказала, что в лес ходить опасно, ты не послушалась меня».

В заключение следует отметить, что при классификации придаточных предложений следует учитывать семантику составных компонентов сложного целого, а также грамматические средства их связи. Мы уже говорили о таких грамматических способах, как союзы и соотносительные слова, неличные формы глагола при возможном участии в них падежных аффиксов, а также ряда послелогов и служебных имен. Как один из грамматических способов можно рассматривать соотносительное употребление форм времени и наклонения в составных частях сложноподчиненного целого. Так, например, сказуемое придаточного предложения цели обычно стоит в форме повелительного либо желательного наклонений. Например: азерб. *Бу ахшам совуруғу гуртараг ки, сабаһ галаныны дөйә биләк* (М. Ибрагимов) «Сегодня вечером мы кончим веять (с тем), чтобы завтра мы смогли обмолотить оставшееся».

К числу способов, выражающих отношения между придаточным и главным предложениями, можно отнести структурно-лексические соответствия между частями сложноподчиненного предложения. Например, азерб. *Сүбһ һәлә ачылмамышды, мән ова чыхдым.* «Утро еще не наступило, (когда) я вышел на охоту».

При классификации типов придаточных предложений следует обращать внимание и на ряд других признаков. Так, в азербайджанском языке при классификации придаточных дополнительных нужно учитывать семантические разряды глаголов — сказуемых главных предложений: придаточные со сказуемыми в форме повелительного, желательного наклонений дополняют обычно главное предложение со сказуемым, имеющим значение желания, просьбы, совета. Однако надо заметить, что вопросы, связанные с классификацией типов придаточных предложений, являются предметом специального рассмотрения.

Для всестороннего изучения сложноподчиненного предложения, в области которого в тюркских языках остается все еще немало неисследованного, недостаточна описательная работа по выявлению отдельных видов придаточных предложений, проведенная уже по многим тюркским языкам. В настоящее время ощущается большая потребность в исторических исследованиях тюркского синтаксиса.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1957

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О КНИГЕ П. Я. ЧЕРНЫХ «ОЧЕРК РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ» [1]

Вопросы развития русской лексики от древнейших времен до наших дней не получили пока в научной литературе полного и всестороннего освещения. Основной причиной этого пробела следует признать в первую очередь отсутствие исторического словаря русского языка, а также специальных словарей по разным областям русской лексики.

Известные «Материалы для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского остаются основным, если не единственным, справочником для всякого исследователя, интересующегося вопросами древнерусской лексики. За последние годы в Советском Союзе было написано несколько диссертаций, посвященных отдельным сферам древнерусской лексики, но в основном это пока сырой материал. Вот почему рассматриваемая работа проф. П. Я. Черных, представляющая собою учебное пособие для филологических вузов, была встречена и за пределами Советского Союза с большим интересом.

«Очерк русской исторической лексикологии» отличается от обычных вузовских пособий тем, что он является не сводкой более или менее проверенных фактов по данной дисциплине, а скорее рядом самостоятельных этюдов и эскизов с множеством отступлений и экскурсов. Назвать же самостоятельным монографическим исследованием эту работу нельзя из-за отсутствия строгой цитации; читателю, мало знакомому с проблематикой славянской и древнерусской лексикологии (а студент филологического вуза является именно таким читателем), подчас будет трудно отделить общеизвестные факты от оригинальных высказываний самого автора, проверенные истины от более или менее спорных точек зрения отдельных, в книге далеко не всегда упоминаемых, исследователей.

«Очерк» разбит на пять неравных по объему глав: «Введение» (стр. 3—23), «Общеславянский словарный фонд и его развитие в древнерусскую эпоху» (стр. 24—93), «Диалектальные явления общеславянской эпохи. Общевосточнославянская лексика» (стр. 94—96), «Лексические явления древнерусского периода. Эпоха Киевской Руси» (стр. 97—183) и «Изменения в словарном составе русского языка XVI—XVII вв.» (стр. 184—239).

В первой главе автор определяет главную задачу русской исторической лексикологии. Предмет лексикологии, в том числе и исторической, автор понимает, по его же словам, несколько упрощенно. Лексикология, согласно мнению П. Я. Черных, имеет дело только с «полными», самостоятельными (т. е. неслужебными) словами, имеющими реальное значение (стр. 22). Поэтому внимание автора сосредоточивается почти исключительно на именах существительных и прилагательных, в гораздо меньшей степени на глаголах, в то время как наречия (за исключением отдельных эскизов) остаются вне поля его зрения. Совершенно не затрагивается вопрос о развитии местоимений и числительных, а также служебных частей речи (предлогов, союзов, частиц, модальных и вводных слов, междометий). Предполагается, по-видимому, что эти части речи трактуются в соответствующих главах исторической грамматики.

Несмотря на сравнительное богатство привлекаемого материала, П. Я. Черных не определяет каких-либо общих тенденций развития русской лексики. Хотя такие обобщения возможны лишь в результате исследования очень большого материала, все же некоторые общие выводы и наблюдения можно было бы сделать и на основании приводимых автором фактов. Он ограничивается изложением этимологии и семантических движений отдельных слов, объединяемых им лишь по поверхностному семантическому признаку в «лексические группы», и почти не касается вопроса о семантических движениях значительных лексических групп или целых словарных пластов. В небольшом разделе, названном «О некоторых приемах образования основы», П. Я. Чер-

[1] П. Я. Черных, Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период, Изд-во Моск. ун-та, 1956, 244 стр.

ных дает на трех страницах (158—160) самые общие сведения о таких приемах пополнения словарного состава, как редупликация (типа общеслав. *гол-голъ*); словосложению как приему пополнения словарного состава посвящены три небольших абзаца (стр. 160), а вся проблематика суффиксально-префиксальных словопроизводительных средств сводится к упоминанию о том, что суффиксация являлась наиболее продуктивным способом образования основы уже в общеславянскую эпоху и что суффиксы имеют свою историю (стр. 160). К сожалению, автор не излагает истории отдельных суффиксов, хотя это и является одной из основных задач исторической лексикологии[1].

Таким образом, автор «Очерка» оставил без внимания все основные приемы и процессы пополнения словарного состава русского языка. А между тем было бы крайне интересно наметить общие тенденции в развитии, например, древнерусских отвлеченных отглагольных имен и их перехода в названия более конкретных понятий, обследовать состав и оформление таких древнерусских семантических групп, как названия производителя действия, названия места действия, названия орудия действия и т. п. Общая характеристика лексических «движений» древнерусского словаря значительно пополнилась бы приведением сведений о судьбах отдельных семантических групп имен прилагательных, о переходе предложных именных сочетаний в наречия, о значении некоторых ласкательных, уменьшительных и уничижительных суффиксов в русском языке XV—XVII вв. Обо всем этом мы из книги П. Я. Черных ровно ничего не узнаем, хотя по указанным вопросам имеется ряд ценных исследований (принадлежащих проф. Л. А. Булаховскому, проф. Б. А. Ларину и др.).

Автор подчеркивает во «Введении», что «внутренние законы развития» словарного состава следует изучать в связи с историей народа (стр. 3). Связь языка с внеязыковой действительностью во многих случаях самоочевидна и не нуждается в лингвистической аргументации; это ясно в отношении технической номенклатуры, общественно-политической терминологии, «надстроечной» лексики. Сложнее обстоит дело с такими лексическими группами, как терминология родства и свойства, в которых косвенно отражаются наслоения разных, весьма продолжительных этапов родового строя. При анализе такого рода лексики П. Я. Черных не всегда удается сохранить историческую перспективу. «Конечно,— пишет автор,— слова *мǫжь* и *жена*, кроме общего значения «человек мужского, женского пола», выражали также и понятия «муж» и «жена» (стр. 29). Так как в данном случае автор говорит об общеславянской лексике, его утверждение лишено исторической обоснованности. Слова *mǫžь* и *žena* могли значить «супруг» и «супруга» лишь после появления института парного брака, возникшего у восточных славян лишь в историческую эпоху. Об этом красноречиво свидетельствуют известные сообщения летописца о древлянах («...брака у нихъ не бываше, но умыкиваху у воды дѣвиця»), или о радимичах, о вятичах и о севере («...браци не бываху въ них», «имяху же по двѣ и по три жены», Лавр. список).

Автор «Очерка» пользуется понятием «основного словарного фонда». Это понятие само по себе удобно для популярного изложения, но лишь с большими натяжками применимо в строго лингвистическом труде. Дело в том, что «самое понятие основного словарного фонда в своей конкретно-исторической сущности еще не раскрыто»[2], не установлены критерии, на основании которых то или иное слово должно быть отнесено к основному словарному фонду. Автор «Очерка» считает, что сюда «относятся главным образом очень старые слова, которые обозначают важные, жизненно необходимые понятия, составляющие неотъемлемую часть мышления любого человека, говорящего на русском национальном языке (и, пожалуй [?], на любом другом языке)» (стр. 14). Означает ли выражение «очень старые слова» в переводе на привычный нам лингвистический язык лишь общеиндоевропейские слова в составе славянской лексики, или оно относится в равной мере и к общеславянской лексике (может быть, только к ней)? Или же автор считает «очень старыми» также специфические восточнославянские лексические элементы? Или, может быть, к «очень старым словам» следует отнести также и заимствования из соседних языков, такие, как *суббота*, *князь*, *уксус*, *стекло*? Все это остается невыясненным. Конкретное изучение славянской лексики показывает, что

---

[1] См. об этом: М. М. Покровский, Семасиологические исследования в области древних языков, «Уч. зап. Имп. Моск. ун-та», Отдел историко-филологический, вып. 23, 1896; его же, Несколько вопросов из области семасиологии, «Филол. обозрение», т. XII, кн. 1, М., 1897; В. В. Виноградов, Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии, сб. «Вопросы теории и истории языка...», М., 1952 (особенно глава IV — стр. 118 и сл.); его же, Из истории лексикологии, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», вып. X, М., 1956 (особенно стр. 9—16). Ср. также О. С. Ахманова, В. В. Виноградов, В. В. Иванов, О некоторых вопросах и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической лексикологии, ВЯ, 1956, № 3 (особенно стр. 20).

[2] О. С. Ахманова, В. В. Виноградов, В. В. Иванов, указ. соч., стр. 16.

поразительная лексическая близость славянских языков не ограничивается совпадениями в области «важных, жизненно необходимых понятий». Взять хотя бы семантический круг слов, связанных с понятием «глаза»: общеславянскими окажутся не только такие слова, как *очи*, *видеть*, *глядеть*, *плакать*, *слезы*, *веко*, *ресница*, *бровь*, *белок*, *зрачок*, *слепой*, *бельмо* (или иные образования от тех же корней), но и такие слова, как *моргать*, *мигать*, *жмурить*, даже *таращить* (ср. чеш. *vyłřeštiti oˇi*). Вряд ли все приведенные слова П. Я. Черных отнес бы к числу «жизненно необходимых понятий», а между тем их распространенность по всей (или по значительной части) славянской территории очевидна.

Специфика русской (в том числе и древнерусской) лексики может быть рельефно показана лишь на фоне специфики лексических средств остальных славянских языков, с полным учетом не только совпадений, но и типичных расхождений, обусловленных историческими судьбами носителей этих языков и в значительной мере объясняемых продолжительным общением с тем или иным неславянским этносом. Для современных славянских языков весьма характерны расхождения в отвлеченной лексике при почти полном сохранении общности в пределах лексики бытовой. Автор этих вопросов почти не затрагивает. Вот почему ему, на наш взгляд, не удалось показать своеобразие русской лексики на фоне сопоставления ее с лексикой родственных языков.

П. Я. Черных вводит новое понятие «действующий словарь», подразумевая под этим «не только наиболее существенную в данный исторический отрезок времени, но и наиболее привычную для говорящих, наиболее часто используемую ими в данных условиях общественной жизни часть словарного состава» (стр. 17). При всей своей условности это понятие кажется нам полезным и практичным. Оно позволяет, например, правильно отнестись к многочисленным ἅπαξ λεγόμενα, к явно индивидуальным словам и выражениям отдельных авторов (таких, например, как Даниил Заточник). Оно позволяет автору отметить, что многие слова, встречающиеся в дипломатических документах XVII в., были в то время известны лишь узкому кругу лиц и только впоследствии вошли в общее употребление; ср. *кардинал* (1654), *секретарь* (1654), *сенатор* (1656) и др. (стр. 236). В «действующий словарь» эти слова вошли гораздо позже, а некоторые в него вовсе не попали (например, *ратман*, *гентлмен*).

Автор считает целесообразным различать «словарный фонд» языка, с которого начинается развитие словаря, и «основной словарный фонд», в который превращается «словарный фонд» по мере накопления новых словарных элементов (стр. 21). Поскольку «главным источником» основного словарного фонда все время продолжает служить «словарный фонд доисторической, доклассовой эпохи» (стр. 22), то остается не вполне ясным, в чем именно П. Я. Черных усматривает разницу между «словарным фондом» и «основным словарным фондом». При конкретной разработке материала автор, однако, больше не прибегает к этим различиям.

По вопросу о границах слова, т. е. об основных единицах лексикологии, автор придерживается известной формулировки Ф. Ф. Фортунатова (стр. 22). Там, где слова грамматически, фонетически и графически «единооформлены», в русском языке нет как будто затруднений. Но как рассматривать, к примеру, лексические единицы типа *жар-птица*, *баба-яга*, *конек-горбунок* или в современном языке *кают-компания*, *каютa-люкс*, *стоп-кран* и др.? Имеем ли мы здесь дело с одним или с двумя словами? Признаки орфографические или даже пунктуационные, на которые ссылается автор (стр. 22), тут, очевидно, ни при чем. Так как служебные слова оставлены автором без внимания, то вопрос о самостоятельности, семантической и формальной специфике слова и его границах остается теоретически не освещенным.

Взгляды П. Я. Черных на фразеологию изложены весьма лаконично. Здесь различаются «лексикализованные» сочетания (типа *железная дорога*) и «несвободные», или «устойчивые», словосочетания (типа *бить баклуши*), в состав которых входят непонятные ныне, пережиточные элементы (стр. 23). Не рассматривая специально фразеологический материал и приведя лишь несколько иллюстраций, автор попутно повторяет (без указания источника) фантастическую «этимологию» выражения *у черта на кулúчках*, данную в свое время С. Максимовым[1]; но если *кулички* восходят к обл. *кулига* «болото, загон», то почему уменьшительное звучит *кулички*, а не *кулижки* (так у Даля)? Дело обстоит гораздо проще. Это грубое выражение заимствовано из польского, где *kuliczki* является малоцензурным словом со значением «testes».

Во второй главе П. Я. Черных дает общую характеристику общеславянского словарного фонда. В этой главе могли бы быть использованы результаты новейших или хотя бы классических исследований по славянской и индоевропейской лексике. Вся эта глава, однако, поражает не только устарелостью высказываемых научных взглядов, но и архаичностью самой терминологии. Примеры из Авесты автор приводит под меткой «зенд.» (например, стр. 25), причем в «Списке сокращений» (стр. 240) эта метка не раскрывается. Балтийские языки названы почему-то «аистскими» (стр. 25).

Основными источниками автора по этимологии являются этимологические словари А. Г. Преображенского и Ф. Миклошича. Автор лишь изредка прибегает к сло-

[1] См. **С. Максимов**, Крылатые слова, М., 1955, стр. 54—58.

варю Э. Бернекера и почти не пользуется современными словарями И. Голуба — Фр. Копечного, М. Фасмера или Фр. Славского, не говоря уже об этимологических словарях Э. Буасака (E. Boisacq), А. Эрну —А. Мейе, З. Файста, А. Вальде и новейшего этимологического словаря индоевропейских языков И. Покорного. В учебнике типа рассматриваемого «Очерка» следовало бы ограничиться приведением бесспорных этимологий, расширяющих общий лингвистический кругозор студентов. Вместо этого П. Я. Черных особенно часто останавливается на этимологии таких слов, которые критичный А. Г. Преображенский снабдил меткой «неясно» (например, *коровай*, *щука* и др.), «не объяснено» (*морда* и др.), «объяснений много» (*человек*). Иногда автор приводит собственную этимологию (о чем ниже), но чаще всего он возвращается к давно отвергнутым «этимологиям» своих предшественников, далеко не всегда указывая возможность и другого толкования данного слова.

В качестве справочников по современным славянским языкам приводятся, например, «Словацко-русский словарь» и «Дифференциальный сербско-русский словарь» Л. А. Мичатка (1900 и 1903 гг.). Автор этих словарей многое сделал для популяризации славянских языков в России, но в настоящее время его лексикологические работы безнадежно устарели. С тех пор вышло немало и словацких и сербских словарей, гораздо полнее и точнее отражающих современный словацкий или сербохорватский языки. Автор не приводит источников по чешскому языку, но, судя по архаичности приводимых чешских примеров, это может быть только словарь Ф. Ш. Котта (1878—1893).

Давая характеристику индоевропейского лексического наследства в славянских языках, П. Я. Черных мог бы указать на характер лексических совпадений славянской лексики с лексикой индоевропейских языков других групп. Он мог бы воспользоваться работами А. Мейе по вопросу о лексике «северо-западных» индоевропейских диалектов, указать на поразительные совпадения славянских лексических элементов с балтийскими, италийскими, кельтскими и германскими в области сельскохозяйственной терминологии (*жернов*, *молоть*, *пъхати — пъщеница*, *поросенок*, *боб*), в области «лесных» слов (*мох*, *муха*, *оса*, *шершень*, названия лесных деревьев), в области технического словаря (*ковать*, *секу*, *секира*, *плести*), в сфере общественных терминов (*гость*, *владеть*, *труд*, *мена*), остановиться на названиях «соли» и «моря». Это позволило бы автору показать молодым филологам важность этимологических разысканий для археологии, для выяснения объема и специфики материальной и духовной культуры наших предков. В этой области имеются прекрасные образцы: как интересно написана соответствующая глава в книге А. М. Селищева «Славянское языкознание», I (1941). Вместо всего этого автор сообщает, что «нередко, однако, соответствия оказываются только в и.-е. языках европейских народов» и добавляет: «Любопытно, что там (т. е. в индо-иранских языках.— *А. И.*) отсутствуют и образования с корнем **sē-* «сеять» (стр. 25). Вряд ли студентам, ничего не узнавшим о характере лексических соответствий славянских с другими европейскими языками, упоминание об отсутствии корня ** sē-* в индо-иранских языках покажется «любопытным».

Автор обходит молчанием интереснейшие славяно-хеттские лексические соотношения, такие, как *dalugašti* — старослав. *дльгость*, наличие суффикса *-tel-* (слав. *-тель*), увеличительного суффикса-*anzi*(русск.-*ущий*) в хеттском[1]. Не затронут вопрос общей балто-славянской лексики, не указаны лексические связи славянских языков с индоевропейским Востоком. Ввиду всего сказанного можно утверждать, что автору не удалось дать сколько-нибудь пластическую картину славянской лексики в целом.

П. Я. Черных комментирует отдельные общеславянские (а также «междуславянские» (?) слова,группируя их по таким «семантическим группам», как «человек, люди», «животный мир», «труд» и т. п. Такая группировка оказывается чисто внешней. Автор не рассматривает развитие отдельных лексических групп как систему, слова комментируются изолированно друг от друга. Используя данные по сельскохозяйственной терминологии у славян, можно было бы наглядно показать специфику их материальной культуры, как это сделал акад. Б. Д. Греков в своей книге «Крестьяне на Руси»[2]. Можно было бы показать использование названий красок при наименовании металлов, животных, растений. От всего этого автор отказался. К тому же в его этимологических комментариях бросаются в глаза многочисленные неточности, недосмотры, недоразумения, а подчас и просто ошибки. Почему, например, автор считает, что такие слова, как *дѣва*, «и по корню совершенно чужды другим индоевропейским языкам» (стр. 26)? Ведь корень *дѣ-* (в *дѣва*, *дѣти*) восходит к и.-е.* *dheĭ-*, чередующемуся с **dhoĭ-* и представленному в русск. *доить*, чеш. *dojiti*, а в латинском языке словами типа *fēmina*, *fēlix*, греч. θῆλυς и т. д. На каком основании автор возводит лат. *pater*, греч. *patēr* и т. д. к корню *pŏt* (:*păt*)? Где засвидетельствован или кем восстановлен такой «корень» и что значит вариант *păt*, приводимый в скобках (стр. 30)?

---

[1] Ср. хотя бы: А. Десницкая, О хеттском языке [вступ. статья в кн.: И. Фридрих, Краткая грамматика хеттского языка, перевод с нем., М., 1952], стр. 36.

[2] См. Б. Д. Греков, Крестьяне на Руси.., I, 2-е изд., М., 1952, см. особенно вводную часть.

Нельзя, разумеется, ожидать, что автором будут введены в вузовский учебник некоторые, хотя бы самые достоверные результаты ларингальной гипотезы и основанной на этой гипотезе современной теории и.-е. аблаута. Но с тех пор, как было открыто закономерное соотношение греческого *α* и ст.-индийск. *i*, это соотношение обозначается условным символом **ə* (например, в слове **pətēr*).

П. Я. Черных определяет первичное значение слова *сын* как «производитель потомства» (стр. 31), совершенно не учитывая при этом, что корень, к которому восходит данное слово, значит не просто «производить потомство», а именно «рожать»; ср. ст.-индийск. *sū́tē* «она рожает». Слово *сын*, следовательно, значит «рожденный, ребенок» (с точки зрения матери) и указывает на «матриархальное» происхождение этого слова, точно так же как и гот. *baúr* «сын», этимологически связанное с нем. *ge-bären* «рожать».

Слово *дочь* имеет, по словам автора, «основу *дък-т*, восходящую к **dhught*— «доить, сосать» (стр. 31). По поводу этой этимологии Э. Бернекер писал в 1908 г.: «Принадлежащему Лассену толкованию этого слова как „доярка" (Бопп: „грудной ребенок") (к ст.-индийск. *dṓgdhi* „доить") теперь, пожалуй, никто больше не верит»[1]. А. Г. Преображенский дает старую этимологию, но прибавляет: «Ныне это толкование не все разделяют» («Этимологический словарь русского языка», I, стр. 93). Но П. Я. Черных не довольствуется значением «доярка», а идет еще дальше и «вскрывает» первичное значение слова *дочь* как «дающая молоко» (стр. 31). Позволительно спросить: кому, собственно, дочери дают молоко?

Автор ошибается, считая, что слова типа *братеньць*, *сестреница* не имеют «номенклатурного характера» (стр. 30—31). Эти слова являются основными терминами двоюродного родства; ср. чеш. *bratranec* «двоюродный брат», *sestřenice* «двоюродная сестра». В этих словах сохранилось воспоминание о так называемом кросскузенном браке[2].

Типичной для автора является такая аргументация: «Если корневая часть о. с. *jęзыкъ* восходит к *ęз* : *ǫз* (срв. рус. *узы*, *узел*, *вязать* и пр.), то это слово уже в общеславянском языке могло иметь значение „народность"» (стр. 35). А если слово *jęзыкъ* не восходит к *ęз* : *ǫз*? Известно, что в начале слова **ǫ*-чередуется обычно не с **ę-* и не с **ję-*, а с **vę-* (ср. *вязать* — *узел*, русск. *вялить* < *vędliti* — чеш. *uditi* < *ǫditi* «коптить»). Никто серьезно не сомневается в том, что слав. *językъ* неотделимо от др.-лат. *dingua*, лат. *lingua*, гот. *tuggō*, несмотря на несоответствия в начале слова. И можно ли допустить, что исконное значение слова *jęzkyъ* было не «язык как часть тела» (и отсюда: «язык» — «речь» и далее: «речь» — «этнос, говорящий на данном языке»), а именно «народность»?

Автор считает возможным усомниться в бо́льшей древности формы *словѣне*, а в доказательство того, что «вариант основы *слав-* не менее древен, чем *слов-*», ссылается на средневековые греческую и латинскую формы этого слова: *sclavini*, *sclaveni*, а также на германские языки (нем. *Slave*, англ. *Slav* и т. п.) (стр. 35—36). Автору не может быть неизвестным, что краткое славянское **o* воспринималось и передавалось иностранцами как краткое *a*, о чем свидетельствуют записи имен антских князей, запись *Dragawitus* вместо **dragovitъ* на германском севере (789 г.), а также многочисленные соответствия иноязычного *a* славянскому *o* в заимствованиях, например, греч. Σατανᾶς и ст.-сл. *сотона*, др.-в.-нем. *scado* — чеш. *škoda* и т. п. Слова типа *Slave* являются, конечно, книжными латинизмами (вроде нашего *германец*) и в счет не идут. Слово *Slave* в немецком языке сравнительно новое; славяне назывались *Wenden*, *Winden*.

На каком основании автор возводит лат. *ursus* к фантастической форме **orcsos* (стр. 39)? Это слово восстанавливается на основании ст.-индийск. *arša-*(ср. ирл., алб. *art* и т. д.), греч. ἄρκτος как **r̥kβo-* или **arkβo-*.

Связывать имя *слона* с глаголом *прислониться*, как это делает автор (вслед за Брандтом, Преображенским и др.) (стр. 41), можно разве только в порядке известного каламбура о разнице между роялем и слоном, который-де может прислониться к роялю, а рояль к слону не может прироялиться.

Сопоставлять слав. *pьsъ* «собака» с и.-е. названием «скота» (лат. *pecus* и пр.), как это делает автор (стр. 42), можно лишь в том плане, в котором акад. Н. Я. Марр «увязывал» лат. *canis* «собака» с славянским *конь*.

О. Н. Трубачев убедительно показал, что русск. *собака* не является заимствованием из зенд. *çpaka* (как указано, вслед за Ф. Миклошичем, у П. Я. Черных на стр. 42), а связано со славянским словом *sobъ* «(северный) олень» и имело первичное значение «собака для охоты на (северного) оленя», нем. *Hirschhund*[3]. Следует только пожалеть,

---

[1] E. Berneker, Slavisces etymologisches Wörterbuch, Lief. I, Heidelberg, 1908, стр. 244.

[2] Ср. А. В. Исаченко, Индоевропейская и славянская терминология родства в свете марксистского языкознания, «Slavia», ročn. XXII, seš. 1, 1953.

[3] См. О. Н. Трубачев, К этимологии слова *собака*, «Краткие сообщ. [Ин-та славяноведения АН СССР]», вып. 15, М., 1955, стр. 48 и сл.

что П. Я. Черных, принципиально стремящийся сократить число заимствований в славянских языках, не использовал этой хорошо аргументированной этимологии.

Автор считает допустимым связывать название *щуки* с глаголом *щупать* (стр. 48). Но о какой семантической связи здесь может быть речь? Между тем гораздо правдоподобнее, что название рыбы образовано от прилагательного *щуплый*; ср. польск. *szczupak* «щука» (слово *szczupak* приводится автором). Нельзя не согласиться с тем, что эта рыба имеет особенно тонкое туловище по сравнению с такими рыбами, как карась, лещ и т. п. В чешском языке молодая щука называется *štíhlátko* от прилагательного *štíhlý* «тонкий, особенно в поясе»[1].

П. Я. Черных считает слав. *(j)ablъko*, по-видимому, заимствованием из др.-кельтск. *abhal*, *aball* (стр. 52). Какой из древнекельтских языков здесь имеется в виду? И следует ли отнести к древнекельтским заимствованиям также лит. *obuolỹs* «яблоко», нем. *Apfel* и т. д.? До сих пор это слово считалось относящимся к фонду европейской группы и.-е. языков.

Из книги мы узнаем, что русск. *серп* находит себе параллель в лат. *serpens* «змея» (стр. 59). А. Г. Преображенский был на этот счет осторожней (ср. т. I, стр. 281). Слово *серп* этимологически связано с лат. *sarpo* «я срезаю», греч. ἅρπη «серп», а лат. *serpens* является причастием от лат. глагола *serpo* «я ползу», греч. ἕρπω «я крадусь, ползу».

Нам неизвестны и в «Очерке» не указаны аргументы, позволяющие автору предполагать, что слово *хлѣбъ* попало в «древнегерманские языки... со славянской территории» (стр. 67).

П. Я. Черных (вслед за И. Зубатым) допускает связь слов *коровай* и *коровяк* «куча, глыба коровьего навоза» (стр. 67). При всем желании трудно согласиться с возможностью переноса названия испражнений на название хлеба.

П. Я. Черных пишет: «В связи с древнерусским *мамона*—„обезьяна" представляет интерес история слова *мамонт*» (стр. 41). Какая между этими словами связь? Мы узнаем, что в «русском языке, как и в других языках на Западе, это слово стало известно только в XIX в.» и что в западноевропейские языки оно попало «из сочинений акад. Бэра» (там же). Этот исторический комментарий неточен. Название *мамонта* было впервые записано на Западе Ричардом Джеймсом в его «Русско-английском словаре» 1618 г. в форме *Maimanto*[2]. Словарь, к сожалению, пока еще не издан, но о слове *Maimanto* имеется в литературе упоминание[3]. Слово *мамонт* было известно на Западе во всяком случае начиная с XVII в.: его знал и записал мэр города Амстердама Николас Витсен (Nicolaus Witsen) в 1692 г. в форме *mammout*[4]. Отсюда, а не из работ акад. Бэра оно, по-видимому, проникло в другие европейские языки.

Автор считает вполне возможным связать слово *брюки* с *Брюгге* — «названием старинного города во Франции» (стр.72). Но, во-первых, это слово, бесспорно, заимствовано из голландск. *broek* «штаны» в эпоху Петра I, а во-вторых, город Брюгге находится не во Франции, а в Бельгии.

Существительное *чулок* автор связывает со словом *куль*, причем это последнее сближается с лат. *culleus* «кожаный мешок» (стр. 78). Для того чтобы принять такое объяснение, надо допустить, что речь идет о рефлексе двух чередующихся основ: *куль* (<**kuoul-*) и *чул-* (<**kueul-*). Но в других и.-е. языках как будто нет и следа предлагаемой основы **kueul-*, тем более что *чулок* — явный тюркизм.

Слово *сапог* автор склонен возводить, вслед за Соболевским и Преображенским, к «гнезду *conƀtu*». Эволюция этого слова представлена следующим образом: *сопухъ*› *сопохъ*› *сопогъ*› *сапогъ* (стр. 77). По мнению автора, *сопухъ* своей формой напоминает «трубу» и, следовательно, может быть связан с такими словами, как *сопль* «труба» или *conƀlь* «свирель» (стр. 77). Почему-то принято думать, что слово *сапогъ* — исключительно восточнославянское слово[5]. На самом же деле слово *сапогъ* хорошо известно в старославянском языке. Оно встречается в Мариинском евангелии (7 раз), в Зографском и в Ассеманиевом. Но там оно передает греческое слово ὑπόδημα «сандалия», дословно «подвязанное». Все рассуждения П. Я. Черных оказываются, таким образом, беспочвенными, ибо «сандалии» не имеют голенища и ничем не напоминают «трубу». Следовательно, отпадает и возможность связать слово *сапогъ* с «гнездом *conƀtu*».

---

[1] См. F. Trávníček, Slovník jazyka českého, Praha, 1952, стр. 1514.

[2] Словарь хранится в Бодлеанской библиотеке в Оксфорде под сигнатурой MS. James 43 *.

[3] См. J. S. G. Simmons and B. O. Unbegaun, Slavonic Manuscript Vocabularies in the Bodleian library, «Oxford Slavonic papers», vol. II (1951), Oxford, 1954, стр. 125.

[4] Ср. R. van der Meulen, De naam van den mammouth («Mededeelingen der K. Akademie van wetenschappen», afd. letterkunde, deel 63, Serie A, № 12), Amsterdam, 1927, стр. 19.

[5] Ср. в рецензии Л. А. Булаховского на «Историческую грамматику русского языка» П. Я. Черных: «...почему при слове *сапог*, вовсе неизвестном вне восточнославянских языков, на это не указано тут же?» (ВЯ, 1953, № 1, стр. 135).

По поводу слова *комната* автор указывает, что это слово сначала появилось в Новгороде, и считает, что оно заимствовано «через немецкое посредство» (стр. 81). М. Фасмер предполагает др.-в.-нем. посредство (др.-в.-нем. *cheminâta*)[1]. В ср.-в.-нем. имеются формы *kemenâte* и *kamenâte* «комната»[2] с ударением на предпоследнем слоге. В свое время Р. О. Якобсон высказал предположение, что слово *комната* попало в русский язык непосредственно из чеш. *komnata* (с ударением на первом слоге)[3]. Интересно,что это слово, по свидетельству П. Я. Черных, отмечено впервые на северо-западе, в Новгороде. Именно в новгородской письменности имеется немало слов, совпадающих с соответствующими западнославянскими (чешскими и словацкими) формами. Сюда относятся такие слова, как *обилье* в значении «хлеб (на корню)» (чеш. *obilí*, словацк. *obilie* «то же»), наречие *лони* «в прошлом году» (чеш. *loni* «то же»). Сюда же относится слово *мюринъ* (Новгородская первая летопись), слово *корочунъ* (там же) и др. Слово *мюринъ* переводится в «Хрестоматии по истории русского языка» (1)акад. С. П. Обнорского и С. Г. Бархударова как «бес» (стр. 372), хотя контекст исключает такое толкование (*а мюрини ти бѣси соуть*), тем более, что выше *мюрини* характеризуются как *мужи чьрни велици*. Ясно, что *мюринъ* — это чеш. *mouřenín*, словацк. *murín* «мавр, арап, эфиоп»; ср. нем. *Mohr*. Другим таким словом, связывающим новгородскую лексику прямо или косвенно с словацким языком, является *корочунъ* в Новгородской летописи по Синодальному списку. Карамзин толковал это слово как «пост перед рождеством», от «коротких» дней («История государства российского», II, примеч. 288). В упомянутой «Хрестоматии» это слово встречается, но в Словаре отсутствует. Полногласная форма *корочунъ* полностью соответствует словацк. *kračún* «Рождество, сочельник», рум. *crăciun* «Рождество», откуда венг. *karácsony* «Рождество». Само слово восходит, по-видимому, к балканско-романскому **creationem*, как сербское *рачун* «счет» к *rationem*. Наличие таких слов, как *комната*, *корочунъ*, *мюринъ*, *обилье*, *лони* и др., на русском северо-западе может послужить поводом для более подробных исследований в области западнославянско-русских лексических параллелей.

Автор не всегда критически пользуется источниками. Так, слова *житъ*, *животъ*, *жиръ* возводятся им к и.-е. корню **gu̯eie̯* (стр. 89). Эту реконструкцию находим у А. Г. Преображенского, где она приведена в связи с словами *живу*, *животъ* в виде *gu̯eiēu* (т. I, стр. 234). В то время в науке было распространено учение о так называемых «тяжелых базах» в и.-е. праязыке. Является ли П. Я. Черных сторонником этого учения? Но даже с точки зрения учения о «тяжелых базах» слова *жить* и *жиръ* могут восходить только к и.-е. корню **gu̯ei-* или **gui-*.

Приводя прилагательное *лиловый*, автор в скобках помещает следующее: «срв. *лилия*» (стр. 91). Подобное сравнение может вызвать лишь недоумение, ибо лилия белая (ср. «белый, как лилия»). Прилагательное *лиловый* образовано от французского *lilas* «сирень» и «сиреневый» и действительно значит в русском языке «сиреневый», в чем нетрудно убедиться хотя бы по этимологическому словарю Преображенского (I, 454).

Примером этимологических импровизаций могут служить рассуждения П. Я. Черных по поводу древнерусского названия одного из осенних месяцев *рюинъ*. «Не находится ли это слово в связи с глаголом *рюти* (реветь, скрежетать зубами и пр.) или *рютие* — шипение и др.»,— спрашивает автор (стр. 139). Связь слова *рюинъ* с глаголом *рюти* «реветь» совершенно очевидна и никогда никем не ставилась под сомнение. Автор продолжает: может быть, глагол *рюти* или *рютие* «относится к дождю, к шуму дождя в ненастную погоду» (там же). В чешском языке *říje* обозначает «рев», но употребляется только в значении «рев оленя во время течки», «период течки оленей». В словаре акад. Фр. Травничка слова *říjen* «октябрь», *říje* и глагол *říti* помещены даже в одном гнезде.

Автор решительно отказывается рассматривать слав. *скот* как заимствование из гот. *skatts*, ибо при таком толковании «не учитывается, что в др.-германских языках параллельные слова имеют только значение „деньги“» (стр. 143). Это не совсем так: фриз. *skett* значит и «деньги» и «скот»[4]; связь с фантастическим и.-е. **sketh* «колоть», предложенная Г. А. Ильинским, неприемлема.

Автор указывает, что название огнестрельного оружия *пищаль* некогда имело значение «свирель» (стр. 221). Это вполне справедливо. Но вряд ли правильно, что глагол *пищати* имел также значение «трещать» (там же). И уж совсем неверно было бы

[1] M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I, Heidelberg, 1953, стр. 609.

[2] M. Lexer, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, 27-e Aufl., Leipzig, 1953, стр. 106.

[3] R. Jakobson, Význam ruské filologie pro bohemistiku, «Slovo a slovesnost», ročn. IV, číslo 4, 1938, стр. 228.

[4] См. S. Feist, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache, Leiden, 1939, стр. 429.

связывать (а намек на это есть в книге) слово *пищаль* как название огнестрельного оружия с таким значением («трещалка», «трещотка»). Это слово— из чешского *píšťala*, появившегося в период гуситских войн и распространившегося в Европе; ср. нем. *Pistole*, франц. *pistolet*, откуда русск. *пистолет*.

На этом закончим обзор некоторых этимологических этюдов, предлагаемых П. Я. Черных. Эти этимологии не носят характер новых, научно-аргументированных попыток решить спорные вопросы. Начинающему филологу, принимающему высказывания авторитетного ученого на веру, они дают очень мало.

В т р е т ь е й главе дается краткий обзор восточнославянской лексики, причем приводится обычный репертуар слов (*семья, собака, белка, селезень, ковш, дешевый* и др.). Все эти слова приведены (в числе других) Н. Н. Дурново в его «Введении в историю русского языка»[1].

Ч е т в е р т а я глава посвящена эпохе Киевской Руси, возникновению русского литературного языка, пополнению словаря в эту эпоху. Здесь не место останавливаться на высказываниях П. Я. Черных по вопросу о происхождении славянского письма, о его вере в существование «русских письмен» в качестве восточнославянской письменности в X в. «и даже раньше» (стр. 99), о «наличии каких-то систем „русского" письма... столетия за два до официального крещения Руси» (там же). Без приведения дополнительных новых фактов нам кажется лишним воскрешать эти мало правдоподобные предположения. Автор говорит о литературном языке древней Руси, возникшем на восточнославянской народной основе, о возникновении «древнекиевского койне». «Возможно, что именно благодаря этому койне в древнерусскую эпоху получили широкое распространение *о*, *е* в сильном положении вм. *ъ*, *ь*...» (стр. 110). Значит ли это, что без предполагаемого автором «древнекиевского койне» переход *ъ*, *ь* в *о*, *е* получил бы «менее широкое распространение», например в том смысле, что этот фонетический закон охватил бы только некоторые восточнославянские диалекты, или в том смысле, что вокализация глухих проявилась бы лишь в некоторых словах? И для чего вводить в учебник такие соображения, раз тут же сказано: «К сожалению, о древнекиевском койне очень трудно судить, так как достоверных письменных памятников XI—XII вв. бесспорно киевского происхождения, написанных определенно (sic! — *А. И.*) в Киеве, очень немного, причем, как правило, они написаны на с т а р о с л а в я н с к о м (хотя и „русифицированном") языке» (стр. 110).

Говоря об иноязычных элементах в древнерусском языке, автор приводит заимствования из германских языков, из латинского, из греческого[2], из тюркских языков, из финского. В экскурсе о слове *варяг* (стр. 146—150) автор снова пытается обосновать высказанное им ранее предположение, что это слово чисто славянского происхождения. Для того чтобы принять его доводы, надо предположить: 1) что корнем слова *варяг* является слав. *вар-* «беречь, хранить, предупреждать»; 2) что слав. глагол *варити* мог первоначально иметь значение «верить» (стр. 148); 3) что существовало общеславянское слово *вара* со значением «присяга», «клятва» (стр. 148), хотя такое слово не засвидетельствовано; 4) что «суффикс *-яг*... с течением времени был вытеснен суффиксом *-яга* (*бедняга, бродяга*)» (стр. 149). Все это настолько мало вероятно, что пока приходится довольствоваться старой этимологией, возводящей слово *варяг* (а также *буряг, колбяг*) к скандинавскому источнику.

Наиболее удачной нам кажется последняя, п я т а я глава «Очерка», посвященная изменениям в словарном составе русского языка XVI—XVII вв. Это вполне естественно: автор в последнее время занимается памятниками XVII в. и, следовательно, располагает фактическим материалом, позволяющим ему делать некоторые обобщающие выводы и наглядно иллюстрировать свои мысли свежими примерами. Удачными следует признать этюды о глаголе *бросать — бросить* (стр. 186—188), о наречии *очень* (стр. 191—192), о слове *смута, смутиться* (стр. 193—195); интересны замечания автора о влиянии польской интервенции на русскую лексику (стр. 200 и сл.), об употреблении слова *вѣкша* (с XV в.) в значении «блок» (стр. 226). Вряд ли можно согласиться с тем, что слово *почта* «непосредственно восходит к нем. *Post*» (стр. 231). Непосредственным источником является, конечно, польская форма *poczta*. Содержателен экскурс о железнодорожной терминологии (стр. 232—234), хотя хронологически и выходящий за пределы древнерусского периода. К сожалению, автор не всегда учитывает замечания, сделанные ему по поводу его «Исторической грамматики русского языка» (1952) таким авторитетным критиком, как Л. А. Булаховский. Так, например, П. Я. Черных в «Очерке» повторяет догадку Преображенского о возможности сопоставления слова *пушка* с глаголом *пущать* (стр. 218—219), хотя Л. А. Булаховским были приведены веские аргументы против такого сопоставления[3].

[1] N. D u r n o v o, Úvod do dějin jazyka ruského, díl I, Brno, 1927, стр. 104—105.

[2] Следует отметить, что, несмотря на возражения Л. А. Булаховского (указ. рец., стр. 137), П. Я. Черных продолжает считать возможным, что слова *огурец* и *свекла* легли в основу греческих *aggurin* и *seutlon* (стр. 113, прим.).

[3] См. Л. А. Б у л а х о в с к и й, указ. рец., стр. 136.

Весьма неблагоприятное впечатление производят многочисленные неточности и ошибки (далеко не всегда опечатки!) в цитировании иноязычных примеров: чеш. *slovnik* вместо *slovník* (стр. 7, примеч.); франц. *tente* вместо *tante* (стр. 32); чеш. *ptak* вместо *pták* (стр. 48); серб. *ела* вместо *јела* (стр. 52); чеш. *jerabina* вместо *jeřabina* (стр. 52); чеш. *pàchati* вместо *páchati* (стр. 59); чеш. *ryže* вместо *rýže* (стр. 61); серб. *грожђе* вместо *грожђе* (стр. 70); словенск. *chram* вместо *hram* (стр. 80); чеш. *jstina* вместо *jistina* (стр. 87); чеш. *hoiti* вместо *hojiti* (стр. 89); *Екблом* вместо *Экблом* или *Экблум* (стр. 100); греческого слова *chartiá* нет (стр. 120); чеш. *rytiř* вместо *rytíř* (стр. 123); чеш. *snem* вместо *sněm* (стр. 126); чеш. *vitez* вместо *vítěz* (стр. 127); чеш. *pidmuž* вместо *pidimužík* (Травничек) (стр. 131); чеш. *krabka* не приводится у Травничка (стр. 134); чеш. *tyden* вместо *týden* (стр. 140); чеш. *kříž* вместо *kříž* (стр. 144); греч. *amygdalē* вместо *amygdálē* (стр. 151); чеш. *viko* вместо *víko* (стр. 166); *вагон* восходит не к нем. *Wagen*, а к франц. *wagon* (стр. 234); франц. *capot* вместо *capote* (стр. 234); франц. *hangard* вместо *hangar* (стр. 234) и многие другие.

В книге имеется ряд фактических неточностей. Так, в современном чешском языке нет слова *krak*, которое приводится автором на стр. 37; нет в современном чешском языке и слова *střible* (стр. 52); слово *luna* известно в словенском языке, хотя автор заявляет, что это слово чуждо сербскому и словенскому (стр. 54); глагола *хорать* (стр. 95) ни в чешском, ни в словацком нет.

«Очерк русской исторической лексикологии», к сожалению, не во всех своих частях обладает теми свойствами, которые мы вправе требовать в настоящее время от вузовского учебника. Наряду с интересными и свежими сведениями, сообщаемыми автором о лексике XVI—XVII вв., наряду с некоторыми этимологиями, заслуживающими внимания (например, этимология слова *шинель* на стр. 170—171 и др.), книга содержит много устарелого, спорного, а подчас и просто ошибочного. Надежным пособием для студентов-филологов она сможет послужить лишь после тщательной и всесторонней переработки.

А. В. Исаченко

В. О. Унбегаун. **Russian versification.** — Oxford, 1956. 164 стр.

Книга Б. О. Унбегауна «Русское стихосложение» — первая общая работа о русском стихе в западноевропейской литературе. Автор ее преследовал задачу: дать в сжатом, но все же достаточно полном изложении обзор основных вопросов русского стихосложения, избегая подробностей, не всегда доступных для иностранного читателя, впервые знакомящегося с русской метрикой.

В основу изложения положен исторический принцип. Хотя предметом рассмотрения является современное стихосложение, ограниченное временем от Жуковского до наших дней, однако вкратце автор дает сведения о стихотворных формах начиная с возникновения вирш (досиллабического периода, с первой половины XVII в.). Таким образом, все элементы стиха рассматриваются на фоне развития стихотворной системы. И самое разделение основной части на три раздела: стих силлабический, силлабо-тонический и тонический (акцентный) — соответствует не только трем типам стихосложения, но и трем эпохам в истории русской поэзии: стиху до Тредиаковского и Ломоносова, стиху, установившемуся со времен Ломоносова, и стиху новых поэтических школ. Естественно, что наибольшее внимание отводится стиху силлабо-тоническому, т. е. классическому русскому стиху.

Кроме этих трех разделов, книга содержит главы, посвященные вторичным ритмическим элементам (фонетика и синтаксис) и рифме. Раздел строфики не совсем последовательно включен в главы, посвященные силлабо-тоническому стиху. Между тем вопрос о строфическом построении одинаково относится ко всем видам стиха, включая силлабический и тонический, а потому следовало бы выделить его в особую главу, по соседству с главой о рифме (ввиду того, что основным средством построения стиха является соответствие рифмующихся стихов)[1].

---

[1] Тогда пришлось бы сказать, что первый стал писать октавы не Жуковский, а Феофан Прокопович. Кстати, и указание, что Жуковский впервые обратился к октавам в «Элегии на смерть королевы Вюртенбергской» в 1819 г., неправильно: написанное октавами посвящение к «Двенадцати спящим девам» напечатано в 1817 г.

Автор хорошо знаком с работами по русскому стихосложению. Его книга написана на основе исследований, преимущественно принадлежащих нашему времени, вплоть до обширного труда К. Тарановского о русских двудольных размерах (написанного на сербском языке). О хорошем знакомстве с литературой о русском стихе свидетельствует и аннотированная библиография, приложенная к книге.

Надо признать, что Б. О. Унбегаун удачно осуществил намеченную задачу. Его книга написана ясно и убедительно, иллюстрирована богатыми примерами, и все построение подчинено продуманной системе. Тем не менее кое-что в этой работе вызывает возражения. Правда, следует заметить, что некоторые положения, которые можно считать неубедительными, не являются личной ошибкой автора: в научной и учебной литературе вопроса эти положения являются весьма распространенными.

Спорным является исходное положение автора о взаимоотношении между метрической схемой и реальной формой. По определениям, восходящим еще к XVIII в., схема ямба состоит в том, что все четные слоги стиха — ударны, а нечетные — безударны, причем словам «ударный» и «безударный» в применении к метрической схеме придается то же значение, что и в обычной речи, и говорится о реальном словесном ударении. Хотя еще Тредиаковский указывал, что ямбический стих невозможен без пиррихиев (т. е. не все четные слоги стиха ударны), но в учебной литературе этот факт вообще игнорировали. Обычно утверждали, что каждый четный слог ямба ударен, вопреки тут же приводимым примерам, противоречившим подобной формулировке. Правда, в качестве оговорки указывали иногда, что эти ударения существуют только при скандовке, но ведь скандовка — явление производное, один из способов обнаружения метрической схемы, который вряд ли сам по себе может служить теоретическим основанием для определения метра; кроме того, вообще не сообщалось, какое соотношение существует между нормальным чтением и скандовкой. Едва ли не первый сформулировал законы русской скандовки Р. О. Якобсон.

Нельзя сказать, что автор всецело придерживается школьной точки зрения об однородности реальных ударений стиха и «ударений» в метрических определениях. Он правильно называет слоги, различаемые в схеме, сильными и слабыми, в отличие от ударных и неударных, какими они являются в действительности. Однако из этого он не делает всех выводов. Предпосылка, будто метрическая схема говорит о реальных ударениях, приводит к заключению, что всякое стихотворение, написанное русским ямбом, нарушает метрическую схему. Такие выражения, как «нарушение метрической схемы», «отклонение от метра», встречаются в данной книге (см., например, стр. 41). Между тем не надо забывать,что метрическая схема есть теоретическое обобщение реального опыта, и если опыт противоречит обобщению, то значит обобщение сделано неверно. Метрическая схема — вовсе не фикция. На самом деле следует говорить не о нарушениях метрической схемы, а об условиях ее реализации. Надо лишь отказаться от отождествления сильных и слабых слогов схемы с ударными и неударными слогами и изучать условия, при которых ударения падают на сильные или слабые места. Именно эти условия с очевидностью показывают, что четные и нечетные слоги ямба отнюдь не тождественны между собой и положение ударного слога в стихе отнюдь не безразлично. Так же неточны и выражения вроде «Первая стопа ямба заменена хореем» (например, стр. 38 и др.). Говорить о замене одной стопы другой можно только предполагая, что метрическая схема определяет не единый для всей строки ритмический закон, а простую последовательность самостоятельных стоп. А в таком случае теряется различие между стихом и прозой.

В эпоху символизма, главным образом в работах Андрея Белого, отмечалось, что реальные ударения ямба не совпадают с метрически сильными слогами; из этого положения делали вывод о том, что «ритм есть отступление от метра» и что в русском стихе верен только принцип счета слогов, а ударение падает произвольно и лишь замечается тенденция к тому, чтобы на четные слоги ямба ударения падали чаще, чем на нечетные. Такое отрицание метрической схемы привело к изобретению термина «силлаботоническая система». Термин этот — плод неосновательного скептицизма и не имеет научного оправдания. Тем не менее он привился и ныне употребляется в применении к тем формам стиха, в которых соблюдается и тонический принцип периодичности ударений, и силлабический принцип равенства в числе слогов. Между тем и в таком смысле этот термин неверен. Наше стихосложение строится не на двух началах, а на одном: на законе распределения ударений. Равенство числа слогов в стихах одинакового размера — автоматическое следствие первого принципа. Поэтому правильнее было сохранить название, присвоенное системе русского стиха еще Тредиаковским: тонические размеры. Термин этот держался на протяжении почти двух веков, и не было никакой необходимости отменять его. Это чувствует и сам Б. Унбегаун, когда заявляет: «Очевидно, что нет совершенно ясного различия между силлабо-тоническим и тоническим стихом» (стр. 88), а в другом месте говорит о некотором сродстве трехсложных и чисто тонических размеров, предопределившем историческую общность их судеб (стр. 55).

В книге Б. Унбегауна, построенной на историческом принципе, термин «силлаботонический стих» еще менее оправдан. Нельзя считать исторически равноправными си-

стемы силлабическую, силлабо-тоническую и тоническую. Силлабическая система противостоит тонической (употребляю этот термин в прежнем смысле) как предшествующая ей историческая стадия, как система, отмененная тонической. Поэты, принимавшие тоническую систему, уже не возвращались к силлабической. Силлабическое и тоническое стихосложение — это две эпохи, две ступени в истории русской поэзии, хронологически разделенные.

Между тем размеры, ныне называемые силлабо-тоническими и чисто тоническими, исторически не противостоят одни другим. Уже Тредиаковский и Ломоносов, основатели тонической системы, дали образцы обоего рода стихов и не противопоставляли их друг другу. То, что чистая тоника более характерна для нового времени, не дает нам основания противопоставлять эти размеры как две с и с т е м ы, как нельзя считать разными системами двусложные и трехсложные размеры на том основании, что для поэтов XVIII и начала XIX в. более характерны двусложные размеры, а для Некрасова и его школы — трехсложные: можно говорить о разных стихотворных размерах, а не о разных стихотворных системах.

Впрочем раздел о тонических размерах является наиболее слабым в книге. Вряд ли можно отнести к какой-то единой метрической системе те многоразличные и разноприродные примеры, которые здесь фигурируют. Это перечень всех тех размеров, которые не подходят под ранее описанные формы,— то, что обычно именуется «и прочая». В самом деле, данная глава делится на два больших подраздела: 1) «Видоизменения силлабо-тонического стиха» (стр. 86—101), куда входят «Случайные отклонения» и «Тонический стих, состоящий из комбинаций разных метров» и 2) «Чисто тонический стих» (стр. 101—112) с подразделами «Трехударный стих», «Четырехударный стих», «Подражание трехударной строке народной поэзии», куда включены и «Стих раешника», «Стих с разным числом ударений», а как пример — отрывок из «Александрийских песен» М. Кузьмина. Не будем уже говорить о неудачной классификации, в результате которой стихи однородные попадают в разные разделы. Разделы эти случайны, и не ясно, на основе какого признака стихи так распределены.

Например, в разделе «Видоизменения силлабо-тонического стиха» в первом подразделе «Случайные отклонения» приведены два стихотворения Тютчева: одно — с индивидуальным ритмом («Silentium»), где строки четырехстопного ямба перемежаются с равными им по числу слогов строками трехстопного амфибрахия, и другое — «Последняя любовь», представляющее прихотливое видоизменение четырехстопного ямба. Здесь же — старый гимн Жуковского, состоящий из стихов точного двухстопного дактиля с некоторыми акцентными особенностями в рифме. Почему это тонические, а не силлабо-тонические стихи и в чем их общность — непонятно.

Подраздел «Тонический стих, состоящий из комбинаций разных метров» состоит преимущественно из стихов трехсложных метров со стяжениями. Сюда входит стихи Фета, Цветаевой, Есенина и русский гекзаметр в полном объеме. Все эти стихи (кроме гекзаметра) свободно могли войти в раздел «Чисто тонический стих» в подразделы «Трехударный стих» и «Четырехударный стих», где приведены тождественные примеры из Блока и Ахматовой.

В том же подразделе «Тонический стих, состоящий из комбинаций разных метров» приведены стихи Кирсанова и Гумилева, написанные пятисложными стопами. Между тем автор отрицает наличие пятисложных стоп; на стр. 12 говорится: «стопы свыше трех слогов в русском стихе отсутствуют, и некоторые примеры подобных стоп, приводившиеся в качестве попытки доказать их существование, могут быть объяснены опущением ударений в стихах двусложных стоп или же комбинацией разных стоп или же как тонический стих»; но, как уже отмечалось, сказать «комбинация разных стоп» — значит разрушить границу между стихом и прозой. Между тем в настоящее время пятисложные стопы все больше входят в моду и отрицать их существование не следует. Но почему это — тонический стих, в отличие от силлабо-тонического, опять непонятно. Характерно, что среди примеров этого раздела фигурируют стихи Ломоносова. Между тем эти стихи приведены Ломоносовым как образец той системы, которая у автора книги значится под названием «силлабо-тонической».

Как я уже говорил, нет никакой принципиальной разницы между трех- и четырехударными «чисто тоническими стихами», о которых автор пишет на стр. 101—103, и стихами, состоящими из комбинаций разных метров, описанных на стр. 93—96 и 98—101.

Следующий подраздел «Подражание трехударной строке народной поэзии» не имеет прямого отношения ко всей книге. Народная поэзия обладает своими метрическими нормами особой природы, отличной от чисто декламационного книжного стиха. Для того чтобы подражать народному стиху, необходимо отказаться от мелодии, неотъемлемой от народной песни, и читать его на манер литературного стиха, т. е. изменить самую природу песенного метра. Кстати, первый пример — подлинная былина из сборника «Онежские былины» Гильфердинга — при таком чтении превращается в чистый пяти- и шестистопный хорей с дактилическими окончаниями. Чтобы сделать этот стих трехударным, автор принужден оставлять многие слова без ударения (например, такие слова, как *шел*, *принял*, *выпил* и др.). Такая же операция проделывается и с дру-

гими стихами. Так, например, в небольшом отрывке из «Песни о купце Калашникове» в качестве трехударных приводятся стихи:

Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов,
Опустил он в землю очи темные...

По существу это — четырехударные стихи[1].

Непонятно, почему в этот же подраздел т о н и ч е с к о г о стиха попала «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина, о которой сказано: «Ритмическое единство (cohesion) этого произведения создает постоянное число слогов: 9 или 10 в стихе». Спрашивается, не правильнее ли было бы этот пример перенести из раздела «чисто тонических» стихов в раздел «чисто силлабических». Конечно, стих раешника попал в этот раздел по недоразумению, только в качестве «фольклорного». Но ведь он построен на совершенно других основах, чем стих песни или былины. Именно с точки зрения метрической своей природы он не может быть объединен с другими образцами этого подраздела.

Разнобой наблюдается и в подразделе «Стих с разным числом ударений». Вряд ли, например, под это определение подходят стихи Маяковского, в которых правильно чередуются четырех- и трехударные стихи и где число «семь ударений» в двустишии — вовсе не переменное число. Нельзя включать сюда и «Наш марш» Маяковского, характеризуемый Б. Унбегауном как «искусное подражание барабанному бою». «Наш марш» построен не на обычном словесном ритме, а на ритме музыкальном (но без мелодии, что и называется «барабанным», или «маршевым», ритмом), подобно детским считалкам и т. п. Этот тип ритма надо рассматривать вне обычных стихотворных систем.

Наконец, последний пример — «Александрийские песни» М. Кузьмина, основанные вовсе не на системе ударений. Это, с точки зрения силлабики и тоники, обычная проза, и лишь синтаксис делит речь на стихи, что выражено графически разделением песен на стихотворные строки. Совершенно правильно автор сближает с песнями М. Кузьмина одно из стихотворений Блока, приведенное на стр. 155.

*

Вызывают возражение в книге Б. Унбегауна и некоторые отдельные положения.

В истории русского стиха не замечается такого мирного перерождения силлабического стиха в тонический (или силлабо-тонический), как изображает автор (см. стр. 59—60). Приводимые им статистические данные по этому вопросу, якобы доказывающие, что тоническая реформа подготовлена внутренним развитием силлабического стиха, нуждаются в серьезной проверке[2]. Конечно, Тредиаковский думал только о реформе силлабического стиха, но деятельность Ломоносова привела к тому, что традиция резко оборвалась и никакой зависимости между формами высокого силлабического стиха (как исконного, так и реформированного Тредиаковским) и формами нового тонического стиха не создалось.

Решительно неверно утверждение, будто стих «Светланы» Жуковского происходит от силлабического тринадцатисложника (стр. 31). Нет никакой необходимости превращать один стих в два, дополняя его еще рифмой, которой не было в прототипе. Конечно, мы видим совпадение в числе слогов и расположении ударений. Это уже отмечалось. Так, С. М. Бонди приводил в параллель стихам Тредиаковского:

Невозможно сердцу, ах! не иметь печали.
Очи такожде еще плакать перестали...

стихи Жуковского:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок
Сняв с ноги бросали ...

А. Толстого:

Колокольчики мои,
Цветики степные,
Что глядите на меня,
Темноголубые...

[1] Вообще расстановка ударений в стихах в некоторых случаях не убедительна. Автор не всегда точно относит то или иное слово (особенно местоимения) к разряду энклитик или проклитик (см., например, стр. 26, 30, 34 и др.).

[2] По моему подсчету, у Симеона Полоцкого процент женских рифм указан верно, но у Кантемира их не 6%, как сказано у Унбегауна, а 35%, считая его произведения до реформы Тредиаковского, а это существенно меняет дело.

и Некрасова:

Догоняет ямщичок
Вожака с медведем:
Посади нас, паренек,
Веселей доедем.

Традицию подобного размера можно и продолжить. Такие стихи писал Маяковский; см., например, его стихотворение «Испания»:

Ты — я думал —
райский сад,
Ложь
подпивших бардов.
Нет —
живьем я вижу склад:

«ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО»

(см. также его же «Историю про бублики», «Что такое хорошо...» и др.).

Все эти примеры могли возникнуть и действительно возникли совершенно независимо от тринадцатисложника XVII — XVIII вв.

Сочетание числа стоп четыре+три в любых размерах — явление очень частое. Мы видим такое сочетание в шотландских балладах, популяризированных в переводах на немецкий и русский. Таковы анапестические «Три Будрыса» А. Мицкевича, точно переведенные Пушкиным. Мицкевич заимствовал эту строфу у Жуковского, который в свою очередь взял ее в балладах английских и немецких поэтов. Такие сочетания известны и в ямбах, и в хореях, причем обычно нечетные стихи имеют мужское окончание, четные — женское. См., например, в ямбических стихах (у Жуковского):

Над пенистым Днепром-рекой,
Над страшною стремниной,
В глухую полночь Громобой
Сидел один с кручиной

(«Двенадцать спящих дев»)

Для Жуковского как переводчика немецких поэтов естественна и другая традиция, не зависящая от Тредиаковского и не заставляющая делить один стих на два и дополнять его рифмой. Это — традиция немецкой поэзии, где обычны хореические стихи, состоящие из четырех и трех стоп с той же последовательностью мужских и женских римф. Особенно распространены в таком размере застольные песни. Например, у Гете (особенность данного примера — отсутствие рифмовки нечетных строк)[1]:

Mich ergreift, ich weiss nicht wie,
Himmlisches Behagen.
Will mich's etwa gar hinauf
Zu den Sternen tragen?

У Шиллера: («Tischlied»)

Heil dir, edler deutscher Mann,
Heil zum ew'gen Bunde!
Heute fängt dein Himmel an,
Sie ist da, die Stunde

(«Hochzeitlied»)

Ср. также «Trinklied» Кёрнера, «Zechlied» Бюргера и др.

Эквивалентный (но силлабический) размер обычен и для французской поэзии, преимущественно он встречается в песнях. Вот, например, анонимная вакхическая песня 1637 г.:

Alexandre, dont le nom
A rempli la terre,
N'aimait pas tant le canon
Qu'il n' faisait le verre.

[1] В его же стихотворении «Lied und Gebilde» рифмуются как четные, так и нечетные стихи.

Ср. также популярную песню «La bonne aventure», песни Колле, песню Беранже «La Gaudriole» и мн. др. По-видимому, в немецкую поэзию этот размер пришел из Франции.

При подобных условиях генетическая связь тринадцатисложника со строфой Жуковского представляется фантастической. Такой же фантастической представляется связь строфы Пауса со строфой «Жениха» Пушкина, о которой автор говорит дважды — на стр. 22 и 79. Строфа Пауса — семистрочная (последний стих нерифмованный), что мы видим по немецкому оригиналу. Приводимый восьмистрочный русский перевод — результат описки или опечатки. Достаточно обратиться к труду В. Перетца, на который ссылается Б. Унбегаун[1], чтобы увидеть, что из четырех приведенных там строф — три семистрочные, вполне соответствующие немецкому оригиналу (это и не могло быть иначе, так как указанная песня должна была уложиться в мелодию немецкого оригинала). Первая строфа напечатана с ошибкой: к ней присоединен последний стих второй строфы.

Строфа Пауса небезызвестна в литературе. Именно такой строфой написана пародическая поэма Блюмауера «Энеида наизнанку». Стихи Пауса появились раньше, чем поэма Блюмауера, и доказывают, что у данной строфы была старая и долгая традиция в немецкой поэзии. Однако это не строфа «Жениха» Пушкина. Строфика сказки Пушкина имеет другое и более простое происхождение. Это строфа известнейшей баллады Бюргера «Ленора» (1773) (см. перевод Жуковского 1831 г.). Вообще воскрешение имен Пауса и Глюка в данной книге кажется совершенно излишним. Их произведения — главным образом духовные песни, «эквиритмически» переведенные с немецкого,— представляют собой слабую попытку средствами русского языка, мало им знакомого, воспроизвести немецкие стихи. Относится это больше к проповеднической деятельности этих пасторов, чем к литературе.

На стр. 45 автор делает очень верное замечание о том, что французские стихи вызывают у русского слушателя, не привыкшего к французской просодии, впечатление чисто тонических стихов — впечатление по существу ложное, так как упорядоченность ударений, иногда встречающаяся в отрывках французских стихов, случайная, непреднамеренная и не имеет никакого художественного значения. Надо заметить, что подобные слушатели иногда пытаются сами писать французские стихи, т. е. калькировать по-французски русские стихотворные размеры. Примеры этого можно найти в учебниках французского языка, написанных русскими и украшенных собственноручными пиитическими изделиями их авторов. Нам приходилось видеть целые сборники переведенных на французский стихов в этом роде, наивно написанных русскими переводчиками, совершенно не осведомленными в природе французского стиха. Думаю, что авторы работ о французском стихосложении совершенно правы, игнорируя подобные поэтические потуги. Вряд ли следует известные опыты тонического стихосложения на французском языке (например, стихи Ван-Хассельта) пополнять цитатами из подобных французских хрестоматий. Точно так же в учебнике русского стихосложения вовсе не место малограмотным изделиям немецких пасторов. Это — исторический курьез, не более.

Вообще тяга к курьезам наблюдается в учебнике Б. Унбегауна, и это его несколько портит. Стихотворные застольные шутки и забавы не следует пропагандировать кафедрально. Это дело таких книжек, как «Занимательное стихосложение» Н. Н. Шульговского, «Опыты» В. Брюсова и др. Думаю, что стихи В. Брюсова, приводимые на стр. 71, относятся к таким фокусам и художественного значения вовсе не имеют. Это же следует сказать и о приводимых автором на стр. 130 и 149 «стихах» Н. Гумилева:

Угар и чад, в огне ведро мадеры,
«Уга», рычат во гневе дромадеры

и

Слыша свист и вой локомобиля,
Дверь лингвисты войлоком обили.

При этом замечание автора о том, что разделение предложения на слова есть акт чисто семантический, а не фонетический (стр. 129), мне кажется глубоко ошибочным. Слоги русского языка имеют свой вес в зависимости от положения в слове и отношения к ударному слогу своего слова. Поэтому только в редких случаях не слышно, к какому слову относится слог: является ли он заключительным слогом слова или начальным слогом следующего слова. Кроме того, ударные слоги уж никак не сливаются с неударными («ведро́ маде́ры» и «дромаде́ры»). Вообще автор придает излишнее значение графической форме слова, игнорируя произношение. На этом основано рассуждение о двойственности стиха Лермонтова, допускающего якобы двойное истолкование (ямб или амфибрахий) (см. стр. 37): «Да он и не взял бы забвенья...».

[1] В. Н. Перетц, Историко-литературные исследования и материалы, т. III, СПб., 1902, ч. II— Приложения, стр. 69—70.

Дальнейшее рассуждение автора явно показывает, что недоразумение здесь чисто графическое: стоит прочесть стих вслух, со всеми ударениями, не отмеченными в написаниях, как становится совершенно ясно, каким размером написан стих. А тем самым и данный пример плохо обосновывает тезис автора, будто размер стиха может быть точно определен лишь по соседству с другими стихами того же произведения (чему, например, уже явно противоречит приводимый пример стихов Тютчева из «Silentium»).

Есть в книге и явные ошибки и недоразумения, впрочем не отражающиеся на общем ее построении. Так, на стр. 69 приведены стихи М. Волошина, написанные хореем, но первый стих — ямбический:

Румяны краски. Воздух чист.
Вьется в пляске красный лист.

Соединение ямба с хореем — явление чрезвычайно редкое в русской поэзии. Встречается оно в частушках, где объясняется передвижением ритмического разделения частей. Как исключение встречается и у Маяковского, причем каждый раз имеет у него особое индивидуальное значение, возникающее от выразительной декламации. Для М. Волошина, которому свойственна строгая система размеров, это просто невероятно. Думаю, что рассуждение автора по данному поводу с гипотезой анакрузы — ошибочно. По-видимому, здесь опечатка, и надо читать: «Рдяны краски. Воздух чист» и т. д.

Трудно согласиться с описанием русского сонета на стр. 83. Система рифмовки в нем очень разнообразна, еще разнообразнее, чем в итальянском или французском. Между тем, приведя частный случай, автор описывает его как проявление общего строгого закона рифмовки русского сонета. Характерно, что пример (Пушкинский «Сонет») взят как раз не типичный. Замечание автора, что терцеты могут строиться в форме канонического шестистишия (*a a b c c b*), противоречит нормам строгой формы русского сонета.

Мне кажется совершенно излишним вопрос о количестве согласных в стихах (стр. 117—118). Такого вопроса в русском стихосложении не существует. Кстати, и примеры неубедительны. Их следовало бы переписать в фонетической транскрипции, чтобы мысль автора была ясна. В русской орфографии согласные (неслоговые звуки) означаются не всегда точно. Так, в слове *ненастный* сочетанию *ст* соответствует один согласный. В стихе «Ее, далекую ее» пять йотов совсем не отразились в написании. Неудачен пример на стр. 140, единственный, доказывающий спорадическую рифмовку неударных *а* и *о* в XVIII в.: *сада — надо*. В XVIII в. слово *надо* писалось и произносилось *нада*, поэтому приведенная рифма ничего не доказывает.

И, наконец, решительный протест вызывает интерпретация структуры «Медного всадника». Обильные переносы (enjambements) поэмы автор объясняет так: «Спотыкливый (jerky) ритм с неожиданными и в действительности логически не оправданными разрывами превосходно гармонирует с непоследовательными (capricious) поступками сумасшедшего героя в данном месте поэмы (стр. 125; приведены стихи от «Евгений за своим добром...» до «Ему не внемлющих судей»). Мы никак не можем воспринимать экспрессивные стихи «Медного всадника» как «спотыкливые». Переносы в этой поэме начинаются задолго до сумасшествия Евгения, например:

Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо к тому же дружно.
. . . . . .
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало. Все вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы.

Вообще применение переносов в творчестве Пушкина в 30-е годы становится обычным выразительным средством, вовсе не требующим такой мотивировки, как безумие героя (см. маленькие трагедии, «Анджело» и др.). Наоборот, в стихотворении, посвященном теме безумия — «Не дай мне бог сойти с ума» (1833), имеется лишь один перенос на 30 стихов.

Подведу итоги. Если у автора книги встречаются высказывания, вызывающие возражения, то в большинстве случаев они восходят к ныне распространенным в нашей литературе взглядам на русский стих, и в этом случае его обвинять трудно. Некоторая компилятивность изложения, вообще говоря, не может считаться недостатком учебного курса. Ошибки в интерпретации примеров встречаются гораздо реже, чем обычно при изложении теории русского стиха не только в отдельных главах разных

«Теорий литератур» и «Введений в литературоведение», но и в специальных работах по стиху, в словарях стиховедческих терминов и т. п. Опять-таки наличие подобных ошибок — следствие отсутствия в литературе хорошей, толковой работы, излагающей теоретические и исторические основы стихосложения. Б. Унбегаун в наименьшей мере в этом повинен. Следует признать правильным историко-теоретический принцип, положенный в основу изложения. Надо отдать должное ясности формулировок и построения книги, не затуманенной никакими отвлеченностями, удобной для чтения и для справок. Думается, что появление этой книги принесет большую пользу, облегчив англичанам, изучающим русский язык и литературу, восприятие художественной структуры и тем самым понимание русской поэзии.

Б. В. Томашевский

Roman Jakobson and Morris Halle. **Fundamentals of language.**— 's-Gravenhage, 1956. 87 стр. («Janua linguarum. Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata», №1).

Рецензируемой книгой «Основы языка» открывается серия работ по языкознанию («Janua linguarum»), посвящаемая памяти знаменитого голландского языковеда Николая Ван-Вейка (под общей редакцией Корнелия Г. Ван Схоневельда, Лейден). Следует всячески приветствовать идею создания серии книг, имеющей целью последовательное освещение основных вопросов общего языкознания как с точки зрения внутренних законов языка, так и в плане отношения языка к другим общественным явлениям.

Рецензируемая книга состоит из двух частей: 1) «Фонология и фонетика» («Phonology and phonetics») (стр. 3—51), авторы: Р. Якобсон и М. Халле и 2) «Два аспекта языка и два типа афазии» («Two aspects of language and two types of aphasic disturbances») (стр. 53—82), автор Р. Якобсон. Кроме того, к книге приложен список избранных трудов по фонологии за период с 1931 по 1955 гг. (стр. 85—87).

В первой главе первой части книги «Язык на дифференциальном уровне» («The feature level of language») вводится и обосновывается понятие «дифференциальных признаков». Если морфемы — это предельные значащие единицы языка, то дифференциальные признаки — это те предельные составляющие языка, которые позволяют отличать морфемы друг от друга. Таким образом, выявляются два разных уровня языкового анализа: с одной стороны, семантический уровень, рассматривающий как простые, так и сложные значащие элементы языка, а с другой — уровень «признаков» (the feature level), изучающий те простые и сложные единицы, которые служат лишь для того, чтобы дифференцировать, объединять, разделять или выделять многообразные значащие единицы языка.

Понятие «дифференциальных признаков в действии» разъясняется авторами на примере имен собственных. Этот очень остроумный прием дает авторам возможность наглядно продемонстрировать роль фонем как дифференциаторов или различителей звуковых оболочек единиц языкового сообщения. Например, Вас представляют господину Диттер (Mr. Ditter). При произнесении фамилии (Ditter) Вы, естественно, делите услышанный Вами непрерывный звуковой поток на определенное число последовательных дискретных единиц, способных к селективной альтернации с другими дискретными единицами: [d + i + t + ə], т. е. ['ditə], а не ['bitə], и не ['dɔtə], и не ['digə] или ['diti].

Для выделения и изучения дифференциальных признаков первостепенное значение, по мнению авторов, имеет двоичный принцип: когда слушающий «принимает» языковое сообщение, каждый отдельный дифференциальный признак ставит его перед необходимостью выбрать из двух возможных (например, гравис или акут, звонкий или глухой, носовой или ртовый и т. п.). Для этого он соотносит полученное сообщение с «кодом» данного языка, содержащим все допустимые комбинации дифференциальных признаков в виде «связок» (bundles) сосуществующих (concurrent) дифференциальных признаков, т. е. ф о н е м, и все правила соединения фонем в «последовательности» или ряды. При этом, если в приведенном выше особом случае с собственными именами слушающий должен полностью уловить все детали данной звуковой оболочки, то обычно контекст и ситуация позволяют пренебречь большим процентом дифференциальных признаков без ущерба для понимания. Вероятность появления того или другого дифференциального признака в речевой цепи весьма различна; поэтому, имея данную часть ряда или последовательности, можно предсказывать с большей или меньшей степенью точности следующие признаки, восстанавливать, исходя из последующих, предыдущие и, наконец, выводить из воспринятых элементов данной «связки» остальные дифференциальные признаки.

Вторая глава первой части «Разновидности признаков и способы их лингвистической трактовки» («The variety of features and their treatment in linguistics»), начинается с разъяснения сущности специальной лингвистической дисциплины, изучающей то, каким образом язык пользуется звуковой материей, отбирая некоторые ее элементы и приспосабливая их для различных целей. Для обозначения этой дисциплины авторы предлагают пользоваться термином «фонология» или «функциональная фонетика».

Основой разграничения фонетики и фонологии является характер отношения между звуковой материей и фонологическими «сущностями» (entities). Авторы считают правильным внутренний, или «имманентный», подход к этому вопросу, локализующий «дифференциальные признаки» и их «связки» (bundles) внутри звуков речи на всех уровнях, т. е. на моторном, акустическом и слуховом. Хотя дифференциация семантических единиц и является важнейшей звуковой функцией языка, из этого никоим образом не следует, что общающиеся посредством языка игнорируют все остальные свойства звуков речи кроме собственно дифференциальных признаков. Помимо дифференциальных признаков имеются еще «свойства конфигурации» (configurative features), сигнализирующие посредством «кульминации» (объединения) и «демаркации» (разграничения) деление высказывания на слова и предложения и«свойства экспрессии» (expressive features) или эмфатики (emphatics), выражающие эмоциональные состояния говорящего относительным размещением эмфазы на различных частях высказывания. Эти свойства связаны с выделением так называемых «избыточных признаков» (redundant features). Хотя избыточные признаки и носят как бы подсобный характер, значение их не следует недооценивать. Нередко они полностью заменяют дифференциальные признаки. Например, хотя английские [s] и [z] как таковые в конечном положении различаются только силой, для их дифференциации большое значение имеет сопутствующее различию в силе и з б ы т о ч н о е р а з л и ч и е в долготе предшествующего звука (ср. *pence* [pens] и *pens* [pen:z]). Напротив, в русском языке, например, различие слабости и силы представляет собой избыточный признак, сопровождающий дифференциальное противопоставление звонкости/глухости согласных; при шепотной речи основной (дифференциальный) признак исчезает и единственным способом различения оказывается побочное, избыточное противопоставление слабости/силы.

Кроме того, слушая речь, можно делать выводы о происхождении, образовании и социальной принадлежности говорящего. Естественные (биологические) свойства звуковой стороны речи позволяют вместе с тем определить пол, возраст, психо-физиологический тип говорящего, отличать знакомого от незнакомого и т. п.

Основным свойством дифференциальных признаков является их способность указывать на отличие данной языковой единицы от другой или других. Поскольку фонема — это «связка дифференциальных признаков», она служит не для индивидуального или положительного определения, а лишь для указания на отличие, нетождество (otherness). Это свойство дифференциальных признаков и фонем отличает их от всех других единиц языка.

Явление совпадения (overlapping) фонем подтверждает относительный характер дифференциальных признаков. Пара переднеязычных гласных фонем, генетически противопоставляемых по их относительной широте и узости, а акустически — по степени концентрации энергии (compact/diffuse), может в некоторых языках выступать в одном положении как [æ] — [e], а в другом — как [e] — [ı], так что один и тот же звук [e] в одном положении реализует (implements) ненапряженный, а в другом — напряженный элемент одного и того же противопоставления. При этом отношение в обеих позициях остается одним и тем же: две степени открытости и, соответственно, две степени концентрации энергии — максимальная и минимальная — противопоставляются друг другу в обоих случаях.

Изложенное понимание природы фонем и дифференциальных признаков дает авторам основу для критической оценки других взглядов, а именно: а) «менталистской точки зрения», локализующей «фонему» вне реального звучания и понимающей отношение фонемы к звуку как отношение «психо-фонетического» факта к «физио-фонетическому»; б) точки зрения, относящей фонемы к коду, а варианты фонем — к сообщению; в) точки зрения, противопоставляющей фонему звуку как класс или «семью» звуков (family of sounds) отдельному представителю этого класса; г) воззрения на фонему как абстракцию, как условное отвлечение от действительности звучания и д)«алгебраической точки зрения» (Ельмслев). основывающейся на максимальном и нарочитом разобщении (estrangement) фонологии (фонемики) и фонетики (см. стр. 11—17 рецензируемой книги). Приводимый авторами подробный критический разбор указанных концепций представляет большой интерес.

Третья глава первой части озаглавлена: «Отождествление дифференциальных признаков» («The identification of distinctive features»). Если дифференциальные признаки организованы (are aligned) в «одновременные» (simultaneous) связки (bundles), называемые фонемами, то фонемы, в свою очередь, сцепляются в последовательности, или ряды, причем элементарной моделью для любого объединения фонем является слог. Число различных слогов в языке находится в кратных отношениях к числу «свободных

форм» (последовательностей, подразделяемых посредством пауз), так же как число фонем — к числу слогов, а число дифференциальных признаков — к числу фонем. Основным принципом построения слога является контрастирование его последовательных частей, т. е. одна часть слога выделяется по отношению к остальным. Обычно контрастирование частей достигается противопоставлением гласного согласному. Каждая из контрастирующих частей слога может содержать более одной фонемы.

Понятие о слоге и характер соотношения составляющих его фонем дает основу для классификации дифференциальных признаков на 1) просодические и 2) ингерентные. Просодическими дифференциальными признаками могут обладать только те фонемы, которые образуют вершину слога, причем только по отношению к рельефу слога, тогда как ингерентные признаки обнаруживаются у фонем безотносительно к их роли в рельефе слога.

Просодические признаки, а именно: тон, сила и количество, выступают в двух разновидностях — меж- и внутрислоговой. В первом случае вершина одного слога сравнивается с вершинами других слогов внутри одной и той же последовательности. Во втором — данное свойство вершины может сравниваться с другими свойствами в той же вершине или со следующей за ней неслогообразующей частью.

Всякий просодический признак основывается прежде всего на противопоставлении двух переменных в пределах одной и той же последовательности (sequence): относительная высота, громкость или длительность данного отрезка определяется по отношению к предшествующим или последующим отрезкам. Напротив, распознавание и определение ингерентного признака основывается только на выборе между двумя альтернативами, допустимыми в данной позиции, и не предполагает сравнения двух полярных членов, сосуществующих в пределах одного и того же контекста. Иными словами, обе альтернативы ингерентного признака сосуществуют в коде как два члена противопоставления, но не предполагают контрастирующего положения в пределах одного сообщения. Вследствие того, что ингерентный признак определяется только сравнением наличествующей альтернативы с отсутствующей, реализация ингерентного признака в данном положении менее подвержена модификации, чем реализация просодических признаков.

Между силой и количеством имеется взаимная связь. Во всех случаях противопоставления ударных и безударных слогов сила используется в качестве конфигуративного (кульминативного) признака, количество же не может использоваться с этой целью. Кульминативная функция силы (stress) закономерно соединяется либо с другой разновидностью конфигуративных функций — демаркацией, либо с дифференциальной функцией. Языки, использующие в качестве дифференциальных признаков и количество, и силу, представляют собой исключение, причем если сила и выступает в качестве дифференциатора, то она по большей части сопровождается избыточными явлениями количественной модификации.

Вторая половина третьей и вся четвертая глава первой части рецензируемой книги посвящаются рассмотрению вопроса о распределении фонем в модели (phonemic patterning) и общих законах, управляющих этим явлением. Авторы считают, что данные, добытые современным языкознанием, так же как и исследования звукового состава речи детей и афазиков, заставляют признать ошибочным мнение о многообразии дифференциальных признаков. Напротив, авторам представляется возможным отыскать универсальные правила, лежащие в основе «распределения в модели» (patterning) языков вообще.

Все ингерентные дифференциальные признаки, обнаруженные до настоящего времени в языках мира и лежащие вместе с просодическими признаками в основе их лексического и морфологического состава, авторы сводят к 12 противопоставлениям, которыми каждый язык пользуется по-своему. При этом указывается, что для более глубокого проникновения в природу универсальных противопоставлений необходимо исследование не только закономерностей «языка в действии» (language in operation), но также «языка в движении». По мнению авторов, следует также изучать язык в процессе его создания и разрушения, что обусловливает необходимость глубокого изучения особенностей развития речи у детей и всех нарушений речи при афазии.

Исследование закономерностей возникновения и разрушения фонологической системы языка позволяет подойти к проблеме распределения в модели (patterning) с более широкой перспективой. Выясняется, что обычно детская речь начинается, а афатическое разрушение речи кончается тем, что психиатры называют «лабиальной стадией», на которой говорящие способны к произнесению только одного звукосочетания, как правило, транскрибируемого в виде [ра]. С артикуляторной точки зрения две составляющие этой последовательности фонем представляют полярные конфигурации речевого аппарата, или соединение «оптимальной согласной» с «оптимальной гласной».

На этой основе развиваются другие противопоставления; в частности, противопоставление носового и ртового согласного, рано усваиваемое ребенком, оказывается также наиболее устойчивым консонантным противопоставлением при потере речи (афазии).

Особенно распространенными (встречающимися во всех языках) являются проти-

вопоставление грависа/акута и противопоставление напряженного/ненапряженного. Развитие детской речи представляет собой целую цепь последовательно усваиваемых противопоставлений, порядок которых авторы уже теперь считают возможным изобразить на таблице парных противопоставлений, таких, например, как согласные — зубные, губные; гласные — узкие, широкие и т. п.

Подробный анализ различных противопоставлений, наблюдаемых в разных языках, заставляет авторов прийти к выводу, что все «ингерентные» дифференциальные признаки покоятся на двух осях: с одной стороны, на «оси звонкости» (sonority axis) (имеются в виду разные модификации первичного контраста оптимальной согласной и оптимальной гласной), а с другой— на «оси тональности» (tonality axis) (эти противопоставления первоначально выступают как сопровождающие контрастирование оптимальной гласной и оптимальной согласной, а затем уже как сопровождающие противопоставление оптимального напряженного гласного в отличие от оптимального ненапряженного и т. п.).

Независимое развитие фонологической теории и математической теории информации привело эти две дисциплины к сходным и взаимно дополняющим выводам и сделало возможным сотрудничество, весьма плодотворное для обеих сторон. Основой для такого сотрудничества являются следующие положения. Каждая цепь фонем содержит последовательно закодированное сообщение, а каждая фонема состоит из нескольких дифференциальных признаков. Если количество информации, содержащееся в данной последовательности фонем, свести к наименьшему числу альтернатив, то будет получено минимальное число операций, необходимых для кодирования и декодирования сообщения. Иными словами, будет найден наименьший комплект (set) дифференциальных противопоставлений, обеспечивающих отождествление каждой из фонем в сообщениях, передаваемых на данном языке. Для этого необходимо отделение дифференциальных признаков от сопровождающих их избыточных признаков. Например, если чешское [l], которое может употребляться в положениях,тождественных с положениями остальных 32 фонем этого языка, рассматривать как «неразложимую дифференциальную единицу», отличение его от этих 32 фонем потребовало бы установления 32 неразложимых отношений. Если же это [l] разложить на три его дифференциальных признака, его отношение ко всем другим фонемам будет сведено к трем бинарным выборам.

Вопрос о функционировании звуковой системы языка включает момент пространственно-временной неоднородности. Неоднородность может распространяться на разные аспекты языка или ограничиваться только одним—фонологической стороной. Общение в условиях различия требует приспособления или «переключения кода» (по терминологии инженеров связи, «code-switching»). Фонологическая неоднородность, требующая фонологического приспособления, может охватывать либо весь словарный состав, либо ограничиваться отдельными словами, непосредственно заимствованными или видоизменившими свое произношение под влиянием смежной фонологической системы. В благоприятных для этого условиях данные особенности произношения постепенно могут вытеснить прежнюю норму. Междиалектное и межъязыковое приспособления могут видоизменять фонологический код и не только в рамках заимствованных слов. Систематическое картографирование и изучение этого широко распространенного явления — одна из важных задач современного языкознания.

С соответствующими изменениями сказанное о «пространственном» приспособлении относится также к приспособлению временному. Всякое осуществляющееся звуковое изменение представляет собой синхронический факт, так как его начало и конец сосуществуют в продолжение определенного периода времени. Если данное изменение отличает младшее поколение от старшего, то общение между ними предполагает навык «перекодирования» сообщения. Кроме того, начальная и конечная стадии изменения могут совпадать в употреблении представителей одного и того же поколения, дифференцируясь по стилистической линии. Таким образом, синхронический анализ должен обязательно включать в себя языковое изменение и, наоборот, лингвистическое изменение может быть понято только в свете синхронического анализа фактов.

•

Как уже было сказано, вторая часть книги, написанная Р. Якобсоном, называется «Два аспекта языка и два типа афазии». «Двойственный характер языка» (the twofold character of language) состоит в том, что каждый языковой знак предполагает, с одной стороны, соединение (combination), а с другой — выбор (selection) между различными альтернативами и возможность взаимозаменяемости последних. Таким образом, знак всегда связан с двумя видами отношения: 1)к коду и 2) к контексту, причем в первом случае (внутреннее соотношение) посредством альтернации, а во втором (внешнее соотношение) — посредством соположения (alignment).

Эта двойственная природа языка и определяет два основных вида расстройства речи—«ассоциативное» (similarity disorder) и «синтагматическое» (contiguity disorder). Можно сказать далее, что все разновидности этого явления располагаются между дву-

мя полюсами — метафорическим и метонимическим. В случае ассоциативного расстройства необходимым и решающим фактором становится контекст, вследствие чего речь делается только реактивной. При синтагматическом расстройстве речи сокращается объем и разнообразие предложений. Синтаксические правила, служащие для объединения слов в единицы более высокого порядка, утрачиваются, и речь превращается в беспорядочную «кучу слов».

Расстройства речи служат доказательством того факта, что язык отличается от всех других семиологических систем раздельностью дифференциальной и сигнификативной функций. Между этими двумя уровнями языка возникает противоречие в тех случаях, когда лица, страдающие синтагматическим расстройством, утрачивают представление об иерархии лингвистических единиц и сводят их к одному уровню: либо к уровню сигнификативных «ценностей» — словам, либо к уровню дифференциальных «ценностей»—фонемам. В первом случае сохраняется целостное представление знакомых слов, но теряется способность разлагать их на элементы или воспроизводить бессмысленный ряд фонем, во втором — сохраняется способность отожествлять, различать и воспроизводить фонемы, но утрачивается способность отожествлять, различать и воспроизводить слова.

*

Основные положения и выводы рецензируемой книги уже были обоснованы и изложены в более ранних работах, подготовленных Р. Якобсоном[1] или при его непосредственном участии. Поэтому «Fundamentals of language» представляет собой уже в известной степени подведение итогов работы и их популяризацию. Думается, что дальнейшее развитие этой линии языковедческого исследования пойдет с учетом тех замечаний и возражений, которые уже были сделаны и которые продолжают возникать при попытках применения предлагаемых методов к конкретному языковому исследованию[2].

Пока можно только сказать, что сама идея тесного сотрудничества языковедов и инженеров связи, безусловно, поставлена самой жизнью в порядок дня. Перевод фонологического исследования в область осязаемых электроакустических явлений может иметь большое народнохозяйственное значение.

Хотя изложенная система в общем и отличается полнотой и отсутствием внутренних противоречий, некоторые стороны исследуемой проблемы остались недостаточно выясненными. В частности, следует указать на трактовку вопроса о «технике» или конкретных методах фонологического исследования (стр. 17—19). Из сказанного в рецензируемой книге остается все же неясным, можно или нельзя практически исследовать фонологическую систему совершенно непонятного языка. Приведенные примеры и высказанные попутно соображения очень интересны, но если бы окончательный вывод был сформулирован более категорично, то это более соответствовало бы общему характеру книги.

Не вполне ясной остается точка зрения авторов на соотношение между фонемами и другими единицами языка. Если в целом разграничение дифференциального и семантического уровней представляется достаточно обоснованным, объединение таких принципиально отличных единиц, как «morpheme», «utterance» и «discourse» (авторы относят их к семантическому уровню; см. стр. 4), не помогает уяснению существа дела. Вряд ли можно сомневаться в том, что, в отличие от морфем, являющихся единицами языка, те «единицы», которые обозначаются теперь в американском языкознании не очень четко определенными терминами «utterance» и «discourse», представляют собой единицы не языка, а р е ч и[3]. Не вполне ясно также сказанное на стр. 20 о кратных взаимоотношениях разных единиц языка. Не упомянуто и о качественном различии таких единиц, как «слово», «предложение», «морфема», «фонема», вследствие чего понятие «контекста» оказывается очень абстрактным.

Хотя, таким образом, в работе и могут быть отмечены отдельные упущения, в целом она вполне соответствует своему назначению.

О. С. Ахманова

---

[1] См. особенно R. J a k o b s o n, C. G. F a n t, M. H a l l e, Preliminaries to speech analysis («Technical report», № 13 [of the Acoustics laboratory of the Mass. inst. of technology], May 1952), 2-d print., [Cambridge], 1955, где детально обосновывается применение двоичного принципа к фонологическому анализу.

[2] Резкой критике теория бинарных противопоставлений подвергается А. Мартине — см. A. M a r t i n e t, Économie de changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique, X, Berne, 1955. См. также О. С. А х м а н о в а, Фонология, М., 1954.

[3] Этот вопрос неоднократно освещался уже на страницах нашего журнала. См.: А. И. С м и р н и ц к и й и О. С. А х м а н о в а, О курсе «Общее языкознание» (ВЯ, 1953, № 4, стр. 76); С. Л. Р у б и н ш т е й н, К вопросу о языке, речи и мышлении (ВЯ, 1957, № 2).

Fernando Lázaro Carreter. Diccionario de términos filológicos. — Madrid, «Gredos», 1953. 368 стр. («Biblioteca románica hispánica», III.—Manuales, 6).

Рецензируемый «Словарь филологических терминов» является первым опытом составления справочника этого типа (если не считать небольшой брошюры М. Сокорро, которая вышла в 1936 г. и посвящена объяснению некоторых грамматических терминов[1]), выполненным испанским лингвистом. В связи с этим труд Ф. Ласаро приобретает большое значение как справочное пособие не только в самой Испании, но и в других странах испанской речи. Словарь рассчитан, как об этом говорит сам автор (стр. 10), на студентов-филологов, т. е. преследует в первую очередь учебные цели, чем и объясняется довольно широкий лингвистический объем словаря.

Отсутствие собственного опыта в составлении словарей филологических терминов заставило автора обратиться к зарубежным образцам, в частности к работам Марузо, Гофмана и Рубенбауера [2].

Составителем учтены также материалы VI Международного конгресса лингвистов в Париже (1948), касающиеся вопросов лингвистической терминологии. Некоторое количество «традиционных терминов» сопровождается объяснениями, заимствованными из академических изданий испанского словаря и грамматики[3]. Многие «терминологические неологизмы», введенные в обиход структуралистами, сопровождаются объяснениями в соответствии с «Проектом стандартной фонологической терминологии»[4].

Заглавие словаря не вполне точно соответствует его содержанию. Несмотря на наличие некоторого количества терминов поэтики и риторики, это все же в первую очередь словарь лингвистических терминов: терминология прикладных дисциплин занимает в нем незначительное место.

Словарные статьи построены следующим образом: 1) самый термин, 2) иностранные параллельные термины и соответствия: немецкие, английские и французские (в тех случаях, когда они значительно отличаются от испанских); 3) сжатое объяснение обычного практического применения термина; 4) краткое указание на различное понимание термина в работах того или иного лингвиста; 5) ссылки на цитированные научные труды или практические пособия. Иногда просто указываются фамилии лингвистов, из чьих работ заимствуются определения; 6) языковые примеры, иллюстрирующие словообразовательную модель, синтаксическое построение и т. д.

Эта схема, разумеется, воспроизводит построение тех статей, в которых материал преподносится наиболее обстоятельно и пространно (как в энциклопедических словарях). Давая самую общую оценку словаря, следует сказать, что он не только может быть использован в учебных целях, но в отдельных частях способен в какой-то степени удовлетворить нужды академической практики.

Стремление приспособить словарь к учебным целям заставило составителя расширить его лингвистический объем и выйти за пределы не только романской филологии, но и индоевропейской. Само собой разумеется, что подобное расширение лингвистического объема таит в себе опасность нарушения некоторых пропорций. Именно так произошло и в данном случае: понятия, не связанные с индоевропеистикой, оказались представленными беднее, чем индоевропейский материал и в особенности романский.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить очень краткую и маловыразительную характеристику кавказских языков [статья *Caucásicas (Lenguas)* стр. 71—72] с содержанием словарных статей по пиренейским языкам и диалектам (см., например, статьи *Español* — стр. 131—133, *Castellano* — стр. 68—69, *Leonés* — стр. 211—212 и др.).

Словарь терминов по любой отрасли знаний непременно должен отражать современный уровень соответствующей науки. Поэтому основным и главным критерием оценки словаря является определение степени научности трактуемых в нем понятий. Наиболее показательными в этом смысле являются словарные разъяснения основных понятий, составляющих содержание лингвистической науки.

В определении таких понятий, как «язык» (*Lengua* — стр. 210), «речевая деятельность» (*Lenguaje* — стр. 210—211), «речь» (*Habla* — стр. 175), Ф. Ласаро, как это явствует из анализа содержания словарных статей, придерживается точки зрения

---

[1] M. Socorro, La nomenclatura gramatical, Las Palmas, 1936.

[2] J. Marouzeau, Lexique de la terminologie linguistique français, allemand, anglais, 2-e éd., Paris, 1943 (1-е изд.— 1933); J. B. Hofmann und H. Rubenbauer, Wörterbuch der grammatischen und metrischen Terminologie, Heidelberg, 1950.

[3] «Diccionario de la lengua española», Madrid, Real Academia española, 1939; «Gramática de la lengua española», nueva ed., reformada, Madrid, Real Academia española, 1931.

[4] «Projet de terminologie phonologique standardisée», «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 4, 1931.

Ф. де Соссюра, стремившегося установить «систему чисто языковых противопоставлений» по схеме *langue — langage — parole*.

Противопоставление «языка» и «речи» накладывает свой отпечаток и на определение многих других понятий, таких, например, как «сущность языка», «функции языка», «языковой закон» и т. д. Показательна в этом отношении статья о функции (*Función*: 5.— *Funciones del lenguaje* — стр. 158—159). Составитель, ссылаясь на Бюлера, говорит о трех функциях языка: сигнальной (говорящий привлекает внимание слушателя), выразительной (говорящий сообщает о своем психологическом состоянии) и функции сообщения, которая дает возможность «что-то рассказать». Первая и вторая функции имеются и в человеческой речи, и в языке животных. Только третья функция (возможность что-то рассказать) отличает человеческую речь от языка животных. Ф. Ласаро считает необходимым также ввести в качестве четвертой функции языка предложенное в свое время Яном Мукаржовским (1936) понятие эстетической функции (слово в контексте, в литературной речи).

Соссюрианские установки автора словаря сказываются в статьях о диахронии и синхронии, которые точно воспроизводят основные положения главы социологической школы Ф. де Соссюра и даются без каких-либо критических замечаний.

В соответствии с пониманием системы языка как суммы совершенно условных грамматических, фонетических и иных противопоставлений Ф. Ласаро вводит в свой словарь многочисленные термины структуральной лингвистики (см., например, статьи *Fonología* — стр. 150—151, *Fonoestilística* — стр. 150, *Glosemática* — стр. 168—169, *Correlación* — стр. 94—96, *Estructuralismo* — стр. 137 и др.).

О характере взаимоотношений языка и мышления упоминается в связи с кратким изложением учения (doctrinas) Н. Я. Марра в статье *Marrismo* — стр. 222—223. Следует сказать, что под словом *марризм* Ф. Ласаро ошибочно понимает «научное направление в русской лингвистике, опирающееся на марксистскую основу» (разрядка моя.— *Г. С.*). Автор словаря дезориентирует читателя, утверждая, будто Марр и его последователи выдвинули тезис о диалектической связи между языком и мышлением и отрицали их тождество. Как известно, одной из крупных ошибок Н. Я. Марра было именно отождествление языка и мышления по формуле «язык = мышлению»(т. е. как раз «identidad», а не «unidad dialéctica»). Наряду с этим правильно указывается, что Марр и его последователи придавали исключительное значение синтаксису, считая, что в нем наиболее ярко и непосредственно отражаются стадиальные смены в мышлении.

Ф. Ласаро, не сумев до конца разобраться в принципиальных отличиях марксистской теории языкознания от вульгаризаторских положений «нового учения» о языке, свел воедино по существу взаимоисключающие тезисы и попытался выдать их за марксистскую языковедческую науку.

Объяснения частнограмматических терминов, сделанные в основном ясно и обстоятельно, имеют все же существенный недостаток, заключающийся в том, что автор в ряде случаев не учитывает специфику грамматических отношений, которая может быть различной в разных языках. Характерна в этом отношении статья о виде (*Aspecto* — стр. 51—52). Логическое понятие характера протекания действия автор смешивает с грамматической категорией вида. Испанские примеры, которые приводит составитель словаря, неправильно ориентируют читателя. Автор утверждает, что временные глагольные формы *escribió* (перфект) — *erscribía* (имперфект) будто бы противопоставлены в видовом отношении: первая указывает на законченность действия, а вторая — на его длительность. На самом же деле форма *escribió* как форма временная указывает только на то, что действие, ею выраженное, предшествовало другому действию. С точки зрения характера протекания действия форма *escribió* в соответствии с различным лексико-грамматическим окружением может передавать самые разнообразные значения, например: (*él*) *escribió* (*más de una hora*) «(он) писал (больше часа)»; (*él*) *escribió* (*dos cartas*) «(он) написал (два письма)»; (*él*) *escribió* (*artículos*) «(он) писал (пописывал) (статьи)».

Форма *habló* (от глагола *hablar* «говорить») может означать: «говорил», «заговорил», «проговорил», «говаривал» и др.

Что касается видового значения длительности, то оно передается в испанском языке не временной формой имперфекта *escribía*, а специальной грамматической видовременной формой, состоящей из вспомогательного глагола *estar* + герундий основного глагола: *está* (*estuvo*, *estaba* и т. д.) *escribiendo*.

Наибольшей полнотой и четкостью отличаются статьи по испанистике. Это в первую очередь относится к раскрытию содержания таких понятий, как «испанский язык» (*Español* — стр. 131—132), «кастильский диалект» (*Castellano* — стр. 68—69) и т. д. Однако и в них есть целый ряд недочетов, проистекающих, на наш взгляд, из неточного определения более общих понятий. Так, например, нечеткое определение понятия «диалект» (*Dialecto* — стр. 111) привело к ошибочной, на наш взгляд, классификации «испанской речи» (в статье «испанский язык»— *Español* — стр. 131—133) по диалектному признаку. Ф. Ласаро дает следующее определение диалекта: «Диалект, нем. Mundart. Разновидность языка на определенной территории, внутри которой она

ограничивается пучком изоглосс. Интенсивность изоглосс определяет своеобразие диалекта». Как видно из этого определения, историческая мотивировка возникновения и развития диалектов полностью игнорируется. Неясно также, в каком взаимоотношении находятся язык и диалект, чем отличается диалект от наречия и т. д. Не случайно поэтому составитель словаря предлагает следующую классификацию диалектов по странам испанской речи (los dialectos hablados en dominio linguístico español): а) леонская группа (леонский, астурийский, монтаньёс, мирандёс); б) баскско-романский; в) наварро-арагонская группа (пиренейский, прибрежные области Наварры и Арагона, нижнеарагонский); г) северокастильская группа (бургосский, диалекты Алавы, Риохи и Сории); д) южнокастильская группа (собственно кастильский, андалусийский, эстремадурский, мурсийский и канарский); е) испано-еврейская группа; ж) испанский язык в Америке.

Нетрудно заметить, что принцип деления нарушен уже в самом начале классификационной схемы. К испанским диалектам отнесен баскско-романский диалект, который с лингвистической точки зрения не может быть безоговорочно квалифицирован как романский, поскольку речь идет лишь о некоторых латинских и романских элементах, вошедших после соответствующей трансформации в систему баскской речи (в результате адстратных взаимодействий и билингвизма). Кстати говоря, Ф. Ласаро именно таким образом и определяет понятие «баскско-романской речи» в статье «Баскский язык» (*Vasco* — стр. 332—333).

Вызывает возражение выделение северокастильской и южнокастильской групп диалектов в том виде, как это представлено в словаре. На первый взгляд может показаться, что в данном случае автор придерживается исторического принципа классификации диалектов. Действительно, экспансия кастильского в центральные и южные области страны привела в свое время к созданию трех разновидностей кастильского диалекта: старокастильской (по Ф. Ласаро, северокастильская группа), толедской (по Ф. Ласаро, видимо, «собственно кастильский» диалект в южнокастильской группе) и андалусийской (по словарю, видимо, все остальные диалекты южнокастильской группы).

Однако более внимательный анализ схемы, предложенной составителем словаря, убеждает нас в том, что в основе дробления кастильского на два диалекта лежит принцип территориальный (северная зона, южная зона, да и вся схема отражает движение по карте с севера на юг), но без учета показаний изоглосс. Анализ лингвистических данных не дает оснований отрывать «собственно кастильский» от северокастильской группы. Если для периода XIV — XV вв. имело бы смысл рассматривать южную разновидность кастильского как андалусийский поддиалект, то для современной лингвистической ситуации таких оснований нет. Андалусийская разновидность кастильского за пять-шесть столетий превратилась в самостоятельный диалект, сохранив при этом только некоторые черты старокастильской речи. Новое районирование юга страны привело в свое время к созданию новых культурных, экономических и административных центров, а вместе с тем и к возникновению новых центров языковой (диалектной) иррадиации.

Спорной также является квалификация испано-еврейского (judeo-español) и испанского языка в Америке как диалектов испанского языка, в одном ряду с леонским, наварро-арагонским и т. д. Совершенно очевидно, что термин «диалект» употребляется автором словаря без достаточной терминологической точности. При определении более частных понятий автор проявляет большую строгость и осторожность. Так, в статье *Judeo-español* (стр. 204—205) испано-еврейская речь определяется как «архаическая разновидность испанского» (variedad arcaica del español).

Несмотря на ряд недочетов, «Словарь филологических терминов» Ф. Ласаро производит очень благоприятное впечатление широтой словника, лаконичностью определений, содержательными статьями по романской филологии, обилием новой и новейшей терминологии; к тому же он характеризуется спокойным и объективным изложением фактов. Все это делает его удобным и полезным пособием в учебной работе и академической практике.

Г. В. Степанов

Wolfgang Steinitz. **Geschichte des wogulischen Vokalismus.**—Berlin, Akademie-Verlag, 1955. 366 стр.

Вольфганг Штейниц, семь лет назад выпустивший в свет книгу по истории хантыйского вокализма[1], новую свою работу посвятил истории гласных звуков мансийского языка, находящегося в ближайшем родстве с хантыйским и составляющего вместе с ним обско-угорскую группу финно-угорских языков.

Язык маленького народа манси[2] относительно хорошо изучен: в течение последнего столетия вышел ряд работ, посвященных вопросам грамматики, лексики и диалектологии языка этого народа[3]. Подвергались специальному исследованию и вопросы, связанные с историей гласных мансийского языка[4]. Однако как система гласных, так и история ее развития все еще оставались изученными недостаточно. До сих пор было неясно, сколько и какие именно гласные фонемы существуют в диалектах рассматриваемого языка. Показательна в этом отношении дискуссия между Б. Мункачи и А. Каннисто. Первый, как известно, считал, что по долготе гласные мансийского языка делятся на две группы — долгие и краткие гласные; А. Каннисто же находил четыре вида гласных, различающихся по тому же признаку. Своим новым исследованием В. Штейниц внес в этот вопрос полную ясность.

Как указывается в предисловии, автор рецензируемой книги поставил перед собой следующие две задачи: 1) установить внутренние закономерные соотношения в системе гласных современных диалектов мансийского языка и 2) выявить внутренние закономерности развития гласных мансийского языка. Соответственно и монография В. Штейница разделяется на две части — «Вокализм современных мансийских диалектов» и «История мансийского вокализма», которым предшествует небольшое введение (стр. 1—19), где приводятся довольно подробные сведения о мансийцах, о местонахождении и численности их, о диалектах мансийского языка и т. д. В введении приводится карта расселения народа манси.

Манси живут 4 территориальными группами, сообразно с этим их язык делится на 4 диалекта, а именно: с е в е р н ы й—пор. Сосве и верховьям р. Лозвы, в о с т о ч н ы й — по р. Конде, з а п а д н ы й — по рр. Пелымке, Вогульску и нижнему и среднему течению р. Лозвы. На ю ж н о м диалекте говорит небольшая группа манси, живущая по нижнему течению р. Тавды (дер. Янчукова, Чандури, Городок).

В первой части своей работы (стр. 20—151) В. Штейниц, опираясь на уже опубликованные материалы по фонетике мансийского языка, производит детальный анализ звуковой системы каждого диалекта этого языка, в результате чего ему удается установить состав гласных ф о н е м мансийских диалектов и определить их систему. Это нужно считать большим достижением автора рецензируемой работы, поскольку его предшественники (например, А. Каннисто), оперируя в своих исследованиях физи-

---

[1] См. рецензию на эту книгу: В. И. Л ы т к и н, Wolfgang Steinitz, Geschichte des ostjakischen Vokalismus [История хантыйского вокализма]..,—ИАН ОЛЯ, 1952, вып. 5.

[2] По переписи 1926 г. мансийцев (по старому названию — вогул) насчитывалось около 6300 чел.

[3] Можно указать на следующие исследования: A. A h l q v i s t, Wogulisches Wörterverzeichnis, MSFOu, II, 1891; е г о ж е, Wogulische Sprachtexte nebst Entwurf einer wogulischen Grammatik, Helsinki, 1894; B. M u n k á c s i, Vogul népköltési gyüjtemény, Budapest, 1892 (Сборник мансийского фольклора); D. S z a b ó, A vogul szóképzés, Budapest, 1904; O. H a z a y, A vogul nyelvjárások elsö szótagbeli magánhangzói qualitatív szempontból. Budapest, 1907; G. L a k ó, Északi-manysi nyelvtanulmányok; «Nyelvtudományi közlemények», kötet LVII, Budapest, (1955.évfol.)1956; В. Н. Ч е р н е ц о в, Мансийский (вогульский) язык, сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. I — Языки и письменность самоедских и финноугорских народов, М. — Л., 1937; В. Н. Ч е р н е ц о в и И. Я. Ч е р н е ц о в а, Краткий мансийско-русский словарь, с приложением грамматического очерка, М. — Л., 1936; Е. И. Р о м б а н д е е в а, Русско-мансийский словарь для мансийской школы, под ред., с грамматическими приложениями и послесловием А. Н. Баландина, Л., 1954. Большой вклад в дело изучения мансийского языка внес финский ученый проф. А. Каннисто (1874—1943), который в течение 5 лет жил среди мансийцев, изучая всесторонне их язык. Из-под пера этого ученого вышел целый ряд трудов по вогульскому языку (см., например: A. K a n n i s t o, Ein Wörterverzeichnis eines ausgestorbenen wogulischen Dialektes in den Papieren M. A. Castréns, JSFOu, XXX/8 (1913—1918), 1—33; «Wogulische Volksdichtung», Bd. I, gesammelt und übersetzt von A r t t u r i K a n n i s t o, bearbeitet und herausgegeben von Matti Liimola, Helsinki, 1951). Многое из собранного им материала еще осталось неопубликованным.

[4] См., например, A. K a n n i s t o, Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Wogulischen vom qualitativen Standpunkt, Helsinki, 1919.

ческими звучаниями, рассматривали в одной плоскости фонемы и их варианты и поэтому не могли дать правильного освещения системы гласных мансийских диалектов.

В. Штейниц уделяет целый раздел (стр. 100—151) рассмотрению чередования гласных, являющегося характерной чертой не только мансийского, но и хантыйского языка (парадигматическое чередование гласных отсутствует в других финно-угорских языках).

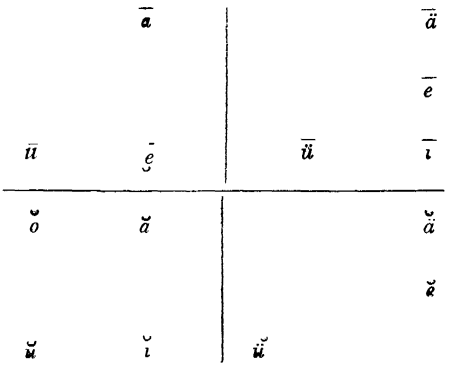
Вторая часть исследования В. Штейница (стр. 152—336) посвящена истории гласных мансийского языка. Здесь реконструируется система гласных общемансийского языка-основы, устанавливаются исторические изменения гласных каждого диалекта, детально рассматривается история отдельных гласных языка-основы и излагается история чередования гласных мансийского языка.

Остановимся на рассмотрении некоторых положений, выдвигаемых автором. Совершенно прав автор, утверждая, что выводы об общемансийском вокализме и его истории возможно сделать только на основе сравнения системы гласных современных мансийских диалектов. Прав он и в том, что это сравнение не должно быть механическим: гласный звук необходимо прежде всего рассматривать как составной элемент системы гласных отдельных диалектов с учетом развития и возможного переоформления этой системы. Кроме того, по мнению автора рецензируемой работы, следует принимать во внимание чередование гласных, широко распространенное в диалектах мансийского языка; без учета чередования гласных нельзя понять развития мансийского вокализма, сложного и многообразного замещения гласных общемансийского языка-основы другими в отдельных диалектах современного языка манси.

При реконструкции общемансийских гласных и установлении истории вокализма мансийского языка большую помощь оказывает сравнение с хантыйским вокализмом, история которого относительно хорошо изучена. Как известно, с хантыйским вокализмом дело обстоит проще, поскольку в одном архаическом диалекте этого языка (вахвасьюганском) прежняя система гласных сохранялась без изменения вплоть до 1900 г. Для изучения же истории мансийского вокализма нет этих благоприятных условий, так как ни один из современных мансийских диалектов не дает представления об общемансийской системе гласных.

Тем не менее, — далее совершенно правильно замечает Штейниц— важно учитывать, что не все четыре диалекта мансийского языка (северный, восточный, южный и западный) в отношении развития вокализма стоят на одинаковой ступени. Так, например, в северном диалекте произошли глубокие изменения общемансийского вокализма, благодаря которым, в частности, общемансийские переднерядные гласные (например, *$\overline{a}$) в этом диалекте совпали с заднерядными (северное $\overline{a}$). Северный диалект в отношении вокализма дальше всего отошел от общемансийского состояния; на это указывает, например, количество гласных первого слога этого диалекта: в северном диалекте существует только 8 таких гласных вместо 12 гласных южного диалекта и 18 гласных западного и восточного диалектов. Южный диалект, напротив, сохранил относительно архаическое состояние мансийского вокализма: здесь до настоящего времени существует гармония гласных, тогда как в западном диалекте сохранились значительные остатки, в восточном — лишь отдельные следы ее, в северном же диалекте гармония гласных бесследно исчезла. В то же время в южном диалекте, сохранившем эту архаическую черту вокализма, многие общемансийские гласные исчезли.

В. Штейниц делит общемансийские гласные по следующим разрядам: переднерядные и заднерядные; долгие и краткие; нижнего, среднего и верхнего подъема; лабиализованные и нелабиализованные, представив это в таблице:



А. Каннисто восстанавливал для общемансийского языка-основы иные гласные, чем В. Штейниц. В частности, он считал, что в общемансийском языке было 12 кратких гласных: ε, ε̆, *e*, *i*, *ü̯*, *ö̯*, *a*, *a̯*, *e̯*, *i̯*, *o*, *u̯* (вместо 8 по Штейницу). Справедливо критикуя А. Каннисто, В. Штейниц указывает (стр. 154—155), что его главные ошибки заключаются в том, что он, во-первых, не понял чрезвычайно важных для истории мансийского вокализма количественных отношений гласных и не мог здесь достичь ясности, выдвигая свои «четыре ступени долготы»; во-вторых, комбинаторные и даже индивидуальные (качественные) варианты гласных фонем он возводил к общемансийскому времени как исторически различные гласные и этим запутывал историю различных по качеству гласных.

Система гласных общемансийского языка-основы, восстановленная В. Штейницем на основе сравнения современных мансийских диалектов, отличается негармоничным соотношением между заднерядными и переднерядными гласными, а также между гласными среднего и нижнего подъема (см. таблицу). В процессе исторического развития отдельных диалектов эта диспропорция в системе гласных была устранена. В. Штейниц предполагает, что система гласных общеобскоугорского языка-основы была гармоничной и что эта гармоничность была утрачена в процессе развития общемансийского языка из общеобскоугорского языка-основы (стр. 156).

В. Штейниц устанавливает для общемансийского языка-основы следующие ряды чередующихся гласных: А. чередование долгих гласных с краткими (*a*∼*a*, *ä*∼*ä*, *ē*∼*e*, *ī*∼*i*, *ū*∼*u*, *ē*∼*a*, *i*∼*e*∼*ē*); Б. чередование долгих гласных между собой (*ä*∼*i*, *ā*∼*ē*, *ē̯*∼*ū*, *ū*∼*ā*).

Приведенные выше выводы В. Штейница представляют большой интерес для финно-угорского языкознания, которое до настоящего времени не располагало капитальными исследованиями по историческому вокализму финно-угорских языков. Мы надеемся, что автору рецензируемой работы, большому знатоку обско-угорских языков, в дальнейшем удастся воспроизвести систему гласных обско-угорского языка-основы с тем, чтобы вплотную подойти к проблеме финно-угорского вокализма в целом.

В. И. Лыткин

Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české. I. — Praha, ČSAV, 1956. 226 стр.

Рецензируемая книга представляет собой сборник статей, которые служат предварительным материалом для будущей большой научной грамматики русского языка для чехов, подготовляемой Чехословацко-советским институтом Чехословацкой Академии наук в Праге.

Сборник содержит пять статей по отдельным проблемам синтаксиса русского и чешского языков.

В первой статье «К вопросу о безличных предложениях» (стр. 7—79) Р. Мразек раскрывает свой взгляд на сущность безличности и решает вопрос о терминах (что очень важно, так как терминология в русских и чешских грамматиках часто не совпадает). Считая, что в безличных предложениях нельзя выделить состав подлежащего или сказуемого, автор отвергает термин «сказуемое» и предлагает термин «единый главный член» («jediný základní člen»). Далее Р. Мразек кратко останавливается на проблеме исторического развития безличных предложений, затем излагает принципы классификации.

В зависимости от грамматической природы главного члена автор различает три основные группы безличных предложений. В первой группе в роли главного члена выступает знаменательный глагол действительного залога в форме 3-го лица единственного числа. Вторую группу образуют безличные предложения с краткой формой страдательного причастия. Наконец, к третьей группе относятся предложения с именным или адвербиальным главным членом. Здесь же рассматриваются безличные предложения со словами, относящимися к категории состояния.

Задачей статьи О. Паролковой «Возвратно-страдательная форма глаголов» (стр. 80—118) является исследование ряда вопросов грамматической структуры и употребления страдательных конструкций и прежде всего страдательных оборотов, образованных при помощи возвратной формы глагола, в русском и чешском языках. Автор отмечает сходство в условиях и причинах употребления страдательных конструкций в обоих языках. О. Паролкова усматривает тесную связь употребления действительных и страдательных конструкций с делением предложения на «основу» и «ядро

высказывания», принимая тем самым теорию актуального, или контекстного, членения предложения.

Анализируя отношения между страдательными конструкциями, образованными при помощи возвратного глагола, и действительными конструкциями неопределенно-личных предложений, автор в соответствии с академической «Грамматикой русского языка» (т. I, стр. 416) подчеркивает, что в определенных случаях они могут быть синонимичны. Рассматривая формальные средства выражения страдательного залога, О. Паролкова отмечает их сходство и различие, дает наглядную таблицу соотносительных форм в русском и чешском языках. Ценные и интересные наблюдения имеются и в разделе о семантических и стилистических различиях между возвратной и описательной страдательной формами.

Заслуживает внимания содержательная статья В. Барнетовой «К вопросу о категории кратности глагольного действия» (стр. 119—161), в которой делается попытка определить характер и место категории кратности в грамматическом строе русского языка. В вопросе об отношении категории кратности к категории вида В. Барнетова придерживается принятой в современной чешской лингвистике точки зрения, согласно которой следует различать «вид в узком смысле слова» как противопоставление совершенности и несовершенности и «вид в широком смысле слова», охватывающий совершенность-несовершенность и кратность-некратность глагольного действия (см. стр. 122, 124).

Автор показывает, что в русском и чешском языках нет принципиальных различий как в отношении семантических типов кратности, так и в отношении лексических средств выражения кратности. Существенные различия имеются, однако, в плане грамматическом. Причину этого автор усматривает в специфическом пути развития грамматического строя русского языка. По мнению В. Барнетовой, кратность в русском языке, в отличие от чешского, вряд ли можно признать грамматической категорией.

С. Жажа в статье «К вопросу о распространенном определении» (стр. 162—179) исследует в сравнительном плане разные типы распространенных определений. Основное внимание уделяется анализу связи между определением и определяемым именем существительным. Различные типы распространенных определений подразделяются по месту, которое занимает определение, а также по месту, занимаемому зависимыми членами определения. Раскрывая различие в значении и стилистических оттенках соотносительных типов распространенных определений в русском и чешском языках, С. Жажа указывает на необходимость учета этих различий при переводе с одного языка на другой.

Завершается сборник статьей П. Адамца «К различию между порядком слов в чешском и русском языках» (стр. 180—198). Автор указывает, что следует говорить не о каких-то строгих и обязательных правилах порядка слов в русском и чешском языках, а лишь об основных тенденциях или принципах, определяющих порядок слов. Таковы: 1) принцип актуального, или контекстного, членения предложения, 2) принцип смысловой и синтаксической связанности и, наконец, 3) принцип ритмический (фонетический). Установив, что основные принципы, взаимодействием которых определяется порядок слов в русском и чешском языках, сходны, П. Адамец показывает, что частные, правда, иногда значительные, расхождения между этими языками обусловлены тем, что отмеченные принципы проявляются в них в неодинаковой степени.

Во всех статьях сборника привлекается богатый русский и чешский фактический материал. Путем сравнения двух родственных языков авторы стремятся показать их сходство и в то же время раскрыть структурное своеобразие их грамматического строя.

Книга «Статьи по русско-чешской сравнительной грамматике» представляет значительный интерес как для русистов, так и для богемистов и является ценным вкладом в изучение синтаксиса русского и чешского языков.

Л. Н. Смирнов

Сборник в чест на академик Александър Теодоров-Балан по случай деветдесет и петата му годишнина. — София, изд. на Българск. Акад. на науките, 1955 [обл.: 1956]. 439 стр.

27 октября 1954 г. Болгарская Академия наук чествовала академика Александра Теодорова-Балана в связи с 95-летием со дня рождения и 75-летием его научной и педагогической деятельности. Акад. А. Теодоров-Балан — старейший и крупнейший ученый и культурный деятель Болгарии. Весьма значителен его вклад в изучение болгарского литературного языка, а также болгарской литературы и библиографии.

А. Теодоров-Балан воспитал несколько поколений филологов, среди которых находятся и крупнейшие ученые современной Болгарии.

Изданный Болгарской Академией наук сборник в честь юбиляра состоит из двух отделов. В первый отдел вошли материалы юбилейного собрания представителей болгарской науки и культуры: вступительное слово президента Болг. АН акад. Т о д о р а П а в л о в а, доклады проф. С т. С т о й к о в а «Академик Александр Теодоров-Балан и болгарский язык» и члена-корр. Болг. АН П е т р а Д и н е к о в а «Академик Александр Теодоров-Балан и болгарская литература», многочисленные приветствия и ответное слово юбиляра.

Второй отдел включает исследования ученых различных стран — всего 47 статей, написанных на болгарском, русском, польском, чешском, словацком, румынском и французском языках. Большинство статей посвящено проблемам языкознания. К вопросам общего языкознания относятся работы В л. Г е о р г и е в а «Заимствование морфологических элементов», А. Г р а у р а «Взаимные влияния между двумя языками», С т. М л а д е н о в а «Смешанный алтайско-индоевропейский характер японского языка и неоспоримое наличие алтайских и индоевропейских элементов в японском языке», работы М. Р у д н и ц к о г о, В л. С к а л и ч к и и др. Проблемам родства славянских языков, старославянского языка и истории болгарского языка посвящен целый ряд статей, среди которых исследования Р. Б е р н а р а, В. Б е ш е в л и е в а, В. Б л а н а р а, Л. А. Б у л а х о в с к о г о («Ударение старокрымского болгарского говора»), А. В а й а н а, М. В ы г л е н о в а, Т. Л е р-С п л а в и н с к о г о, Я. С т а н и с л а в а («О переоценке великоморавских элементов в кирилло-мефодиевской литературе»), Я. Ф р и н т ы («Сходства болгарского языка с чешским»). Много работ по лексикологии, в том числе статьи Л. Б о л ь е, Н. Д ы л е в с к о г о, Д. И в а н о в о й-М и р ч е в о й, Я. О т р е м б с к о г о, К. М и р ч е в а («О некоторых лексических особенностях болгарского Физиолога XVI в.»). Один из вопросов истории болгарского литературного языка рассматривается в статье С т. С т о й к о в а «Глагольные окончания *-ме* в болгарском литературном языке». Исследованиям грамматики современного болгарского языка посвящены работы Л. А н д р е й ч и н а «Глагольные времена в болгарском страдательном спряжении», С. И в а н ч е в а «Одно неописанное употребление членной формы (К вопросу о форме обращения в болгарском языке)», Ю. С. М а с л о в а «К вопросу о системе форм пересказывательного наклонения», Е. В. Ч е ш к о «К изучению беспредложных сочетаний в современном болгарском языке». Вопросы культуры речи рассматриваются в статье И. Л е к о в а. Несколько работ посвящено чешскому, польскому, словацкому, румынскому языкам. В статьях О. В а ш к а, Е. Г е о р г и е в а, К. Г о р а л к а рассматривается проблема возникновения славянской письменности, деятельность и роль Кирилла и Мефодия. В сборник входит также большое количество статей по литературоведению, ряд работ по этнографии и библиографии.

Болгарская Академия наук совместно с учеными-славистами других стран достойным образом отметила знаменательный юбилей старейшего славянского ученого.

М. Г. Рожновская

B. Rosenkranz. **Historische Laut- und Formenlehre des Altbulgarischen (Altkirchenslavischen).** — Heidelberg —'s-Gravenhage, 1955. 144 стр.

H. G. Lunt. **Old church Slavonic grammar.** — 's-Gravenhage, 1955. XIV, 143 стр.

Автор «Исторической фонетики и морфологии древнеболгарского (староцерковнославянского) языка» Б. Розенкранц стремился «и з л о ж и т ь з н а н и я к р а т к о» и, не преследуя более широких целей, дал в руки студентов добросовестно выполненное конспективное руководство по старославянскому языку. Он поставил перед собой задачу — описать систему старославянских звуков и грамматических форм, постоянно обращая внимание на процесс исторического развития от общеиндоевропейского языка к праславянскому и далее — к старославянскому (который он отождествляет с древнеболгарским, как это видно уже из заглавия).

Книга состоит из трех частей. Во «Введении» (стр. 9—35) подробно говорится о связях общеславянского языка с другими и.-е. языками: германскими, балтийскими и т. д.; в этой же главе читатель найдет характеристику самого старославянского языка, сведения о памятниках старославянской письменности, библиографию и др.

Во второй части — «Фонетике» (стр. 36—66)— описывается звуковой состав и ударение старославянского языка. Краткие и точные формулировки важнейших явлений фонологической системы и замечания о ее развитии, как и удачные примеры — несомненные достоинства этого раздела. В некоторых случаях, однако, нельзя не упрекнуть автора за чрезмерный лаконизм: так, только упомянуты, но не изложены важней-

шие тенденции, которые привели к общеславянскому состоянию: палатализация и стремление к возрастанию звучности слога и др.

Большую часть книги занимает «Морфология» (стр. 67—144). В описании форм склонения, спряжения и других автор в основном следует традиции. Классификация глаголов дана по основам настоящего времени и соответствует в основном классификации, предложенной Х. С. Стангом (см. Chr. S. Stang, Das slavische und baltische Verbum, Oslo, 1942, стр. 21—60). В самом конце мы находим таблицу парадигм спряжения ряда глаголов, расположенных по принципу наличия видовой корреляции: рядом помещены парадигмы имперфективного, перфективного (суффиксального, префиксального) и имперфективированного глаголов.

В «Исторической фонетике и морфологии...» отсутствует специальная глава о синтаксисе старославянского языка.

Почти одновременно с книгой Б. Розенкранца вышла «Староцерковнославянская грамматика» Г. Ланта. Она по методу отличается от традиционных руководств по старославянскому языку; автор претендует на описание структуры старославянского языка и сами факты языка рассматривает с точки зрения структуральной лингвистики.

Нельзя не отметить, прежде всего, что книга написана под сильным влиянием труда Н. Трубецкого «Старославянская грамматика»[1]. Особенно это очевидно в главах, касающихся системы старославянской письменности, фонетики и склонения. Но работа Ланта доступнее для начинающих благодаря большому количеству таблиц, примеров, парадигм и т. д. Основой книги, как указывает автор, явились его материалы занятий со студентами.

«Введение» содержит важнейшие сведения, касающиеся старославянского языка, его истории, письменных текстов и т. д. В первой главе подробно говорится о системе письменности старославянского языка. Во второй главе, озаглавленной «Звуковая система» (стр. 24—41), дается фонологический анализ системы гласных, которые затем сводятся к нескольким обобщенным (generalised) типам. Далее приведена система согласных. Чередования излагаются в разделе «Фонетика» («Morphophonemics»).

Значительное место занимает «Морфология» (стр. 42—124). Г. Лант принимает в основном членение в склонении и спряжении, предложенное Трубецким. Он различает следующие типы склонения: именное, адвербиальное, местоименное; затем аномальное и смешанное.

В последней главе — «Синтаксические заметки» (стр. 125—141)— Г. Лант уже отказался от применения новейших структуральных теорий и дал фрагментарное, но достаточно четкое представление об употреблении в старославянском языке падежей, кратких и полных прилагательных, глагольных форм и т. д.

Грамматика Г. Ланта, так же как и руководство Б. Розенкранца, представляет несомненный интерес для специалистов по старославянскому языку.

Г. П. Клепикова

L. Sadnik und R. Aitzetmüller. **Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten.**— Heidelberg, Winter, 1955. XX, 342 стр. (Indogerm. Bibliothek, II. Reihe).

«Краткий словарь к древнецерковнославянским текстам» задуман его авторами — Л. Садник и Р. Аитцетмюллером — как учебное пособие для чтения старославянских памятников. В Словарь включена лексика 20 канонических старославянских памятников (Зографского, Мариинского, Ассеманиева евангелий, Охридских глаголических листков, Синайской псалтыри, Синайского требника, Саввиной книги и др.). В работе над книгой учтены все имеющиеся индексы (В. Ягича, С. Северьянова, К. Мейера, Ст. Слоньского и др.) к отдельным памятникам.

Словарь состоит из трех частей. Первая часть (основная, стр. 1—170) представляет собой хорошо разработанный и надежный индекс старославянских слов. Слова даются в латинской транскрипции и расположены в азбучном порядке; весь пояснительный материал сосредоточен при словах, которые авторы принимают за этимологически-орфографическую норму старославянского языка (например, при слове *vьdova*, а не *vědova*, при *zeml'a*, а не *zemja* и т. п.). Варианты (*vědova*, *zemja* и т. п.) приводятся на своих алфавитных местах со ссылкой на основное слово. При основном слове указывается по-немецки его основное значение (редко несколько значений); греческие соответствия приводятся только в случаях очевидной ошибки в старославянском тексте. При основном слове указывается, к какой части речи оно относится; иногда приводятся характерные словосочетания из памятников, указывается, в каких

[1] N. S. Trubetzkoy, Altkirchenslavische grammatik. Schrift-, Laut und Formensystem, Wien, 1954.

памятниках данное слово отмечено; обычно дается ссылка на соответствующее гнездо третьей, справочно-этимологической, части Словаря. Например:

Utro *n. Morgen*; *za utra am Morgen, zeitig, iz utra prichoditi* = 'ορθρίξειν *am frühen Morgen hingehen, na utrosъ zum morgigen Tag, na utrosě am Morgen. adv. utrě* [(Z. M. A. Ps. Es.Sk. S. Psl. 1041)][1]

Вторая часть (стр. 173—207) представляет собой оригинальный и своеобразный лексикографический труд, названный авторами «A-tergo-Index». Слова здесь также расположены по алфавиту, но не по обычному: алфавит соблюдается относительно последней, а не первой буквы слова, как это принято в словарях. Вот начало этой части: *a, baba, oslaba, žaba, raba, trěba, potrěba, vračьba, lěčьba, alčьba, žladьba . . .*[2]

Благодаря подобному расположению слов легко делать различного рода морфологические и словообразовательные наблюдения. Так, оказываются объединенными существительные по типам склонений (на *-a*, *-ь* и т. п.); в одном месте даются все глаголы; при этом они оказываются сгруппированными по конечной гласной основы (наглядно выделены глаголы на *-iti, -ati, -ěsti, -ęsti* и т. п.); можно наблюдать в совокупности все существительные на *-enije*; можно сразу сказать, какие префиксальные образования знал тот или иной глагол и т. п. и т. д. Слова на *-tel'ь* представлены, например, в следующем порядке: *datel'ь, prědatel'ь, propověd atel'ь, zьdatel'ь, sъzьdatel'ь, blagodatel'ь, podatel'ь, vъzdatel'ь* и т. п.

Третья часть (стр. 211—341) представляет собой справочный отдел, в котором содержится 1180 словарных статей, в каждой из которых объединены слова общего корня, разобщенные в первой части Словаря. Каждое такое гнездо сопровождается краткими этимологическими и словообразовательными комментариями авторов со ссылками на основные труды в этой области, главным образом на этимологические словари Бернекера, Покорного, Траутмана, Фасмера. Например:

№ 1132: *podъzemije, zemelěganije, zemьnъ, zemьskъ, zeml'a, zeml'ьskъ.*

Urverwandt: lit. *žẽmė, lett. zeme* «Erde», *lit, žemìnis* ∞ *zemьnъ, žemiškas* = *zemьskъ, weiters griech.* χαμαί «auf der Erde», *lat. humus f.* «Erde», *ai. kṣam-, griech.* χθών. *Trautmann* Bsl. 369, Vasmer REW 452, Pokorny 414 *f. Siehe zmija* (1143).

Таково краткое содержание аннотируемого труда. Данный словарь выходит за рамки квалифицированно составленного учебного пособия, его научное значение несомненно, и не только потому, что он представляет собой первый после лексиконов А. Х. Востокова и Фр. Миклошича надежный справочник по старославянской лексике. Перед нами оригинальный и очень полезный для исследователя старославянского языка новый тип лексикографического труда (особенно в части A-tergo). Вместе с тем следует отметить очевидное пренебрежение собственно лексикографической задачей — выделением и толкованием значений слова; основное внимание авторов сосредоточено на вопросах этимологии, словообразования и морфологии.

Р. М. Цейтлин

Hjalmar Frisk. Griechisches etymologisches Wörterbuch. — Lief. 1—3. Heidelberg, Carl Winter, 1954—1955. XI, 288 стр.

Словарь шведского индоевропеиста Ялмара Фриска является четвертым этимологическим словарем греческого языка. До него были изданы словари В. Прельвица, Э. Буазака и И. Гофмана; из них наиболее значительным заслуженно считается словарь Э. Буазака. Однако он вышел в свет уже довольно давно; достижения сравнительного языкознания последующего периода не могли не повлиять коренным образом на этимологическое толкование многих греческих слов. Понятна поэтому потребность в новом этимологическом словаре греческого языка, и появление работы Я. Фриска является как нельзя более своевременным.

Автором руководило стремление, как он говорит в предисловии, создать этимологический словарь по преимуществу греческого языка, где бы получила исчерпывающее отражение греческая лексика с ее многообразием производных форм; в то же время автор намерен привлекать параллели из прочих индоевропейских языков. Действительно, уже с первых страниц нельзя не отметить богатство форм сравнительно, например, со словарем Э. Буазака. Несравненно шире привлекается лексика глосс,

[1] В квадратных скобках условными обозначениями указываются памятники, в которых отмечено слово *utro*, и № (1041) справочной статьи в третьей части Словаря.

[2] Для экономии места слова здесь приводятся нами в строку, а не столбиком, как в Словаре.

приводятся многие диалектные слова; при этом сообщаются известные этимологии. Интерес представляют такие слова, как ἄβιν, ἄγγουρα, 'αέλιοι, ἄλιζα, αννίς, βρία, βύριον, а также некоторые другие, впервые собранные в греческом этимологическом словаре. Наряду с этим впервые последовательно приводятся собственные имена, что весьма повышает ценность словаря, например такие, как 'Αδωνις, Α'ίαξ, 'Αμαζών, 'Αχαίοί, 'Αχέρων и др.

Вместе с тем словарь Я. Фриска и в своей сравнительной части выгодно отличается от словаря Э. Буазака — гораздо больше, чем можно было ожидать после высказанных автором в предисловии установок. Здесь автор привлекает материал тохарского и хеттского языков, использует данные ларингальной теории, важнейшие новые исследования. В ряде случаев Я. Фриск, действительно, не приводит многих возможных сопоставлений, но об этом, как правило, не приходится жалеть Следует специально указать на критичность, с которой Я. Фриск относится к распространенным точкам зрения. Так, под 'άμείβω «менять» не приводится ст.-слав. *мигливъ*, имеющееся у Э. Буазака, с чем нельзя не согласиться, так как последнее восходит не к **meigu-*, а к **meigh-* вместе с греч. ὀμίχλη. Статья βόμβυξ «шелковичный червь» гораздо содержательнее, чем у Э. Буазака; в ней имеется указание на иранский источник. То же можно сказать и о статье ἄναξ (Fάναξ) «властелин, государь», где привлечены критомикенское *ja-na-ka-te-ro*, тохарское *ñäkte*, *ñkät* (с перечнем литературы), и о многих других. Во многом дополняя и исправляя труд Э. Буазака, Я. Фриск, однако, не ставит перед собой задачу — полностью заменить его. Напротив, он очень часто отсылает читателя к словарю Буазака, если в последнем более подробно указана ранняя литература вопроса.

Насколько удалось заметить, пробелы в использованной литературе незначительны. Так, при анализе названий птиц αἰσάλων, αἰσάρων (Гесихий) можно было указать специальную работу: K. Oštir, Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen, Ljubljana, 1930. Говоря о семитических и египетских заимствованиях, автор обычно называет старую работу: H. Lewy, Die semitischen Fremdwörter im Griechischen, Berlin, 1895, в то время как недавно вышедшая книга П. В. Ернштедта «Египетские заимствования в греческом языке» (М.—Л., 1953) содержит целый ряд новых данных. Так, ἄνθραξ «уголь», которое Фриск признает неясным, Ернштедт объясняет заимствованием из египетского, точно так же — 'απούρας «лишив, отняв».

Несколько замечаний по существу этимологий. Вряд ли можно прямо сравнивать формы ἄγνος и ст.-слав. *кагнядь* «черный тополь» (см. под ἄγνος), поскольку оба слова — результат самостоятельных семантических переходов. Так, *кагнядь* названа по *кагня* в связи со сходством пуха, выделяемого тополями во время весеннего осеменения, с шерстью ягнят. Аналогично можно объяснить происхождение αἴγειρος (тоже «черный тополь»!) — только от αἴξ, αἰγός «коза», вместо того чтобы сближать α'ίγειρος с αἰγίλωψ «вид дуба» и далее — немецким *Eiche* «дуб» и др., как делает Я. Фриск вслед за предшественниками. Αλίβας-αντος «покойник, труп» (также о Стиксе), оставляемое без объяснения, можно понять аналогично причастию аориста действ. залога καταβᾶς как сложение местоименного корня 'αλι- и соответствующей формы от βαίνω, т. е. ἀλίβας = «перешедший на ту сторону» (ср. в семантическом отношении нем. *Hingeschiedener*, франц. *trèpassé* «покойный»). Под ἄναυρος «поток, ручей» упоминается θησαυρός как возможное произвольное от общего корня со значением «вода», хотя θησαυρός — очевидное сложение θησ-(:τίθημι) и αυρος (:αὔριον «завтра»), т. е. «нечто, откладываемое впрок»; ср. значение θησαυρός «сокровище». Под βασιλεύς приводится эгейское *pa-si-re-u*, которое даже М. Вэнтрис и Дж. Чадвик отмечают как сомнительное чтение; известно чтение В. Георгиева *qa-si-re-u*, что указывает на фонетическое развитие βασιλεύς<*γwασιλευς*.

Из пропусков в рассматриваемом словаре можно указать фракийск. ἄργιλος «мышь» (см. F. Specht, Zur Benennung der Maus, «Kuhn's Zeitschrift», Bd. 69, 1951, стр. 123). Наконец, под 'αλλᾶς,-ᾶντος «колбаса» вместо ошибочного **'αλλᾱ-Fεντ-* должно быть **'αλλᾱ-Fεντ-*.

О. Н. Трубачев

Emilio Alarcos Llorach. **Fonología española. 2a ed.** — Madrid, Gredos, 1954. 232 стр. («Biblioteca románica hispánica», III — Manuales, 1).

Книга Аларкоса Льорача «Fonología española» посвящена анализу фонологической системы испанского языка. Она состоит из двух частей. Первая часть, озаглавленная «Общая фонология», представляет собой введение в общую фонологию, написанное в соответствии с теоретическими принципами пражской школы. Изложение по-

ложений общей фонологии сопровождается примерами из многих индоевропейских языков и диалектов, а также из языков других групп. Наряду с синхронической фонологией известное место уделено и диахронической фонологии.

Вторая часть книги, по объему примерно равная первой,— оригинальное исследование, посвященное фонологии испанского языка. Автор анализирует систему фонем современного испанского литературного языка, устанавливая типы фонологических противопоставлений. Функционирование фонем в слове освещается более кратко. Автор рассматривает группы фонем, возможность употребления фонем данной группы в различных частях слова, частоту употребления фонем и т. д. Фонология фразы в книге не рассматривается.

Завершается это исследование очерком диахронической фонологии испанского языка. Характеризуется развитие системы фонем испанского языка от иберийской латыни к староиспанскому и среднеиспанскому и далее к современному языку. Книга рассчитана на студентов филологических факультетов и представляет интерес для специалистов в области испанского языка.

Р. М. Фрумкина

Pierre Guiraud. **Index du vocabulaire du théâtre classique. Corneille, II — Index des mots du Cid.** — Paris, Librairie C. Klincksieck, 1956. 39 стр.

Статистические методы применяются в языкознании давно, однако сейчас интерес к ним особенно возрос: статистический анализ становится исходной точкой при изучении языка различными математическими методами. Поэтому большое внимание привлекают разнообразные количественно-статистические исследования и, в частности, работы профессора Гронингенского университета Пьера Гиро. Начиная с 1953 г. Гиро публикует так называемые «Указатели слов» к произведениям французской литературы. Эти «Указатели» выходят в двух сериях: «Розовая»— указатели слов к произведениям классиков французского театра — и «Голубая»— указатели слов к сборникам стихов французских поэтов-символистов.

Опишем для примера «Указатель слов к „Сиду" Корнеля»; остальные «Указатели» построены так же. В «Указателе» содержатся следующие данные: 1) полный список слов, встречающихся в «Сиде», с указанием мест, где они встречаются (слова приводятся во всех тех формах, в каких они стоят в тексте); 2) список наиболее часто встречающихся слов (около двухсот) с указанием, сколько раз встречается каждое; 3) таблицы частотности употребления различных частей речи (в процентах); 4) словарь рифм.

Этот материал может с успехом использоваться в стилистике. Такая цифра, как 1488 разных слов (всего в «Сиде» 15 310 слов),— это точное количественное выражение ограниченности словаря Корнеля (в современной литературе обычно 2500 разных слов на текст той же длины). И в «Сиде», и в «Цинне»— приблизительно одинаковое процентное соотношение между частями речи, тогда как в «Федре» Расина оно заметно иное и т. д.

Но основной интерес «Указателей» П. Гиро не в этом. Довольно несложное, но трудоемкое статистическое исследование, проведенное и опубликованное видным ученым,— яркое проявление нового направления в западном языкознании. Речь идет о стремлении изучать массовость, количественную сторону явлений, находить числовое выражение для качественных различий, описывать структуру языка, опираясь на статистический анализ речи.

Главный недостаток «Указателей» состоит в том, что слова приводятся в них б е з контекста. Это совершенно затушевывает вопрос о полисемии, об оттенках значения, об окказиональных употреблениях, что чрезвычайно важно при изучении поэтической лексики (в особенности у символистов).

И. А. Мельчук

№ 3 1957

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЧЕШСКИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО СЛАВИСТИКЕ ЗА 1945—1955 гг.[1]

Общее положение, организационные вопросы, журналы

Развитие чешского языкознания в послевоенное десятилетие можно в общем разделить на два равных периода: первый — до 1950 г., когда чешские языковеды, не оправившись еще от ущерба, нанесенного фашистской оккупацией, продолжали свои исследования в основном в том же плане, что и до войны; второй — после 1950 г., когда под влиянием лингвистической дискуссии в Советском Союзе в языковедении Чехословакии все большее развитие получают идеи марксизма.

Марксистская ориентация в первые годы после освобождения начинает проявляться прежде всего среди членов Пражского лингвистического кружка: производятся попытки переосмыслить чешский структурализм и перестроить его на материалистической базе. Учитывая, что и раньше, благодаря деятельности проф. В. Матезиуса (ум. в 1945 г.) и акад. Б. Гавранка, в чешском структурализме преобладало направление, чуждое разным спекулятивным тенденциям, можно было ожидать в результате этой перестройки новых значительных исследований. Новая ориентация членов Пражского лингвистического кружка сказалась также в их стремлении сблизиться в своей работе с советскими языковедами. Общие точки соприкосновения были найдены главным образом в советских трудах, развивающих идеи акад. Л. В. Щербы. Сторонники структуральной лингвистики чешского направления не ставили себя в оппозицию к традиционному сравнительно-историческому языкознанию, которое в Чехословакии после смерти проф. О. Гуйера (ум. в 1941 г.) представляет профессор Брненского университета В. Махек. Сближению с советскими языковедами после освобождения Чехословакии содействовал главным образом акад. Б. Гавранек — наиболее видный представитель чешской славистики в послевоенный период. На позициях, близких к Пражской структуралистической школе, в вопросах языка художественной прозы стоял в первые годы после освобождения акад. Ф. Травничек, который в своих основных трудах по истории языка развивает идеи Я. Гебауэра и И. Зубатого.

То обстоятельство, что подъем чешского языкознания после 1950 г. не проходил настолько стремительно, как этого следовало ожидать, объясняется различными причинами. Основную причину нужно видеть в том, что чешским языковедам не сразу удалось полностью устранить последствия фашистского разгрома чешской науки и чешской школы в годы 1939—1945. Чешским ученым пришлось затратить немало труда и времени, иногда даже в ущерб своей научной работе, на реорганизацию высшей школы и научных институтов. Из этих реорганизационных мероприятий самым значительным явилось основание Чехословацкой Академии наук, состоящей, в отличие от прежней Чешской академии наук и искусств, из ряда самостоятельных исследовательских институтов, которым наше социалистическое государство создало значительно более благоприятные условия, чем это было при буржуазном строе. Учреждение но-

[1] Все работы по языкознанию за первое пятилетие рассматриваемого периода указаны в книге З. Тыла «Библиография чешской лингвистики за 1945—1950 годы» (Z. T y l, Bibliografie české linguistiky za léta 1945—1950, Praha, 1955). Он составил также библиографический указатель чешских языковедческих работ за период 1953—1954 гг. («Slovo a slovesnost», 16, 1955, стр. 113—128, 204—208, 227—249). Краткий обзор работ по славистике дает К. Крейчи в статье «Десять лет чешской славистики после оккупации» («Slavia», 24, 1955, стр. 373—379). Подобный этому обзор за 1955 г. дан в журнале «Slovo a slovesnost» (1956). Обзор чешских языковедческих работ по русскому языку за период 1945—1955 гг. помещен в журнале «Sovětská jazykověda» (5, 1955, стр. 176—199). Обзор чешских работ по фонетике за годы 1945—1955 составлен М. Ромпортлом для журнала «Časopis pro moderní filologii» (приложение «Philologica»,— VII (1955), стр. 65—70). О других библиографических справочниках по славянскому языкознанию за 1945—1955 гг. см. в обзоре З. Тыла, помещенном в журнале «Slovo a slovesnost» (17, 1956, стр. 53—64).

вой Академии наук, а также реорганизация высшей школы обусловили в настоящее время значительную активизацию научной жизни; научные исследования начинают расширяться в связи с появлением молодых научных кадров, для воспитания которых была по советскому образцу введена аспирантура.

На развитии чешского языкознания отрицательно сказался и тот факт, что своевременно не было найдено правильного отношения к лингвистическим трудам 30—40-х годов. В настоящее время ясно, что критика структурализма не всегда была правильной. В исследованиях структуралистов отмечались даже такие недостатки, которые им собственно и не были свойственны. Критики обвиняли, например, структуралистов в отрицании исторического изучения языков, но последователи Пражского кружка с самого начала указывали на необходимость преодолеть точку зрения Ф. де Соссюра, который, впрочем, сам не был достаточно последователен в этом вопросе, а своими трудами по индоевропеистике немало содействовал развитию сравнительно-исторического языкознания. Отрицательным результатом слишком крайней критики явился также застой в фонологии. Никаких положительных результатов не дала также критика структуральной типологии, в развитии которой основная заслуга принадлежит проф. В. Скаличке.

Что касается общего положения в высшей школе, ее материального обеспечения и профессорско-преподавательского состава, то оно резко улучшилось по сравнению с довоенным периодом. Все же и здесь ощущается недостаток в кадрах, вызванный в значительной мере фашистской оккупацией, во время которой было убито несколько чешских языковедов (проф. Й. Пата, Ян Фрчек). Особенно ощущается недостаток преподавателей-русистов. В деле их подготовки в Карловом университете после 1945 г. большую помощь оказал проф. Л. Копецкий, а также акад. Б. Гавранек, главной специальностью которого является сравнительное славянское языкознание. В подготовке русистов в Брно большую роль сыграл акад. Ф. Травничек. В Оломоуце в качестве русиста работает в последнее время проф. А. В. Исаченко. Из остальных восточнославянских языков изучается только украинский язык в Карловом университете (под руков. проф. И. Панькевича).

Значительно лучше поставлена разработка сравнительного славянского языкознания и старославянского языка. В Карловом университете наряду с акад. Б. Гавранком работает проф. К. Горалек, который с 1951 г. является руководителем кафедры славистики. В последнее время здесь занимается исследованием южнославянских языков профессор Брненского университета Й. Курц. В Брненском университете до 1952 г. занимался славистикой проф. А. Келлнер, интересовавшийся главным образом чешской диалектологией. В настоящее время по сравнительному славянскому языкознанию там работает доц. Я. Бауэр, подготовивший значительный труд о древнечешском гиппотаксисе. В Оломоуце славянское сравнительное языкознание вначале преподавал проф. К. Горалек, затем проф. А. Достал; старославянский язык здесь преподавал проф. И. Вашица.

Сравнительно хорошо обеспечено изучение чешского языка в высших учебных заведениях. На филологическом факультете Карлова университета на кафедре чешского языка под руководством акад. Б. Гавранка и его заместителя профессора-фонетиста Б. Галы работают в послевоенный период акад. Ф. Ришанек (основная специальность — древнечешский язык), профессора В. Важный (основная специальность — диалектология), В. Шмилауэр и Ф. Йилек-Оберпфальцер (специалисты по современной грамматике чешского языка). В Брно работают Ф. Травничек, А. Лампрехт, Ф. Сверак; в Оломоуце — Я. Белич, Ф. Копечный, Ю. Даньгелка, И. Польдауф. Что касается остальных славянских языков, то их изучение в высших учебных заведениях Чехословакии ведется слабо. Славянским языкознанием занимаются также в научных учреждениях Чехословацкой Академии наук. Для изучения чешского языка имеется самостоятельный Институт чешского языка (директор Б. Гавранек) с отделениями современного чешского языка, древнечешского языка, диалектологическим и фонетическим. Наряду с другими работами здесь подготавливаются большие коллективные труды (настольный словарь чешского языка, нормативный словарь чешского языка, словарь древнечешского языка и т. д.).

Следующим центром славистики в Чехословацкой Академии является Чехословацко-советский институт (с филиалом в Братиславе). В этом институте, кроме занятий восточнославянскими языками, начато изучение истории СССР. Основная работа, которая ведется здесь,— словарная. Руководителями ее являются проф. Б. Йилек и проф. Л. Копецкий. Наконец, имеется еще Славянский институт (директор — проф. Ю. Доланский). Во главе языковедческого отделения этого института стоит проф. К. Горалек. Здесь главное внимание также уделяется составлению словаря, но уже старославянского языка. Работой руководят профессора Й. Курц и А. Достал. В отделении старославянского языка Славянского института подготовлен сборник работ по синтаксису старославянского языка, а также планируется составление большой грамматики старославянского языка. Под руководством проф. В. Махка готовится материал для будущего этимологического словаря славянских языков.

Таким образом, для работы научных учреждений Чехословацкой Академии наук

характерным является то, что в них осуществляются большие коллективные труды. Вместе с тем здесь же подготавливаются к печати основные славистические периодические издания: «Slavia» (Славянский ин-т; редакция: Б. Гавранек, Ф. Вольман, Ю. Доланский и К. Крейчи) и «Byzantinoslavica» (Славянский ин-т; редакция: Б. Гавранек, М. Паулова и А. Достал). Указанные два журнала несколько различаются между собой по тематике: если «Slavia» является в основном журналом языковедческим (причем в последнее время восстанавливается практика участия в нем славистов других стран, в частности русских ученых), то журнал «Byzantinoslavica» помещает главным образом статьи по вопросам истории.

Чехословацко-советский институт в 1951—1955 гг. издавал журнал «Sovětská jazykověda» (гл. редактор К. Горалек), где помещались переводы русских языковедческих статей, а также статьи чешских ученых по вопросам грамматики чешского языка сравнительно с русским, по вопросам лексикографии и перевода. С 1956 г. издается журнал, посвященный славянским языкам, литературе и истории СССР «Časopis pro slovanské jazyky, literaturu a dějiny SSSR» (гл. редактор д-р Я. Вавра, в языковедч. редакции профессора К. Горалек, Б. Йилек, А. В. Исаченко и Л. Копецкий), с 1957 г. выходит под заглавием «Československá rusistika».

Институт чешского языка издает журналы «Naše řeč» (сокр. NŘ) и «Slovo a slovesnost» (SaS) (гл. редакторы А. Йедличка и Б. Гавранек). Оба журнала в основном языковедческие, причем журнал NŘ в последнее время значительное внимание уделяет вопросам диалектологии.

Издаваемые научными учреждениями Чехословакии журналы «Listy filologické»(LF) и «Časopis pro moderní filologii» (ČMF) в своих публикациях вопросов славистики почти не касаются. Вместе с тем имеются университетские периодические издания, в которых статьи по вопросам славистики занимают значительное место. В качестве примера можно указать на журнал «Sborník praci Filosofické fakulty Brněnské university, Řada jazykovědná» (в 1953—1956 гг. вышло 4 тома). В качестве учебно-педагогических выходят журналы «Český jazyk» (ČJ) и «Ruský jazyk» (RJ).

Довольно большое количество работ по славистике появилось в послевоенные годы в непериодических изданиях, главным образом в юбилейных сборниках. Так, например, в 1947 г. в Брно вышел славистический сборник, в котором были опубликованы статьи Ф. Травничка о славянских основах чешского литературного языка и А. Келлнера — о взаимодействии чешских и словацких диалектов с другими славянскими языками. В 1948 г., также в Брно, вышел юбилейный сборник, посвященный шестидесятилетию Ф. Травничка и Ф. Вольмана. Вышедший из печати в Праге в 1954 г. первый том сборника «Studie a práce linguistické» (SPL) посвящен 60-летию акад. Б. Гавранка.

Наконец, еще одной из форм работы в области славистики являются языковедческие конференции. В 1951—1953 гг. были организованы 2 конференции, посвященные сравнительному изучению славянских языков (одна — в Брно, вторая — в Оломоуце)[1]. В декабре 1954 г. состоялась конференция по вопросам межславянских отношений (см. «Slavia», 24, 1955, стр. 323—350).

Конференция, посвященная 200-летнему юбилею со дня рождения И. Добровского, состоялась в 1953 г. (см. «Slavia», 23, 1954, seš. 2—3). В 1953—1954 гг. состоялось еще несколько конференций, посвященных проблемам фонологии (см. SaS, 15, 1954, стр. 29—48), этимологических словарей и словаря старославянского языка (см. «Slavia», 24, 1955, стр. 123—145), вопросам стиля и стилистики (см. SaS, 16, 1955, číslo 1,2), вопросам диалектологии (см. SaS, 16, 1955, číslo 3).

Работа по сравнительному изучению славянских языков и старославянского языка

Первые годы послевоенного десятилетия в области славянского языкознания в Чехословакии характеризовались тем, что, с одной стороны, отсутствовало единство в методологических основах сравнительного славянского языкознания, с другой стороны, основные усилия чешских ученых были сосредоточены главным образом на разработке проблематики, связанной с изучением старославянского языка. Лишь с конца 1947 г. и начала 1948 г. поднимается вопрос о необходимости более широкого охвата проблем и материала при изучении славянских языков (см. программную статью Б. Гавранка «Наше понимание славянской филологии и ее задачи на современном этапе развития» («Slavia», 18, 1947/48, стр. 264—268).

Стремление по-новому подойти к сравнительному изучению славянских языков сказывается уже в некоторых трудах, опубликованных до 1950 г. Примечательной в этом отношении является статья Ф. Копечного «К вопросу о классификации славянских языков» («Slavia», 19, 1949/50, стр. 1—12), в которой при группировке славянских

[1] Сообщения об этих конференциях напечатаны в журнале «Slavia» (21, 1952, стр. 105—108 и 22, 1953, стр. 155—160).

языков автор в значительной степени исходит из их современного состояния. Однако оживление работы по сравнительному славянскому языкознанию наступает только после 1950 г. Проявилось оно прежде всего в статьях, публикуемых в журналах и сборниках. Несколько интересных исследований по славистике опубликовано в упомянутом сборнике в честь Б. Гавранка. Здесь опубликованы серьезные статьи по вопросам словообразования в праславянском языке А. В. Исаченко (стр. 114—130) и А. Матла (стр. 131—151); об одном типе славянских глагольных интенсивных форм с суффиксом *-stati* написал В. Махек (стр. 248—254), о типах словообразования в славянских языках — А. Достал (стр. 99—113) и т. д. В 1954 г. А. Достал издал также подготовленную ранее работу о двойственном числе в славянских языках (A. Dostál, Vývoj duálu v slovanských jazycích, zvláště v polštině, Praha, 1954). О фонетике праславянского языка опубликовал работу Ф. В. Мареш (см. «Slavia», 25, 1956, стр. 443—495).

Связь с традиционным сравнительным языкознанием в течение всего послевоенного периода в значительной степени сохраняется в трудах по этимологии. В этой области после смерти О. Гуйера ведущая роль в чешской славистике принадлежит В. Махку. Кроме того, в области этимологии работают Ф. Копечный, А. Матл, К. Яначек, В. Полак. В. Махек опубликовал в 1945—1955 гг. значительное количество статей как в чешских, так и в иностранных журналах. В них, как правило, рассматриваются целые группы слов, что связано с систематической подготовкой этимологического словаря (см. его работы о происхождении названий отдельных птиц, растений, о словообразовательных типах и т. д.; см. указанную книгу Тыла, стр. 67 и сл.).

В 1955 г. вышло из печати учебное пособие для высших школ К. Горалка «Введение в изучение славянских языков» (K. Horálek, Úvod do studia slovanských jazyků, Praha, 1955). Здесь дан обзор исторической славянской фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики. Современное состояние исследования славянских языков позволило лишь первые две части грамматики дать в более полном виде, синтаксис же и развитие словаря даны в виде краткого очерка. Особую главу составляет очерк истории славянских литературных языков. К книге дано приложение с характеристикой отдельных славянских языков, глава о славянском письме, краткая история славянского языкознания и образцы текстов. Автор надеется, что в новом издании, которое он сейчас готовит, ему удастся это учебное пособие значительно улучшить.

В области старославянского языка опубликованы следующие труды: И. Курца — о члене в старославянском языке («Byzantinoslavica», 8, 1939—1946, стр. 172—288; см. там же, 7, 1937—1938, стр. 212—340); К. Горалка — «Значение Саввиной книги для реконструкции старославянского перевода евангелия» [«Věstník Královské české společnosti nauk» (VKČSN), 1946 (1948), № 3, стр. 1—128, также—отдельный оттиск]. В этой работе К. Горалек, который занимается главным образом вопросами сравнительного изучения старославянских евангелий, при реконструкции первоначального текста старославянского евангелия приходит к выводам, существенно отличающимся от выводов проф. Й. Вайса. Этой же проблематике посвящена книга К. Горалка «Евангелия-апракосы и четвероевангелия. Замечания к критике текста и истории старославянского перевода евангелия» (K. Horálek, Evangeliáře a čtveroevangelia. Příspěvky k textové kritice a k dějinám stsl. překladu evangelia, Praha, 1954).

Наиболее значительной из работ чешских ученых по старославянскому языку является книга А. Достала «Исследование о видовой системе старославянского языка» (A. Dostál, Studie o vidovém systému v staroslověnštině, Praha, 1954). Выводы автора строятся на анализе исчерпывающего материала, извлеченного из канонических памятников старославянского языка. Рассмотрению материала предпослана общая часть, в которой дается критический обзор литературы, посвященной вопросам глагольного вида, освещаются взгляды автора на этот вопрос. Обстоятельное исследование А. Достала вносит большой вклад в изучение глагольного вида не только старославянского, но и вообще славянских языков[1].

Анализу языка старославянских памятников в сопоставлении с греческими оригиналами, вопросу о традиции церковнославянских книг в Чехословакии и у западных славян вообще много внимания уделяет проф. И. Вашица (см. журналы: «Byzantinoslavica», 8, 1939—1946, стр. 1—54; «Acta Academiae Velehradensis», 19, 1948, стр. 38—80; «Byzantinoslavica», 12, 1951, стр. 154—174, «Slavia», 24, 1955, стр. 9—41). Кроме того, о старославянских памятниках см. также работы К. Горалка («Slavia», 19, 1950, стр. 285—392) и Ф. В. Мареша («Slavia», 19, 1949/50, стр. 54—61) и др.

Работы по чешскому языку

В послевоенный период чешские языковеды в основном занимались исследованиями в области грамматики современного чешского языка и диалектологии. Из исторических дисциплин в центре внимания находились история литературного языка и этимология. Марксистская ориентация и здесь появляется главным образом после 1950 г.

[1] См. рецензию Ю. С. Маслова на указ. работу А. Достала (ВЯ, 1956, № 3).

Изучаются вопросы о характере национального языка, о взаимоотношениях между чешским и словацким языком и т. д. Систематически также велись работы и в области лексикографии, по вопросам терминологии, стилистики, по составлению школьных учебников. Много внимания было уделено составлению новых правил чешской орфографии.

Грамматика современного чешского языка и литературная норма. В изучении грамматической системы современного чешского литературного языка ведущая роль принадлежит акад. Ф. Травничку. В 1948—1949 гг. вышла в первом издании его двухтомная научная «Грамматика чешского литературного языка» (F. Trávníček, Mluvnice spisovné češtiny, Praha, 1948—1949; 2-е изд.—1951). Первая часть этой грамматики содержит разделы фонетики, словообразования и морфологии, вторая часть — синтаксис. Главное значение этого труда Ф. Травничка состоит в богатстве и систематизации собранного материала. В методике изложения материала, особенно в синтаксической части, автор следует Я. Гебауэру. Ф. Травничек, как и Я. Гебауэр, выделяет в синтаксисе раздел о предложении и раздел о функции частей речи в речевом контексте (в этом отделе дается объяснение грамматических категорий и частей речи с учетом их роли в предложении).

В. Шмилауэр в своем «Синтаксисе современного чешского языка» (Vl. Šmilauer, Novočeská skladba, Praha, 1947) идет другим путем. Однако и он не пришел к удовлетворительным результатам в поисках лучшей систематизации материала. Некоторые специальные вопросы чешского синтаксиса рассматриваются в статьях В. Шмилауэра, помещенных в сборнике «Druhé hovory o českém jazyce» (Praha, 1947).

Более самостоятельно подходит к вопросам синтаксиса Ф. Копечный в «Основах чешского синтаксиса» (F. Kopečný, Základy české skladby, Olomouc—Praha, 1952). Под другим углом зрения изложен также синтаксис в «Грамматике чешского языка» акад. Б. Гавранка и проф. А. Йедлички (B. Havránek a A. Jedlička, Česká mluvnice. Základni jazyková příručka, Praha, 1951).

Из специальных вопросов чешской грамматики наиболее детально разрабатывалась проблема глагольного вида. Главное внимание ей уделяли Ф. Копечный и И. Польдауф. В последнее время начинают обсуждаться и другие вопросы чешской грамматики (см. сборник SPL). Дискуссионным является положение о категории состояния как особой части речи (см. статью акад. Ф. Травничка в SaS, 17, 1956, стр.6—18, где он выступает против утверждения такой части речи).

Фонетика. Наиболее значительные работы послевоенного периода касаются изучения звуковой стороны предложения. Главные труды в этой области принадлежат М. Ромпортлу, например, «К интонации чешского разговорного языка» (см. VKČSN, 1951).

Звуковой стороной чешского предложения в связи со стихом занимался Б. Гала (см. VKČSN, 1952, № 5). При этом, вопреки мнению прежних исследователей, он исходит из того, что обычно чешское предложение имеет нисходящую интонацию. Вопросами ритмо-мелодики занимаются и его ученицы (см., например, SaS, 15, 1954, стр. 24—29, 145—157). Об особенностях ударения и интонации чешского предложения пишет также акад. Ф. Травничек в своей «Грамматике чешского литературного языка», где рассматриваются и другие явления фонетики. Особенно важными являются объяснения соединения самостоятельных слов со вспомогательными.

В послевоенный период много внимания уделялось также нормализации чешской орфоэпии. Эти вопросы рассматривают Ф. Травничек (см. его «Грамматику» и статью «Правильное чешское произношение»), Б. Гала, А. Йедличка, Ф. Данеш, К. Ректорисова, М. Нога (см. сб. «O mluveném slově», Praha, 1954 и SaS, 17, 1956, стр. 78—88 и др.). На основании материалов, собранных орфоэпической комиссией Института чешского языка Чехословацкой Академии наук, Б. Гала подготовил работу «Произношение чешского литературного языка, его основы и правила» (B. Hála, Výslovnost spisovné češtiny její zásady a pravidla, Praha, 1955).

Стилистика, метрика, язык писателей. В первые послевоенные годы в этих областях заметно явное преобладание структурализма. Показательным для этого периода является, например, сборник «О поэтическом языке» («O básnickém jazyce», Praha, 1947), содержащий статьи Б. Гавранка, Я. Мукаржовского и Ф. Водички. В исследовании Ф. Травничка «О художественной речи» (F. Trávníček, O umělecké mluvě, Praha, 1947) также популяризуются идеи структурализма. Однако наибольшее значение из структуралистских работ послевоенного периода имела книга проф. Ф. Водички «Начала новочешской художественной прозы» (F. Vodička, Počátky krásné prózy novočeské, Praha, 1948), в которой систематически излагались взгляды структуралистов на поэтический язык и литературно-исторический анализ художественной прозы.

Все эти труды ожидают еще обстоятельной критики с точки зрения марксизма, но было бы неправильно отрицать совсем их значение, которое они имеют и для дальнейшего исследования, прежде всего в той части, где дается четкий анализ языковых фактов.

Это же относится и к работам по вопросам стихосложения, вышедшим в данный период (см. статьи Ю. Новаковой, И. Грабака, К. Горалка и др.).

Наиболее обширным и систематическим трудом по чешской стилистике остается книга И. В. Бечки «Введение в чешскую стилистику» (J. V. Bečka, Úvod do české stylistiky, Praha, 1948). Книга имеет значение скорее благодаря богатому материалу, содержащемуся в ней, чем благодаря теоретическим выводам. Вопросам стилистики посвящен, кроме того, коллективный труд Ф. Данеша, Л. Долежала, К. Гаузенбласа и Ф. Вагалы «Главы из практической стилистики» («Kapitoly z praktické stylistiky», Praha, 1956).

Большое количество работ, вышедших за это время, посвящено изучению языка и стиля разных писателей (см.: «Библиографию» З. Тыла; журналы SaS, 13, 1952, стр. 57—71; SaS, 14, 1953, стр. 102—115; ČJ, 1954, № 4; NŘ, 37, 1954, стр. 73—86; SPL, 1, 1954).

Лексикография, терминология. В настоящее время заканчивается составление «Настольного словаря чешского языка», который будет самым большим из толковых словарей отдельных славянских языков в отношении полноты охвата современной лексики. На основании материалов этого словаря готовится новый трехтомный толковый словарь современного чешского языка. В 1952 г. вышло переработанное и дополненное четвертое издание «Словаря языка чешского» Ваши—Травничка (F. Trávníček, Slovník jazyka českého, Praha, 1952).

Среди лексикографических работ большой интерес представляет трехтомный словарь А. Профоуса «Местные названия в Чехии» (A. Profous, Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny, t. I—III, Praha, 1947—1951) — самый большой труд в Чехословакии по топонимике. Имена здесь распределены в алфавитном порядке, словарные статьи содержат сведения из географии, описание исторических событий, толкование этимологии приводимых слов. Последний том приготовил к печати Я. Свобода.

До сих пор еще в Чехословакии нет полного словаря древнечешского языка (словарь Я. Гебауэра кончается буквой «N»), а краткий словарь Ф. Шимка (F. Šimek, Slovníček staré češtiny, Praha, 1947) не может удовлетворить потребностей в этом отношении. Поэтому в Институте чешского языка готовится на основании собранной еще Гебауэром, но значительно пополняемой новыми материалами картотеки — Словарь древнечешского языка (см. о нем в SaS, 16, 1955, стр. 259—260).

Определенный интерес для истории фразеологии чешского языка представляет книга Й. Заоралка «Народные обороты речи» (J. Zaorálek, Lidová rčení, Praha, 1947). Практический словарь синонимов издали в 1947 г. Й. Машин и Й. В. Бечка (J. Mašin a J. V. Bečka, Malý slovník českých synonym, Praha, 1947). Популярностью пользуется «Большой словарь иностранных слов», составленный В. Пехом («Velký slovník cizích slov», zpracoval V. Pech, Praha, 1948), который нуждается уже в переиздании.

Терминологическая литература представлена главным образом журнальными статьями и разными специальными словарями. Первой наиболее полной работой о специальной терминологии является книга К. Сохора «Пособие по чешской специальной терминологии» (K. Sochor, Příručka o českém odborném názvosloví, Praha, 1955). В последнее время в журнале NŘ печатаются разные статьи по вопросам терминологии.

Ценным материалом по ботанической народной терминологии является книга В. Махка «Чешские и словацкие названия растений» (V. Machek, Česká a slovenská jména rostlin, Praha, 1954).

История языка. Новых трудов по истории чешского языка за послевоенный период появилось сравнительно мало. Ф. Травничек издал 1956 г. исторический синтаксис («Historická mluvnice česká, III — Skladba», Praha, 1956), который является дополнением его «Исторической грамматики». В настоящее время готовится новая грамматика древнечешского языка. Для нее раздел о развитии звукового состава пишет М. Комарек, раздел морфологии — акад. Ф. Ришанек и В. Важный. Готовится также новое издание истории чешского литературного языка акад. Б. Гавранка.

Частные работы по истории чешского литературного языка касались главным образом периода чешского Возрождения. Сюда относятся: исследование А. Йедлички «Иосиф Юнгманн и литературоведческая и лингвистическая терминология Возрождения» (A. Jedlička, Josef Jungmann a obrozenská terminologie literárně vědná a linguistická, Praha, 1948), статья Я. Белича «Принципы Палацкого в вопросах языковой культуры» («Třistudie o Františku Palackém», Olomouc, 1949, стр. 166—237), несколько юбилейных статей о Добровском и др. (см. SaS, 13, 1952 и SaS, 17, 1956). Большое исследование о развитии родительного падежа дополнения в чешском языке подготовил к печати К. Гаузенблас.

В некоторых работах анализируется язык произведений писателей периода XV—XVI вв. Так, проф. К. Годура пишет о языке древнечешского перевода «Миллиона»

Марко Поло; язык произведений Ф. Штитного исследуют главным образом акад. Ф. Ришанек и Ф. Шимек, язык произведений Гуса изучал В. Флайшганс (умер в 1947 г.).

Работа в области этимологии чешского языка ознаменовалась изданием переработанного Ф. Копечным этимологического словаря Й. Голуба и опубликованием различных журнальных статей (см., например, NŘ, 38, 1955, стр. 2—12). Большое количество статей в этой области принадлежит В. Махку, который готовит новый этимологический словарь чешского языка. Этимологией имен собственных после А. Профоуса занимается Я. Свобода (см. NŘ, 36, 1953, стр. 201—207).

Издание текстов к истории чешского языка. Для изучения истории чешского языка большое значение имеет издание памятников древнечешской письменности, которое имеет в Чехословакии непрерывную традицию; в послевоенные годы особенно много было издано древнечешских текстов. Так, в серию «Национальная сокровищница» («Národní klenotnice», Praha) вошли: «Древнечешская Александрия», «Древнечешские драмы», «Послебелогорские драмы», «Гуситские песни» и др. Тексты подготовили В. Важный, И. Грабак, А. Грунд, Ю. Даньгелка и др. Более поздние тексты вошли в серию «Живые дела прошлого» («Živá díla minulosti», Praha). Продолжается издание серии: «Памятники древнечешской литературы» («Památky staré literatury české», Praha). Важно отметить, что в последнее время при переиздании памятников чешской письменности больше внимания уделяется эпохе XVI—XVIII вв., которая прежде недостаточно тщательно изучалась.

Диалектология. Исследование говоров чешского языка в послевоенный период было сосредоточено в Институте чешского языка, а также в его филиале в Брно. Отделением диалектологии в Институте руководят В. Важный и Я. Ворач.

В чешской диалектологии послевоенных лет центральное место занимают проблемы лингвистической географии. В настоящее время подготавливается большой диалектологический атлас, но работа по его подготовке еще не достигла тех результатов, которые имеются в Советском Союзе и Польше. Изучение моравских говоров продвинулось вперед больше, чем чешских.

В рассматриваемый период вышло также несколько значительных монографий по диалектологии. В числе первых необходимо указать двухтомный труд А. Келлнера «Восточноляшские говоры» (A. Kellner, Východolašská nářečí, Brno, 1946 и 1949). В этой работе дано систематическое описание польских говоров Тешинской области и прилегающей к ней Чадецкой области в Словакии. А. Келлнер опубликовал в сборниках и журналах ряд статей, посвященных главным образом проблемам смешанных и пограничных говоров. В 1954 г. вышло из печати его «Введение в диалектологию» (A. Kellner, Úvod do dialektologie, Praha, 1954), написанное на достаточно высоком теоретическом уровне.

Из других моравских диалектологов много трудов опубликовал после 1945 г. Я. Белич, ученик Б. Гавранка и Ф. Травничка. Кроме нескольких статей, помещенных в журналах, вышли и более крупные его работы. Необходимо особо отметить большой труд «Дольские говоры на Мораве» (J. Bělič, Dolská nářečí na Moravě, Praha, 1954), относящийся к лучшим чешским работам по диалектологии. При анализе этих говоров автор сталкивается со специальной проблематикой, в решении которой, при помощи марксистской методологии, он достигает определенных успехов. Ни в какой другой работе по диалектологии не была раскрыта в такой мере роль социальных факторов при формировании говоров, как это сделал Я. Белич в монографии о дольских говорах.

К числу моравских диалектологов относится А. Грегор, изучающий синтаксис и лексику моравских говоров. Из учеников А. Келлнера серьезные труды по диалектологии имеются у А. Лампрехта, автора книги «Среднеопавские говоры» (A. Lamprecht, Středoopavské nářečí, Praha, 1953). Фонетике силезских говоров посвящены исследования М. Ромпортла и его ученика Я. Водажа. Фонетика моравских говоров находится в центре работы В. Мазловой «Произношение на Забржежске» (V. Mázlová Výslovnost na Zábřežsku, Praha, 1949).

В последние годы много трудов по диалектологии опубликовал Я. Ворач, автор книги «Чешские юго-западные говоры» (J. Vorář, Česká nářečí jihozápadní, Praha, 1954), в которой он опирается на обширный диалектный материал, собранный в Институте чешского языка.

Работы по русскому, украинскому и белорусскому языкам

Самым большим трудом чешских ученых в области русского языка, и не только в период 1945—1955 гг., является создание «Большого русско-чешского словаря» («Velký rusko-český slovník»), выходящего в Праге под редакцией Л. Копецкого, Б. Гавранка и К. Горалка. Во время подготовки первого тома (вышел в 1952 г.) только еще вырабатывались принципы словаря, не было еще достигнуто полное единство в обработке заглавных слов. Вышедший в 1954 г. второй том отличается уже бо́льшим единством, которое сохранено и в третьем томе (1956 г.). Главное участие в редакционной работе принимал Л. Копецкий. В Чехословацко-советском институте готовится также

двухтомный чешско-русский словарь, который будет содержать приблизительно 70 тыс. слов. В 1955 г. в Праге вышел из печати «Школьный русско-чешский словарь» («Školní rusko-český slovník») под ред. Л. Копецкого. Был издан также ряд специальных русско-чешских словарей (сельскохозяйственный, текстильный, технический, военный и др.).

Большой интерес к русскому языку вызвало появление учебников русского языка и новых практических грамматик и пособий для школ.

В Чехословацко-советском институте подготовлена большая научная грамматика русского языка под общей редакцией О. Лешки. В разделе морфологии учтена работа А. В. Исаченко о морфологическом строе русского языка в сопоставлении со словацким (вышла в Братиславе в 1954 г.). Здесь же подготовлен сборник «Главы из сравнительной грамматики русского и чешского языка», т. I («Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české», díl I, Praha, 1956); т. II готовится.

Исследования молодых русистов публиковались в журналах «Ruština ve škole», «Ruský jazyk», «Sovětská jazykověda», а также в некоторых других журналах (см.: «Časopis pro moderní filologii», 34, 1951; «Studie a práce linguistické», 1, 1954).

Рассмотрение вопросов грамматики русского и чешского языка в сопоставительном плане проводилось в работах о переводе с русского на чешский язык и наоборот. В 1953 г. был издан сборник статей под заглавием «Книга о переводе» («Kniha o překládání», Praha, 1953) как по вопросам перевода с русского языка на чешский, так и по специальным вопросам русской грамматики.

Фонетикой русского языка занимался главным образом М. Ромпортл. См. его статьи: «Фонетическое изучение русского *ы*» («Slavia», 22, 1953, стр. 529—556); «О мелодии русского предложения в сравнении с чешским» («Sovětská jazykověda», 4, 1954, стр. 207—222). И. Попелом опубликована статья «Об основах русской фонетики» («Sovětská jazykověda», 4, 1954, стр. 197—206).

Из других восточнославянских языков были опубликованы статьи по вопросам истории украинского языка проф. И. Панькевича, который подготовил к печати словарь закарпатско-украинских диалектов и историю украинской диалектологии.

Работы по остальным славянским языкам

Словацкий язык. Наиболее важные работы в период 1945—1955 гг. написаны проф. В. Важным. Сюда прежде всего относится его книга «О названиях бабочек в словацких говорах» (V. Vážný, O jménech motylů v slovenských nářečích, Bratislava, 1955), направление которой характеризуется подзаголовком «Семасиологическое исследование с учетом географического распространения». В 1948 г. вышло из печати второе издание «Грамматики словацкого языка для чехов» В. Важного (V. Vážný, Stručná mluvnice slovenská pro čechy, Praha, 1948). В этом же году издана книга С. Петржика «Два замечания о музыкальной стороне словацкого предложения» (S. Petřík, Dva príspevky k hudobnej stránke slovenskej vety, Praha, 1948).

В последнее время много внимания уделялось вопросу о взаимоотношении чешского и словацкого языков; наиболее серьезные замечания в этой области высказаны в работах Я. Белича и Ф. Травничка.

Лужицко-сербский язык. Лужицко-сербским языком после проф. Й. Паты, павшего жертвой фашистского террора, занимается на филологическом факультете Пражского университета совместно с доц. М. Кречмаром проф. А. Фринта, который в 1954 г. издал исследование о чешских и старославянских элементах в лужицко-сербской христианской терминологии (A. Frinta, Bohemismy a paleoslovenismy v lužickosrbské terminologii křestanské a jejich dějepisný význam, «Acta Universitatis Carolinae», 5, Praha, 1954). Эта работа вышла также в лужицко-сербском переводе. М. Кречмар издал на лужицком языке свое исследование о словообразовании в верхнелужицком языке (см. журн. «Lětopis Maćicy Serbskeje», 1954, стр. 21—93). Практическую грамматику верхнелужицко-сербского языка с небольшим словариком издал в 1948 г. в Оломоуце В. Могельски.

Польский язык. Вопросы польской диалектологии поднимаются в книге А. Келлнера о восточноляшских говорах (см. выше), в работе В. Важного о лингвистическом атласе польского Прикарпатья (V. Vážný, Z mezislovanského jazykového zeměpisu, Praha, 1948).

Упомянутая выше работа А. Достала о развитии двойственного числа в славянских языках построена в основном на материале древнепольского языка. Проблемой польского стиха по сравнению с чешским занимались Й. Грабак и К. Горалек. Б. Гала издал «Краткую фонетику польского языка» (B. Hála, Fonetika polstiny, Praha, 1954).

В рассматриваемый период вышла из печати «Практическая грамматика польского языка» М. Колаи (M. Kolaja, Mluvnice a učebnice jazyka polského, Praha, 1947), а также словари: чешско-польский, изд. Й. Бечки (1947) и польско-чешский, изд. Б. Выдры (1947).

Болгарский язык. Исследования по болгарскому языку ограничивались рядом статей, написанных в основном проф. К. Горалком. Из них следует упомянуть статью по вопросу о палатальных согласных в болгарском языке (см. «Slavia», 20, 1950, стр. 57—60) и о периодизации истории болгарского языка. В 1955 г. издан учебник современного болгарского языка С. Гержмана (S. Heřman, Cvičebnice bulharštiny, Praha, 1955).

Сербохорватский язык. Помимо изданной в переводе на чешский язык практической грамматики М. Решетара (M. Rešetar, Mluvnice jazyka srbochorvátského, Praha, 1946), вышла в свет «Грамматика сербохорватского языка» Д. Прохаски (D. Prochaska, Základy srbochorvátštiny, Praha, 1947). Славянский институт ЧСАН готовит сербохорватско-чешский словарь.

К. Горалек

Перевела с чешского *Е. В. Немченко*

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ДИАЛЕКТОЛОГИИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

10—13 декабря 1956 г. в Баку состоялось региональное совещание по диалектологии тюркских языков, созванное Институтом языкознания АН СССР и Институтом литературы и языка АН Азерб. ССР.

На совещание прибыли представители Туркмении, Татарии, Чувашии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии— специалисты не только в области тюркских, но также иранских и других индоевропейских языков. В работе совещания принял участие виднейший польский тюрколог, председатель Комитета востоковедения Польской Академии наук проф. А. А. Зайончковский.

Совещание в основном было посвящено двум проблемам: 1) проблеме диалектной основы тюркских национальных литературных языков и их опорных диалектов и 2) вопросам изучения диалектов тюркских языков. После вступительного слова президента АН Азерб. ССР академика М. М. Алиева с докладом «О диалектной основе азербайджанского национального литературного языка» выступил чл.-корр. АН Азерб. ССР М. Ш. Ширалиев. Докладчик указал, что общенародная основа азербайджанского литературного языка донационального периода сложилась на базе ширванских групп диалектов, распространенных на территории от Муганской степи до Дербента, и охарактеризовал особенности этих групп диалектов. Представитель одной из групп ширванских диалектов — шемахинско-бакинский диалект — сыграл ведущую роль также в образовании национального литературного языка. М. Ш. Ширалиев отметил, что остальные азербайджанские диалекты не были безразличны к ходу дальнейшего развития национального литературного языка: они в свою очередь внесли определенную лепту в общенациональный язык. В то же время не все элементы опорного диалекта были использованы азербайджанским национальным литературным языком. М. Ш. Ширалиев остановился в своем докладе также на вопросе классификации азербайджанских диалектов.

Выступивший с докладом «Диалектная основа узбекского национального языка» доктор филол. наук В. В. Решетов подчеркнул особую актуальность обсуждаемой проблемы в связи с необходимостью решения насущных вопросов прикладного узбекского языкознания. Он отметил, что при определении диалектной основы следует учитывать историческую перспективу и общую тенденцию развития языка. Исторически в составе узбекского народа оказались три языковых общности: 1) кыпчакская, 2) огузская и 3) карлуко-чигиле-уйгурская; они и дали соответственно три диалекта.

Основа карлуко-чигиле-уйгурской языковой общности нашла свое отражение в языке богатой староузбекской письменности и в языке поэтов конца XIX в. и начала XX в. К говорам, исторически восходящим к карлуко-чигиле-уйгурской языковой общности, указал докладчик, относятся наманганский, ташкентский, андижанский и другие говоры крупных населенных пунктов Узбекистана. Впитав в себя часть огузских и кыпчакских элементов, говоры данной группы выступают и сейчас в качестве нормализованного средства языкового общения узбекского народа. При вполне четко определившейся диалектной основе узбекского литературного языка наблюдающийся в Узбекистане орфографический разнобой можно объяснить только пренебрежением к источникам, питающим литературный язык.

Доктор филол. наук Л. З. Залялетдинов в своем докладе «Опорный диалект в образовании татарского языка» отметил, что татарский литературный язык

с момента его формирования (XI—XII вв.) базируется на казанском наречии, т. е. на среднем диалекте. Этот диалект внутри себя подразделяется на говоры и подговоры, сохранившие такие особенности, которые в той или иной степени помогают установить связь татарского языка с языком булгарских племен. Значительное внимание в своем докладе Л. З. Залялетдинов уделил вопросу классификации татарских диалектов и особенностям каждой из диалектных групп.

Выступивший с докладом «О восточном диалекте татарского языка» канд. филол. наук Г. Х. Ахатов остановился на вопросе об отличиях восточного диалекта от татарского литературного языка; многие из этих отличий сближают данный диалект с такими родственными языками, как башкирский, казахский и уйгурский. Изучение восточного диалекта, как отметил докладчик, дает богатый материал для решения вопросов истории татарского языка.

По первому вопросу — проблеме диалектной основы тюркских языков — развернулась дискуссия. Канд. филол. наук А. Джафаров высказался против главного положения в докладе М. Ш. Ширалиева, согласно которому в основе азербайджанского литературного языка лежит шемахинско-бакинский диалект. По мнению А. Джафарова, основу азербайджанского литературного языка составляют говоры восточной и западной групп. Канд. филол. наук М. Г. Гусейнзаде в своем выступлении показал, что азербайджанский литературный язык содержит не только особенности шемахинско-бакинского диалекта, но, в частности, и значительное число элементов из южных диалектов. Ряд выступавших (кандидаты филол. наук А. Джафаров, Ш. Саадиев, М. Г. Гусейнзаде, М. Р. Махмудов и др.) высказались против существующей классификации азербайджанских диалектов, считая ее преждевременной, поскольку не все еще диалекты изучены. Доктор филол. наук Е. И. Убрятова высказала мысль о том, что далеко не всегда литературный язык возникает на основе одного диалекта (ср. якутский язык). В отношении языка писателей она отметила, что каждый писатель вносит в язык особенности своего диалекта. Е. И. Убрятова предложила разграничивать понятия опорного диалекта и диалектной основы, которые далеко не всегда совпадают.

В защиту основных положений, содержащихся в докладах М. Ш. Ширалиева и В. В. Решетова, выступили чл.-корр. Польской Академии наук А. А. Зайончковский, доктор филол. наук Н. А. Баскаков, канд. филол. наук И. А. Абдуллаев и др. А. А. Зайончковский отметил, что тюркские языки дают возможность проследить процесс возникновения литературных и национальных языков, причем для всех тюркских языков эти процессы далеко не одинаковы. Об опорном диалекте, по его мнению, можно говорить при наличии старописьменной традиции. Н. А. Баскаков отметил, что чем древнее письменная традиция данного языка, тем сложнее его отношение к диалектам. На каждом этапе развития язык создает свои нормы, опираясь то на один, то на другой диалект. В большинстве старописьменных языков опорными диалектами являются диалекты крупных промышленных центров. Н. А. Баскаков указал, что диалектная база литературного языка может быть вскрыта лишь при изучении истории языка с учетом конкретных современных условий. В выступлении проф. Р. И. Аванесова был поднят ряд теоретических вопросов, связанных с понятиями опорного диалекта и диалектной основы. Разграничивая эти два различных понятия, Р. И. Аванесов учитывает, с одной стороны, историческое развитие, а с другой — современное состояние языка и установление его норм. Проблема диалектной основы оказывается связанной с вопросами о происхождении языка. Диалектная основа в разные исторические периоды бывает различна (ср. русский язык). Говорить об опорном диалекте, по мнению Р. И. Аванесова, можно в плане обращения к современному или будущему состоянию языка. В сознательной деятельности по урегулированию норм литературного языка (выработка орфоэпических, орфографических, грамматических норм) удобно ориентироваться на диалект какого-нибудь города — здесь и уместно понятие опорного диалекта.

По второму вопросу совещание заслушало доклады канд. филол. наук Р. А. Рустамова «О состоянии изучения диалектов азербайджанского языка», академика АН Казахск. ССР Н. Т. Сауранбаева и канд. филол. наук Ш. Ш. Сарыбаева «Казахская диалектология», научн. сотр. Института языка и литературы АН Туркм. ССР К. Шамурадова «О состоянии изучения диалектов туркменского языка», канд. филол. наук Г. Бакиновой «Принципы собирания материала по киргизским диалектам», канд. филол. наук Ш. Шаабдурахманова «Изучение говоров и диалектов узбекского языка».

При обсуждении состояния диалектологической работы на местах выступил доктор филол. наук С. С. Джикия, рассказавший о диалектологической работе по тюркским языкам в Грузии; доктор филол. наук Е. И. Убрятова сообщила о диалектологической работе в Якутии; канд. филол. наук А. С. Конюкова познакомила с диалектологической работой в Чувашии; научн. сотр. Хакасского научно-исследовательского института Д. И. Чанков рассказал о диалектологической работе в Хакассии. Ход настоящего совещания свидетельствовал о дальнейшем укреплении деловой связи между диалектологами-специалистами по различным языкам

на местах и в центре. Е. И. Убрятова ознакомила присутствующих с характером работы, ведущейся в Секторе тюркских языков Института языкознания АН СССР; Р. И. Аванесов поделился опытом диалектологической работы в Секторе истории русского языка и диалектологии Института языкознания АН СССР.

Подводя итоги совещания, председатель комиссии по координации диалектологической работы Р. И. Аванесов коснулся некоторых теоретических проблем диалектологии и наметил дальнейшие задачи, стоящие перед диалектологами — специалистами по тюркским языкам. В частности, отмечая необходимость поднять теоретический уровень диалектологических работ, Р. И. Аванесов в качестве первоочередных задач назвал составление диалектологических атласов, разработку единой транскрипции и пр. В резолюции, принятой совещанием, отмечена необходимость руководства в работе по составлению диалектологических атласов со стороны не только Академий наук союзных республик, но и Академии наук СССР. Участники совещания пришли к единому мнению о том, что для повышения уровня диалектологических работ необходимо расширить фонетические лаборатории в институтах системы Академии наук и союзных академий.

Координационное совещание, проходившее в духе свободной дискуссии, будет способствовать дальнейшему развитию диалектологии тюркских языков как самостоятельной лингвистической науки. Оно направляет усилия советских диалектологов — специалистов по тюркским языкам — на те участки, которые еще недостаточно разработаны.

Н. З. Гаджиева

ОБСУЖДЕНИЕ РУКОПИСИ ПЕРВОГО ТОМА «ГРАММАТИКИ СОВРЕМЕННОГО ЛАТЫШСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА»

8—10 октября 1956 г. в Институте языка и литературы АН Латвийской ССР на объединенном расширенном заседании Ученого совета Института и Координационной комиссии состоялось обсуждение первого тома «Грамматики современного латышского литературного языка», подготовленного Сектором грамматики Института.

В обсуждении, помимо рижских языковедов, приняли также участие представители языковедов Литвы — К. Ульвидас и А. Сабаляускас. Письменные отзывы прислали: проф. П. Аристе (Тарту), Сектор словарей и современного языка Института и литературы АН Литовской ССР и коллектив кафедры латышского языка Рижского педагогического института.

Открывая заседание, директор Института канд. филол. наук Э. П. Сокол отметил, что создание «Грамматики современного латышского литературного языка» является крупным событием в культурной жизни латышского народа. Это грамматика нового типа, описательно-нормативная. При установлении принципов ее структуры составители пользовались указаниями д-ра Я. Эндзелина, трудами акад. В. В. Виноградова, д-ра Б. А. Серебренникова и др.

Зав. Сектором грамматики и руководитель авторского коллектива ст. научн. сотр. Р. Я. Грабис в своем вводном докладе указал, что «Грамматика», составленная в результате широкого исследования современного языкового материала, в то же время базируется и на предыдущих исследованиях грамматической структуры латышского языка, от которых она отличается, однако, как по своему построению, так и трактовкой отдельных явлений языка. Обычно грамматики латышского языка объединяют сравнительно-историческую точку зрения с характеристикой новейшего состояния языка. Первой грамматикой такого типа была «Грамматика латышского языка» Я. Эндзелина и К. Мюленбаха (1907). Описательно-исторический и вместе с тем нормативный характер является типической особенностью также латышских грамматик 1922 и 1951 гг. проф. Я. Эндзелина и созданных по их примеру учебников. Но по мере развития литературного языка стало необходимым разграничение современного состояния литературного языка, исторического прошлого и диалектов. В 50-е годы в вузах были введены отдельные курсы по различным разделам латышского языка; назрела потребность в грамматике современного латышского литературного языка, результат работы над которой Сектор грамматики Института и выносит на обсуждение, чтобы сообща разрешить ряд возникших принципиальных вопросов. Таковым является

прежде всего само название «Грамматики современного латышского литературного языка». Это название оправдывается тем, что авторы сосредоточивают основное внимание на современном литературном письменном и устном языке.

Обсуждению подлежит также структура «Грамматики». В первый том включены разделы: «Фонетика», «Словообразование», «Морфология». В «Фонетике» дается описание звукового состава латышского литературного языка, звуковых изменений и звукового взаимодействия в языке. Для этого раздела использовались имеющиеся работы, в первую очередь — экспериментальное исследование фонем латышского литературного языка канд. филол. наук А. Лауа. Следует указать, впрочем, что за недостатком аппаратуры некоторые вопросы фонетического строя остались без должного описания, например, вопросы интонации и слогораздела. Новых исследований в этой области «Фонетика» не дает.

Полурешенным остался вопрос о месте в «Грамматике» словообразования, помещенного между «Фонетикой» и «Морфологией» в виде самостоятельного раздела: по мнению авторов, эта тема еще требует рассмотрения некоторых общих вопросов.

Разрабатывая части речи на основе материала современного языка, составители «Грамматики» все же отказались от новшеств, которые требуют еще специальных исследований, как, например, от разделения восклицательных слов на две категории, выделения в особую часть речи модальных слов и др. Дискуссионным вопросом в грамматике описательно-нормативного типа является соотношение современных языковых явлений и сохранившихся исторических элементов языка. Авторы не избегали исторических элементов, но пользовались ими по мере необходимости и в конечном счете не совсем равномерно. «Грамматика» отклонилась от традиционной классификации склонений по основам, которая требует исторических экскурсов, и распределила основы по склонениям. В разделе «Морфология» отчасти допущена и синтаксическая трактовка тех вопросов, которые имеют отношение как к морфологии, так и к синтаксису, например, при рассмотрении значений падежей.

По вопросу употребления латышских или интернациональных терминов не достигнуто полного единства. Имеет место и сознательное отступление от единообразной терминологии, например, из частей речи только глагол и имя прилагательное по некоторым соображениям названы не латышскими терминами. Поскольку разработка отдельных глав производилась разными авторами — это сказалось на стиле изложения и пропорциональности разработки самих разделов и подразделов. Докладчик обратил внимание участников совещания еще на одну особенность обсуждаемого труда. Хотя «Грамматика» построена как описательно-нормативная, в ней не проведено строгого нормирования. При описании некоторых явлений литературного языка авторы ограничивались только указанием на существующие параллели, предпочитая такой подход преждевременному установлению тех или других норм.

С обоснованием трактовки некоторых спорных вопросов фонетики, словообразования и морфологии выступили также участники авторского коллектива.

А. Бергмане говорила о новом подходе к вопросам смягчения согласных и чередования гласных. В обсуждаемую «Грамматику», в отличие от прежних, не включены главы о соединении гласных с йотом и смягчении согласных, так как указанные процессы в латышском языке давно закончились и обзор их — дело исторической грамматики. Вместо этих разделов в «Грамматике» показано чередование согласных как явление современного языка.

А. Микельсоне обратила внимание присутствующих на новшество в отделе словообразования. В главе о префиксации существительных впервые выделено образование существительных с полупрефиксом. Полупрефикс — словообразовательное средство, по значению находящееся на границе между приставкой и первым компонентом сложных слов. Лексически эти префиксы напоминают первый компонент сложных слов, функционально же похожи на предлоги-приставки. Таковы, например, *ār*, *apakš*, *caur*, *iekš*, *lidz* и др.

М. Лепика познакомила участников совещания с весьма спорным вопросом о глагольном залоге в латышском языке и с различным разрешением его в пользу то трех, то двух залогов. Проф. Я. Эндзелин в своей «Грамматике латышского языка» (1951) стал на точку зрения сравнительно-исторического языкознания, по которой в балтийских языках нет среднего залога, а его заменили возвратные формы глагола. Соответственно построены и учебники латышского языка последних лет. Тому же принципу следует и обсуждаемая «Грамматика». Рядом с действительным залогом (переходные глаголы) и описательным страдательным залогом, таким образом, выделяется самостоятельная формальная группа — возвратные глаголы, или возвратные формы глаголов с разными значениями. Вопрос не решен окончательно. Литовскими языковедами данный вопрос в отношении их национального языка еще не поднят. Желательно было бы совместное одинаковое или сходное разрешение вопроса о залоговых отношениях в обоих балтийских языках.

Т. Порите, выступив по вопросу о модальных словах, указала на признаки, выделяющие модальные слова из состава слов тех частей речи, к которым они как

будто относятся. Однако границы устанавливаются весьма неопределенные, особенно при отделении модальных слов от наречий и частиц. У модальных слов в латышском языке намечается тенденция к обособленности, но пока у них нет всех тех грамматических признаков, на основании которых можно было бы их выделить в особую часть речи. Поэтому в обсуждаемой «Грамматике» модальные слова упоминаются после обзора модальных частиц.

Обсуждение рукописи первого тома «Грамматики» проходило оживленно и непринужденно. Выступали не только по выдвинутым Сектором проблемам, но и по многим другим. Труд Сектора грамматики в общем оценивался положительно, тем не менее был внесен ряд предложений и уточнений по всем разделам первого тома, главным образом по «Фонетике». Общий интерес был проявлен к структуре «Грамматики» (прежде всего — к включению в нее раздела «Фонетика», против чего возражали отдельные участники совещания — Я. Балткаис и др.). Большинство выступавших нашло обоснованным объединение вопросов словообразования разных частей речи в один общий раздел и помещение его перед «Морфологией» (Ю. Карклинь, В. Юрик и др.), но имелись и возражения (Я. Балткаис, Я. Лоя и К. Гайлум).

Многие выступавшие останавливались на применении принципа историзма при характеристике современных явлений языка. Указывалось, что нет единства в распределении исторических комментариев (К. Гайлум). Следует усилить отграничение исторического подхода от современного во многих случаях в фонетике (А. Лауа); так, например, не исторические, а позиционные условия должны быть выдвинуты в системе употребления [ē] и [ę̄]. В словообразовании (по мнению И. Фрейденфельда) грамматика современного языка не обязана раскрывать все явления суффиксального словообразования. Но говорить о суффиксах можно лишь тогда, когда существует корневая форма, иначе слово следует считать первичным. В морфологии личные окончания глаголов *-m* и *-t* — исторические, современными же надо считать *-am* и *-at*.

Высказываясь за выделение «Словообразования» в особую часть грамматики и об историческом аспекте в словообразовании, М. Сауле-Слейне указывает на некоторые принципиальные случаи несогласованности в этом разделе. Так, например, в слове *kalns* за корень (без надлежащей мотивировки) нельзя принять *kaln-*, а только *kal-*, так как слово является производным от *celt* (ср. также *cildens*; литовск. *kelti*). В данном случае это подтверждается и общим законом, что в латышском языке корни слов не оканчиваются на плавные + носовые. В производном слове от *darīt*— *darbs* корнем является *dar-*, но не *darb-*.

Прежний исторический подход к классификации склонений существительных по основам предпочитает Р. Грисле и др. Нумерация склонений, по мнению Р. Грисле, является конвенциальным, пустым и ничего не выражающим новшеством.

Общим, интересующим всех вопросом явилась примененная в «Грамматике» терминология. Одни защищали употребление только латышских терминов, как весьма удачно установленных (Я. Лоя), другие, напротив, главным образом интернациональных, как лучше выражающих содержание соответствующего понятия и признанных крупнейшими латышскими языковедами, тогда так латышские названия частей речи образованы по немецкому образцу (Р. Грисле). Иные, учитывая, что полного единства в этом отношении нет в грамматиках и других языков, советовали по возможности пользоваться латышскими терминами, но не возражали в случае необходимости и против замены их интернациональными (Ю. Карклинь, И. Фрейденфельд и др.). Со стороны учительства было высказано требование устойчивой терминологии (Х. Грассе).

Из трех разделов первого тома «Грамматики» внимание большинства выступающих сосредоточилось на «Фонетике». Предложения и уточнения касались плана раздела, описания отдельных фонем и использования теоретических данных экспериментального исследования при изложении фонетических законов латышского литературного языка. Некоторые возражали против классификации фонем только по активным органам речи, предлагая сохранить (Р. Грисле) также деление гласных и согласных и по пассивным органам. Большее внимание рекомендовалось (А. Лауа) уделить фонемам [ē] и [ę̄] и их взаимоотношениям с другими фонемами, так как различие этих фонем имеет значение для нормализации литературного произношения.

Вообще вопросы произношения заняли значительное место в выступлениях участников обсуждения. Было выдвинуто, в частности, требование (А. Лауа), чтобы «Грамматика» окончательно разрешила вопрос обозначений долготы гласных в интернациональных словах. Указывалось, что произношение страдает оттого, что в интернациональных словах долгота не обозначается в письме, тогда как письмо должно быть основанием правильной литературной речи. Много критических замечаний было сделано в отношении отделов чередования согласных и гласных, где ввиду сложности явления «Грамматике» приходится выдвигать норму произношения.

Поднятый, таким образом, вопрос о нормативности «Грамматики» был поддержан всеми выступавшими. Особенно подробно по этому вопросу говорил зав. отделом литературы и искусства газеты «Циня» филолог Г. Бендик. Он подверг детальному анализу

отдел «Фонетики» с точки зрения нормативного произношения и правописания и указал, что необходимо до выхода в свет «Грамматики» упорядочить правописание иноязычных слов. «Грамматика» не имеет права обойти эти наболевшие вопросы правописания. Г. Бендик остановился и на понятии нормы. Норму не следует понимать узко. Правильная норма — уже не та, которая, по определению К. Мюленбаха, базируется на истории латышского языка и продолжает жить в среднем диалекте. Литературный язык теперь развивается независимо от диалектов. Надо отделять единичные случаи употребления от типичных. Случайным примерам нет места в «Грамматике». Но «Грамматика» должна указать на нормы согласно теоретическим выводам. Газеты, указал Г. Бендик, выходящие в огромном тираже, могли бы служить прекрасным примером правильной литературной речи и письма, если бы «Грамматика» указала им нормы.

Оживленно обсуждались затронутые в связи с произношением вопросы правописания. Выступали за и против необходимости смягченного *р* [ŗ]. По мнению одних, [ŗ] произносится только в некоторых диалектах. Другие указывали на значение употребления [ŗ] в суффиксах, где от отсутствия [ŗ] страдает система языка и теряется смысл некоторых сочетаний и слов. Третьи, а именно — школьные работники, признавая значение ŗ в системе языка, говорили о том, что желание восстановить [ŗ] они считают нецелесообразным после того, как уже в течение 10 лет знак [ŗ] не употреблялся в правописании. Было высказано также мнение, что вопрос урегулирования правописания, так же как и интерпункции, не обязательно должен быть включен в «Грамматику» (К. Гайлум, Ю. Карклинь), но желательно, чтобы в ней отражалось нормативное правописание, поэтому не стоит издавать «Грамматику», пока вопрос правописания не решен.

Были сделаны замечания и по разделу об имени прилагательном с точки зрения нормативности. По мнению И. Целминь, устанавливая в качестве литературной нормы в известных случаях полное окончание имени прилагательного, вместо обыкновенно употребляемого краткого, авторы отрываются от живого языка.

Были подвергнуты анализу введение в морфологию и раздел о глаголе. Неточности в положениях и определениях, по мнению преподавателя латышского языка филолога Я. Фрейберга, являются результатом смешения лексических, логических и грамматических категорий, которые необходимо в «Грамматике» различать. Говоря о глаголе, рецензент отстаивал наличие трех залогов. По убеждению Я. Фрейберга, латышский глагол имеет средний залог, а возвратные формы — это предмет исторической грамматики.

С общей оценкой рукописи «Грамматики» выступил зав. Сектором современного литовского литературного языка и словарей в Институте языка и литературы АН Литовской ССР К. Ульвидас. Он сказал, что считает правильным отказ латышских товарищей от прежнего намерения — создать грамматику путем подготовки отдельных монографий, и выразил уверенность, что избранный путь явится весьма поучительным примером и при создании грамматики литовского языка. Далее К. Ульвидас отметил выдержанность принципа — исходить из исследуемого материала, не увлекаясь чужими схемами и формулами. Что касается своего грамматического наследия и богатой русской грамматической литературы, то авторы умело извлекают все, что подтверждает их собственные наблюдения и их собственный анализ фактического материала. Имея широкую базу исторической грамматики, они ввели в свой коллективный труд немало элементов сравнительно-исторического характера. Принципом применения историзма следует считать также отграничение отмирающего и непродуктивного от прогрессивного и живущего, а также часто встречающееся в «Грамматике» сравнение и сопоставление явлений латышского языка с явлениями других близких языков, особенно с явлениями литовского языка. Рецензент причислил к положительным чертам «Грамматики» также хороший подбор иллюстративного материала. Неясно для него лишь то обстоятельство, почему в «Грамматике» так скупо представлен живой народный обиходный язык. Работа над многотомным словарем литовского языка доказывает, что общенародный литовский язык и до сегодняшнего дня является незаменимым источником обогащения литовского литературного языка.

Выступления в прениях были дополнены обстоятельными письменными рецензиями. Особенно ценными явились замечания сотрудников Сектора словарей и современного языка Института языка и литературы АН Литовской ССР о значениях глагольных приставок, данные с точки зрения употребления соответствующих приставок в литовском языке, а также замечания по фонетике и имени прилагательному.

После окончания прений зав. Сектором грамматики Р. Я. Грабис, подводя итоги совещания, отметил, что обсуждение оправдало надежды авторского коллектива. Р. Грабис выразил благодарность от имени составителей «Грамматики» тем участникам совещания, которые приняли в нем активное участие. К сожалению, не все части «Грамматики» заслужили одинаковое внимание. Больше всего разбирались вопросы фонетики, очевидно потому, что в ней ищут нормы произношения и правописания. Все замечания, дополнения и уточнения будут обсуждены Сектором и, по возможности, включены в рукопись.

В заключительном слове директор Института языка и литературы Э. П. Сокол

присоединился к выступавшим за пересмотр правописания. Было принято предложение Г. Бендика составить комиссию по составлению проекта пересмотра орфографии.

М. Я. Лепика

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 22 по 26 января 1957 г. в Праге состоялось второе заседание Международного комитета славистов (МКС). В заседании приняли участие делегаты следующих стран: Австрии (проф. Р. Ягодич), Болгарии (проф. В. Георгиев, проф. П. Динеков), Великобритании (проф. Е. Хилл), Венгрии (проф. И. Книежа), Германской Демократической Республики (проф. Г. Г. Бильфельдт), Голландии (проф. К. Г. Ван-Схонефельд), Румынии (проф. Э. Петрович), СССР (проф. В. В. Виноградов, проф. В. И. Борковский, проф. Р. И. Аванесов, проф. М. П. Алексеев), США (проф. Р. О. Якобсон), Франции (проф. А. Мазон), Чехословакии (проф. Б. Гавранек, проф. Ю. Доланский) и Югославии (проф. А. Белич, проф. Й. Бадалич).

МКС обсудил ряд текущих вопросов и принял решение о сроке и месте проведения IV Международного съезда славистов (сентябрь 1958 г. Москва), о темах докладов и распределении их среди участников, о некоторых изменениях в составе Комитета и др.

МКС постановил организовать шесть рабочих комиссий съезда: а) информационно-библиографическую; б) текстологическо-издательскую; в) терминологическую; г) транскрипционную; д) по изучению истории славяноведения; е) по осуществлению конкретных международных научных предприятий (составление церковнославянского словаря и др.). Принято также решение о проведении до съезда третьего заседания МКС в январе 1958 г. в Варшаве. Подробный отчет об этом заседании будет опубликован в следующем номере нашего журнала.

В связи с подготовкой к IV Международному съезду славистов в Чехословакии, Польше, Болгарии, Югославии, Румынии и других странах созданы национальные комитеты славистов.

Состав Чехословацкого национального комитета славистов: председатель акад. Б. Гавранек; члены Комитета: доц. д-р В. Бланарь, чл.-корр. Ф. Вольман, проф. д-р К. Горалек, чл.-корр. Ю. Доланский, проф. д-р Б. Илек, доктор филол. наук проф. А. Исаченко, действ. чл. Словацкой АН А. Мраз, акад. Я. Мукаржовский, акад. Ф. Травничек; заместители членов Комитета: чл.-корр. Я. Белич, чл.-корр. Ф. Водичка, чл.-корр. К. Крейчи, проф. д-р И. Курц, проф. д-р Е. Паулини, д-р К. Розенбаум; секретари Комитета: д-р С. Вольман, д-р Ф. В. Мареш. Адрес Комитета: Praha I, Valentinská ulice 1, Československá Akademie věd, Slovanský ústav.

Состав польского национального комитета славистов: председатель проф. Т. Лер-Сплавинский, зам. председателя проф. В. Дорошевский, ученый секретарь проф. П. Зволинский; члены комитета: проф. К. Будзык, проф. К. Выка, проф. А. Гейштор, проф. Т. С. Грабовский, проф. Ю. Крыжановский, проф. В. Курашкевич, доц. И. Магнушевский, проф. М. Р. Майенова, проф. Т. Микульский, проф. А. Обрембска-Яблоньска, проф. Ф. Славский, проф. В. Ташицкий, проф. С. Урбанчик, доц. С. Фишман, проф. В. Хенсель, проф. Я. Чекановский, проф. З. Штибер, проф. М. Якубец, проф. В. Якубовский. Адрес Комитета: Polska Akademia Nauk, Palac kultury i nauki im I. Stalina, Warszawa, Polski komitet slawistów.

Состав Болгарского национального комитета славистов: почетный председатель акад. А. Теодоров-Балан; почетные члены: акад. Ст. Младенов, акад. Ст. Романски; председатель Комитета акад. В. Георгиев; зам. председателя Комитета чл.-корр. П. Динеков; секретарь Комитета проф. Ст. Стойков; члены Комитета: чл.-корр. Л. Андрейчин, проф. В. Велчев, ст. преп. Ц. Вранска, проф. Е. Георгиев, проф. Н. Дылевский, чл.-корр. П. Зарев, чл.-корр. И. Леков, чл.-корр. К. Мирчев, проф. С. Русакиев, акад. Л. Стоянов, чл.-корр. Ц. Тодоров. Адрес Комитета: София, булевард Руски 21, Българският комитет на славистите.

Состав Югославского национального комитета славистов: от Народной Республики Сербии: председатель акад. А. Белич, проф. Д. Павлович, проф. М. Стеванович, проф. Р. Лалич (секретарь), проф. К. Тарановский (казначей); от Народной Республики Хорватии: акад. Й. Бадалич, проф. М. Храсте, проф. Ст. Ившич, проф. И. Хамм; от Народной Республики Словении: акад. Р. Нахтигал, акад. А. Слодняк, проф. Р. Коларич, проф. Б. Крефт; от Народной Республики Македонии: проф. Х. Поленаковић, проф. Б. Конески; от Народной Республики Боснии и Герцеговины: проф. С. Назечич, проф. И. Вукович; от Народной Республики Черногории проф. Л. Вуйович.

Адрес Комитета: Београд, Универзитет, Филозофски факултет, Студентски трг 1, Југословенски комитет слависта.

Состав Румынского национального комитета славистов: председатель акад. Э. Петрович; члены Комитета: акад. А. Росетти, Д. Богдан, П. Олтяну, П. Панаитеску, И. Патриц, М. Попа; секретарь Т. Ионеску-Нишкова. Адрес Комитета: Bucureşti, Universitatea «C. J. Parhon» — Facultatea de Filologie. Comitetul slavistilor romîni.

Состав Скандинавского национального комитета славистов: от Дании: акад. проф. А. Стендер-Петерсен (Университет, Орхус), проф. К. Стиф (Университет, Копенгаген); от Норвегии: проф. Хр. Станг (Университет, Осло), проф. Э. Краг (Университет, Осло); от Швеции: проф. Г. Гуннарсон (Университет, Упсала), проф. К. О. Фальк (Университет, Лунд); от Финляндии: проф. Э. Ниэминен (Университет, Хельсинки), проф. В. Кипарский (Университет, Хельсинки).

С 5 по 9 августа 1957 г. в Осло (Норвегия) состоится VIII Международный конгресс лингвистов. Организационный комитет (председатель проф. А. Соммерфельдт, секретарь Е. Сивертсен) разработал программу предстоящего съезда. В центре внимания съезда будут находиться проблемы индоевропейского языкознания, типологии и структуры языков, применение переводных и электроакустических машин и математических методов в языкознании, а также некоторые вопросы практической лингвистики. По этим вопросам, помимо докладов, будут сделаны частные отдельные сообщения.

Темы докладов на VIII Международном конгрессе лингвистов: «Что могут дать типологические исследования сравнительно-историческому языкознанию?» (докладчик Р. Якобсон—Гарвард); «Индоевропейская ларингальная теория» (докладчик А. Мартине, Париж); «Принципы определений в одноязычном (толковом) словаре» (докл. Г. Кнудсен и Э. Соммерфельдт — Осло); «Математическая лингвистика» (докл. Дж. Уотмоф — Гарвард); «Значение распределения по сравнению с другими критериями при лингвистическом анализе» (докл. П. Дидериксен — Копенгаген); «Статистика, код и теория информации в лингвистике» (содокл. Х. Спанг-Хансен—Копенгаген). Новым открытиям в индоевропеистике будет посвящено несколько докладов: по хеттскому языку (докл. Е. Курилович — Краков), по микенскому греческому языку (докл. И. Чедвик — Кэмбридж и И. Эрне Г. Фурумарк — Упсала), по тохарским языкам (докл. Дж. Ш. Лейн — ун-т Северной Каролины). Серия докладов будет посвящена вопросам применения современной техники в языкознании: по проблеме электроакустических машин (докл. Г. Фант — Стокгольм и М. Халле — Массачусетский технологический ин-т), по проблемам машинного перевода, машинной речи, пишущей машинки, печатающей со слуха (докл. П. Л. Гарвин — Джорджтаунский ун-т). По вопросам экспериментальной фонетики на пленарное заседание будет вынесен доклад «Что могут дать языкознанию новые методы акустической фонетики?» (докл. Э. Фишер-Йоргенсен—Копенгаген). Проблемы структурного анализа языка ставятся в докладах: «Взаимопроникновение фонологии, морфологии и синтаксиса» (докл. К. Л. Пайк—Мичиганский ун-т), «Структуральная лингвистика и лингвистическая география» (докл. В. Дорошевский — Варшава), «Чувство языка как критерий в лингвистическом анализе» (докл. Х. Хойер — Калифорнийский ун-т), «В какой степени значение можно считать определимым структурно?» (докл. Л. Ельмслев — Копенгаген и Р. С. Уэльс — Иейл). Намечены также доклады по вопросу языковых контактов (докл. А. Хауген — Висконсинский ун-т и У. Вайнрайх — Колумбийский ун-т), по проблеме составления алфавитов (докл. Дж. Берри — Лондон), по практическим задачам лингвистики: по подготовке учебных материалов, практических грамматик и словарей, двуязычных словарей и др. По окончании съезда будут изданы «Труды VIII Международного конгресса лингвистов в Осло».

В 1956 г. в новом переработанном издании в США вышла книга одного из создателей кибернетики — американского ученого Н. Винера «Human use of human beings». Специальная глава этой книги посвящена изучению языка. В книге дается критика биологических концепций языкового развития и отмечается роль современной теории коммуникации для исследования функционирования языка. Очерк теории коммуникации дается в книге английского ученого Черри (C. E. Cherry, On Human Communication), изданной в 1957 г. Массачузетским технологическим институтом в серии «Исследования по коммуникации».

В 1957 г. в Париже начинают выходить «Труды Института лингвистики» при Парижском ун-те. Проф. А. Мартине обратился к широкому кругу лингвистов с предложением принять участие в обсуждении проблем нейтрализации лексических и грамматических противопоставлений, которое предполагается провести на страницах нового французского лингвистического издания.

В связи с исполняющимся в этом году 70-летием эсперанто в Копенгагене готовится к печати сборник статей на эсперанто под названием «Sciencaj studoj» («Научные исследования»). В сборнике будут представлены оригинальные работы, выполненные учеными различных стран мира — специалистами в области естественных и общественных наук. Редактором сборника является ботаник-эсперантист проф. П. Неергаард.

В Москве в Институте дефектологии при Академии педагогических наук РСФСР состоялось заседание, посвященное обсуждению книги Р. Якобсона и М. Халле «Fundamentals of language»[1]. С докладом выступил Ф. Ф. Рау, подробно изложивший лингвистическую теорию Р. Якобсона и ее применение к вопросам афазии. В обсуждении доклада приняли участие невропатологи, психиатры, лингвисты, физики и математики. В заключение выступил проф. А. Р. Лурия, который указал на ценность обсуждаемой книги для решения проблем афазии и привел ряд экспериментальных данных, подтверждающих предложенный Р. Якобсоном анализ двух типов афазии. В ходе обсуждения были поставлены вопросы о функциональной классификации расстройств речи и о психо-физиологической основе афазий, а также о применении понятия кода к изучению речи глухонемых.

На филологическом факультете МГУ с сентября 1956 г. работает семинар, посвященный некоторым применениям математических методов исследования в лингвистике. С докладами и сообщениями на заседаниях семинара выступили лингвисты П. С. Кузнецов, И. И. Резвин, С. К. Шаумян, В. В. Иванов, Т. Н. Молошная, И. А. Мельчук и математики Р. Л. Добрушин, В. А. Успенский, О. С. Кулагина. Объединение по проблемам машинного перевода работает с декабря 1956 г. в Московском педагогическом ин-те иностр. языков. Вышли из печати № 1, 2, 3 стеклографированного издания «Бюллетеня» Объединения.

В декабре 1956 г. начал также работать межфакультетский семинар по машинному переводу в Ленинградском ун-те.

У доцента Запорожского педагогического ин-та С. Ф. Самийленко хранится обнаруженная им в одном из букинистических магазинов Ленинграда тетрадь с записями лекций А. А. Потебни по истории русского языка, которые были прочитаны в 1882—1883 гг. в Харьковском ун-те. Принадлежность лекций Потебне свидетельствуется их проблематикой, привлекаемым материалом, методом анализа, наконец, стилем. В лекциях рассматриваются вопросы формирования значения слова, определения слова и его составных элементов, роли языка как средства познания. Можно найти почти полные текстологические совпадения отдельных мест лекций и соответствующих мест таких трудов Потебни, как «Мысль и язык» и «Из записок по русской грамматике». Особый интерес вызывают отдельные мысли Потебни, подтверждающиеся новейшими данными; так, Потебня полагает, что деление индоевропейских языков, несомненно, наметилось уже за несколько тысячелетий до новой эры.

ВНИМАНИЮ ЯЗЫКОВЕДОВ

Институт языкознания и фундаментальная библиотека общественных наук АН СССР готовят к печати «Библиографический указатель литературы по языкознанию, вышедшей в СССР за годы 1918—1957». В Указатель войдет литература, опубликованная на языках всех народов СССР.

Первый выпуск указателя (книги на русском языке) закончен и сдан в издательство. В связи с подготовкой следующих выпусков (статьи на русском языке, книги и статьи на языках народов СССР, кроме русского) редколлегия указателя обращается ко всем языковедам СССР с просьбой прислать сведения о своих печатных работах с точным их наименованием и указанием, где, когда и на каком языке опубликована каждая работа.

Материал направлять по адресу: Москва Г-19, Волхонка, 18/2, Институт языкознания АН СССР. Библиотека.

---

[1] См. рецензию О. С. Ахмановой на эту книгу, публикуемую в настоящем номере журнала.

SOMMAIRE

Articles: L. A. B o u l a k h o v s k i (Kiev). L'induction grammaticale dans la déclinaison slave; S. A. M i r o n o v (Moscou). Quelques problèmes de morphologie comparée des dialectes allemands (Le système de déclinaison); **Discussions:** V. I. A b a y e v (Moscou). Sur le traitement des homonymes dans les dictionnaires; B. Trnka et autres (Tchécoslovaquie). Une contribution à la discussion sur le structuralisme; Z. C h t i e b e r (Varsovie). Quelques remarques sur le structuralisme; **De l'histoire de la linguistique:** V. V. I v a n o v (Moscou). Les vues linguistiques de E. D. Polivanov; E. D. P o l i v a n o v. Les convergences phonétiques; **La linguistiqe et la pratique de l'école des hautes études:** M. V. P a n o v (Moscou). Sur le cours de «L'histoire de la linguistique russe»; **Communications et notices:** S. E. Y a k h o n t o v (Léningrad). Le projet de l'alphabet chinois; L. P. Z h o u k o v s k a i a (Moscou). Types des différences lexicales dans les dialectes russes; N. Z. G a d j i e v a (Moscou). Critères pour la définition des propositions subordonnées dans les langues turcques; **Critique et bibliographie; Vie scientifique:** K. H o r a l e k ((Tchécoslovaquie). Les oeuvres; tchèques sur la linguistique slave; N. Z. G a d j i e v a (Moscou). La conférence de coordination sur la dialectologie des langues turcques; M. Y. L e p i k a (Riga). La discussion sur le manuscrit du premier volume de «La grammaire de la langue lette littéraire moderne».

CONTENTS

Articles: L. A. B u l a k h o v s k y (Kiev). Grammatical induction in the Slavonic declination; S. A. M i r o n o v (Moscow). Some problems of comparative morphology of the German dialects (The declination system); **Discussions:** V. I. A b a y e v (Moscow). On the treatment of homonyms in dictionaries; B. T r n k a and others (Czechoslovakia). A contribution to the discussion on structuralism; Z. S h t i e b e r (Warsaw). Some remarks on structuralism; **From the history of Russian linguistics:** V. V. I v a n o v (Moscow). E. D. Polivanov's linguistic views; E. D. P o l i v a n o v. Phonetic convergences; **Linguistics and high school practice:** M. V. P a n o v (Moscow). On the course of «The history of Russian linguistics»; **Notes and queries:** S. E. Y a k h o n t o v (Leningrad). The project of the Chinese alphabet; L. P. Z h u k o v s k a y a (Moscow). Types of lexical differences in the Russian dialects; N. Z. G a d j i e v a (Moscow). Criteria of defining subordinate clauses in the Turc languages; **Critics and bibliography; Scientific life:** K. H o r a l e k (Czechoslovakia). Czech works on Slavonic linguistics; N. Z. G a d j i e v a (Moscow). Coordination conference on the dialectology of the Turc languages; M. Y. L e p i k a (Riga). Discussion on the manuscript of the first volume of «The grammar of modern literary Lettish».

Т—05094. Подписано к печати 28.VI 1957 г. Формат бум. 70×108 1/16. Бум. л. 5 1/4. Печ. л. 14,38. Уч.-изд. листов 17,3. Заказ 1447. Тираж 10 200 экз.

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10